

ВРАТА СИБИРИ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ

ВЫХОДИТ С ДЕКАБРЯ 1999 года

учредитель
и издатель:

ОАО
«Тюменский издательский дом»

Редактор
Леонид ИВАНОВ

РЕДАКЦИОННЫЙ
СОВЕТ:

№ 1 (45)

С.В. БЕЛКИН
М.М. ГАРДУБЕЙ
А.Н. ДВИЗОВ
Н.И. КОНЯЕВ
В.Е. КОПЫЛОВ
В.Л. СТРОГАЛЬЩИКОВ
М.А. ФЕДОСЕЕНКОВ
А.П. ЯРКОВ



Тюмень
2016

Содержание

ПРОЗА

Михаил ЗАХАРОВ	Рассказы.....	3
Анатолий ОМЕЛЬЧУК	Интимное дело. Эссе.....	22
Сарра-Мария ГРАНИК	Из цикла рассказов «Адар».....	31
Георгий БАБКИН	Девочка из неизвестной галактики. Рассказ...	59

ПОЭЗИЯ

Сергей ДЮКАЛОВ (18), Татьяна МАЛИШЕВСКАЯ (28),
Светлана МООР (53)

ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ

Евгения ЗОНТИКОВА	Стихотворения.....	56
-------------------	--------------------	----

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Булат СУЛЕЙМАНОВ	Стихотворения.....	74
------------------	--------------------	----

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Станислав МАЛЬЦЕВ	Ура! Бармадея выгнали из Африки! Сказка.....	78
Марина СИЛИНА	Сказки.....	97

ДЕСЯТАЯ МУЗА

Наталья СЕЗЁВА	«Деревенские бывальщины» Михаила Захарова.....	103
----------------	---	-----

КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Константин КРАВЦОВ	Певец избяной Индии.....	106
Елена БОБКОВА, Хабиба ШАГБАНОВА	С любовью к малой родине.....	129
Людмила КОЗЛОВА	Сибирь соборная.....	134
Юрий ГОЛУБЧИКОВ	Философия Сибири.....	138
Ханиса АЛИШИНА	Два писателя – две звезды.....	141

КРАЕВЕДЕНИЕ

Станислав ЛОМАКИН	Загадочный старец Сибири.....	146
	Просветитель.....	150

У НАС В ГОСТЯХ

«ОГНИ КУЗБАССА»

Леонид ГЕРЖИДОВИЧ (154), Александр КАТКОВ (165)
Дмитрий МУРЗИН (173), Александр РАЕВСКИЙ (183),
Людмила ЧИДИЛЯН (190)

Виктор АРНАУТОВ	Рассказы.....	157
Татьяна ИЛЬДИМИРОВА	Страшно не будет. Рассказ.....	168
Виталий КРЁКОВ	На дурноезем. Рассказ.....	176
Вера ЛАВРИНА	Умирать не больно. Рассказ.....	186
Юбиляры	192
Литературная хроника	193
Коротко об авторах	196

ПРОЗА

Михаил ЗАХАРОВ

ОБРУБОК

Когда-то это был крепкий пятистенок. Потом полдома отрезали: то ли увезли куда, то ли на дрова пустили. Дверной проем плотно утыкали-утуркали лопатиной да сеном, заколотили досками. Удивленно таращится он на мир двумя глазами покосившихся окошек, нелепо белея известкой обнаженной стены. Жалкое, искалеченное жильё!

Рядом с обрубок на липкой глиняной плешине в три сотки посередь крапивных джунглей шевелится существо – маленькая старушка кланяется земле, собирает картошку. Засаленная фуфайка с подвернутыми рукавами перетянута веревкой. Вытянутое на коленках трико с лампасами гармошкой провалилось в безразмерные валенки с галошами. Из-под клетчатого платка смотрят невидяще безбровые глаза с выцветшими зрачками. Провалившийся беззубый рот вопросительно приоткрыт.

С подветренной стороны у крапивной стенки тлеет костер. Пахнет печенками и кислым от запервшей под дождями ботвы.

На приветствие она машет рукой, ревет тонко и скрипуче: «А худо слышу! Одна, батюшка, одна!». Ковыряет палкой в углях, выкатывает круглую черную дымящуюся печенку. Обхватывает листом лопуха: «Отведай! Свињи нынче наперед меня успели. Я ведь к зиме-то уберусь. А если бы к житью, дак до летошной-то не дотянуть».

Говорит о смерти, о жизни своей как-то спокойно, как о ком-то чужом. Ногтем отколупывает угольно-черную скорлупу подгоревшей картофелины. Разламывает, катает-студит по рваному подолу фуфайки: «Дети-то? Были! – то ли отвечает, то ли соглашается. – Семеро да дочь! А кому я в городе-то нужна? Снохи не примут. А дочь?! В Тобольск за мужика-то выходила, дак не знаю, где. Живут ли там, а может, уехали куда...».

– Так ни разу и не попроведала?

– Ни разу! – бережно отщипывает кусочками картофелину, мусолит во рту. Перекатывает желваком за ввалившейся щекой. Смотрит в огонь пристально и откуда-то очень издалека.

Из крапивы появился пестрый котенок, беззвучно мяучит, трется о валенок. Просится на руки. Единственное родное.

– Пенсия-то? Есть! Иё ведь токо на хлеб. Да сахарку подкуплю, да муки. А молоко-то когда соседка принесет. Шерсть даст, дак носки всем навяжу, – вытирает платком окоём рта, запачканного сажей. Шевелит палкой уголья. Что-то там видится ей! А может, память вернула в детство, откуда судьба-неудачница, взявши за руку, ведет ухабами напролом никчемной дорогой к финишу? К костру, чтобы в последний раз погреть стынущие руки.

Кому – все, кому – ничего! И тем дороже угощение бедности, тепло костра и вкус печёной картошки.

ДОМОВОЙ

Он приходит к полуночи, тенью появляется на пороге, снимает тапочки, потом на цыпочках крадется в угол, там деловито устраивается на сломанном телевизоре, тихо стучит пятками по кинескопу, почесывается:

– Ты думаешь когда-нибудь его починить?

– Нет, я здесь слушаю и пишу лето, телевизор мне помеха.

Туман загустел от земли и почти скрыл и без того невидимый в темноте лес. Молодые совы заканючили, засвистели монотонно и печально, то ближе, то дальше, и так будет до третьих петухов.

– А я вчерашней ночью картинки твои приходил смотреть, в окно-то глянул: ну, думаю, повесился, а потом пригляделся – на яблоне-то рубашка висит, а внизу – штаны, и кепка сверху на сучке, – ну прямо, как ты!

– Это я постирался! Ну и как тебе картинки?

– Я не особо разбираюсь, но полевые цветы мне по душе. Я у соседа тут как-то передачу смотрел. Дак где там реклама-то про мужика, который из-за воды-то сильно орет, шибко я забоялся, дня два, однако, уснуть не мог.

– Вот-вот, а ты – «телевизор ремонтируй»!

Погоныш в туманах хлестко начал резать своей плеткой сырой воздух. Выпь трижды ухнула в своем болоте. На пол упал лунный проем двери с тенью березы посередке.

– Ну ладно, ты спи, а я еще в баню сбегаю к Баннику – поговорить надо. Да, вот еще, пока не забыл. Банник говорил, что там у тебя полوک провалился и крылечко подгнило.

– Знаю, у меня нет материала.

– Купи!

– У меня и денег нет.

– Ночью, видать, дождь будет, ноги у меня стынут и ноют, я носки вчерась у тебя брал. Может, и сегодня возьму.

– Возьми, только потом на место положи, а то утром один на крыльце валялся, а другой – на кухне.

– А это я торопился – третьи петухи подгоняли.

– Вот ты к Баннику все ходишь, а сам-то хоть раз мылся в бане?

– Нет.

– То-то и видно, весь исчезался.

– Зато комары не прокусывают.

– Мне бы вшей от тебя не хватать!

– А у меня их нет.

– А чё чешешься-то?

– Вчерась малину с Банником собирали, а у тебя там крапивой все затянуло.

– Нет чтобы прополкой заняться, так они ягоды давай собирать. Ну ладно, поговорили, давай спать, утром мне рано вставать – туман смотреть буду, не проспай бы.

– Спи, спи, я разбужу.

Сквозь сон слышу, как бубнят они там, в бане, брякают тазиком. Скрипят дверью, шепчутся на крылечке. Наверное, разглядывают мой новый веник, перебирают уже подвядшую листву и, закрыв глаза, восторженно нюхают запах березового листа...

Утром пью чай, а сам все поглядываю на игольницу, что висит на стене. Это маленький пузатый человечек с красной рожей и белой бородой. И позрение растет во мне.

– Так это ты был вчера?

Молчит, смотрит в окно, делает вид, что внимательно рассматривает расхаживающую по забору ворону.

РЮКЗАК

Ах, как надоел мне этот рюкзак! Вся жизнь с мешком! Он и пустой-то тяжелый, а собранный в дорогу?! И нет ему места в городской квартирке, везде мешает – на антресолях, на балконе, под кроватью. Куда ни сунься, везде его много! Но иногда потеряется, забудется, и как-нибудь во время уборки найду его. Открою! Радостно и тревожно забьется сердце, позовет он меня в дорогу.

Пахнёт из его утробы хлебом, прелой осенней листвой, грибами. Запахнет ржаными васильковыми просёлками и еще чем-то, похожим на первый весенний дождь.

А когда я встряхнул его – вылетел оттуда комар, посыпалась хвоя, выпала сосновая шишка, запорхало, закружило глухаринное перо. А запах, тот неистребимый запах дорог, остался.

Я знаю, с годами мой рюкзак будет еще тяжелей. И настанет время, где-нибудь в конце Дороги, когда надеть его мне уже будет не под силу. Но, думаю, ему не будет так ловко на чьей-то другой спине, как на моей.

МЫЛО

Субботний вечер настоян на травах, на парном молоке. Избы от заката оранжевы и торжественны. И даже крапива не шумит, притихла и как будто стала выше. Пароходными гудками мычат, плетутся с лугов отяжелевшие выменем коровы. Бабы зазывно, певуче тянут:

– Майка, Майка, иди, моя хорошая! – и тут же нарочито строго: – Ить, куды ты пошла, зараза! Но-ка домой, домой, скотина!

И коровы, смачно шлепая лепешками в придорожную пыль, послушно расходятся по дворам, и там слышно, как тугие струи молока мелодично звучат о подойник.

Соседский хрипатый петух не ко времени пробует голос в огороде. И там женщина вопрошает к нему:

– Господи, прости, к ночи петъ взялся, уж не к покойнику ли?!

Вдоль забора тихо бродит старушка, шевелит лыжной палкой крапиву – ищет куриное яичко, бубнит себе:

– Пушшай поет, молодой ишшо! В суп не попадет, дак одуматца. А я вот кукареку-то услышу, дак как будто живу ишшо.

Время согнуло ее, видно, ноша прожитых лет ей уже не под силу.

По всей деревне топятся бани. Еремино пропахло дымком, березовыми вениками и чем-то еще теплым, вкусным, от печки, от стряпни.

И я, как все, тоже топлю баню. Все у меня приготовлено. Вот тут у водостока с бочкой, на скамейке, – полотенце, белье да кусок мыла. Хоть и не совсем кусок, так, голубой обмылок, да мне на помывку и его хватит. А пока топится баня, не лишне бы собрать кружку малины к чаю.

Когда с кружкой скрипнул калиткой в ограду, заметил, как сорока с обмылком мелькнула в черемуху. Вот те на! Зачем сороке мыло, уж не в баню ли собралась?

На бревне, у магазина, рядом дымят разомлевшие краснорожие послебанные мужики. Судачат о вечном – о покосах, о рыбалке и, конечно, о погоде:

– Август на исходе, а лета нонче так и не видели. Картошку-то копать пора, а она цветет ишшо.

И сколько мне помнится, разговоры эти одни и те же из года в год, как по записи: «И зимы ноне не было, слякоть да грязь, и лета нет, холод да дожди». И совсем уж запамятовали, как недели две тому назад от жары изнывали да дымокурами скотину от гнуса спасали.

– По телевизору-то передают погоду, дак хоть бы в окошко-то выглянул кто. Мелют чё попало, все супротив, там дождж, а оне – безоблачно да без осадков.

На замшелом коньке амбара стоит во весь рост сорока и пускает в розовое небо огромные радужные мыльные пузыри. Пузыри летят высоко-высоко. Там кружит одинокий вечерний коршун. Он тычет их клювом-шилом, и пузыри лопаются праздничным фейерверком над субботней умытой деревней. Розовый, как после бани, поросенок сидит, привалившись к забору, и зачарованно смотрит на сороку. Ласточки на проводах толкают друг дружку бочком, смотрят в небо, смотрят на сороку, смотрят на деревню, на разомлевшего поросенка и, счастливые, тихо хохочут.

Теперь-то все знают, зачем сороке в субботу мыло.

ВОЗ ДУШИСТОГО СЕНА

Отшумит ветрами в сером небе осень, обобьет дождями последнюю листву, закроет непроходимыми хлябями проселки. И во мгле под немолчный гогот гусиных стай рано затеплятся печальные окна одиноких деревень.

Но и осенние дожди не вечны. И как-то однажды к вечеру похолодает, снежной кисеей затянет дали, и к утру выпадет этот желанный и такой чистый снег. Бабы в валенках и полушубках судачат у сельпо:

– Этот уж не стает. Прогноз передавали, Иртыш к праздникам должен стать.

– Да как не станет, пора уж. Покров-то ведь когда был.

Сбылись прогнозы, и Иртыш застыл. Дровишки по первопутку вывезли, скотину забили да прибрали. Снегу поднавалило, дороги накатали, вот и по сено собираться надо. Зимний день с воробьиный поскок, а луга не под боком.

– В четыре встанешь, дак к семи-то на покосы поспеешь, если чаевничать не будешь.

С первыми петухами просыпается деревня, желтеют окна в домах, хлопают двери. Под черным небом в звенящей тишине где-то редко лают собаки. Пока запрягут мужики лошадей, пока соберутся у околицы, а там, глядишь, и рассвет брезжить начнет. Отдохнувшие лошади резво трусят порожняком. Мужики довольны: дорогу только местами перемело, да и рассвет не обещает бурана.

Незаметно в полудреме под скрип полозьев и покосы объявились. Стога, статные с осени, ссузулило дождями да снегом, и завалились они, как на костыли, на остожья. Отзываются всем четверем ветрам шорохом сухих трав. Велики – невелики, а по два воза в каждом будет.

Мужики неспешно разбирают остожья, половчее ставят подводы, сгребают снег. И вот уже первый пласт сена ложится на сани.

Какой аромат, какое лето спрессовано в травах! Тут и иван-чай, и душица, и таволга. Упадет пласт сена на сани, и легкое ароматное облачко запылит в морозном воздухе. Мало-помалу, пласт к пласту – и воз набрали. Остались от стогов только оденки. Оденки пахнут мышами и слегка парят на морозе запрелой трухой. Мужики перетягивают возы березовыми бастригами, стягивают веревками. Плотные, крепкие получились подводы. А как пахнут летом!

Покурили да и заскрипели гуськом по белой равнине к деревне. Где-то перемело дорогу в лугах, но вешки укажут путь. А в перелесках да в лесах похуже будет. Тут уж смотри в оба! С подветренной стороны суметы скособочат дорогу затыжными обвальными ухабами. Когда порожняком едешь, так весело даже. Как понесет в ухаб, дух захватывает: перевернет – не перевернет? Бывало, и седока вывалит. Потом он прытко бежит за лошадью. Догонит, мокрехонький, без сил в сани завалится, а рад – хорошо, хоть догнал. Ну, а если подвода гружена сеном, так не приведи господи оплошать! Бывает, и воз перевернет, и лошаденку завалит. Бастриг не выдержит, сено вывалится – тогда лошадь выпрягай да воз переметьвай. Вот и тащатся зимними дорогами до десятка подвод: миром сподручнее ухабы одолевать. Перед ухабистым участком подводы останавливают. Мужики сойдутся первую подводу проводить:

– Ты, Митрич, одерживай Карьку, а мы все под воз станем. Токо потихоньку, не гони!

– Давай с Богом!

– Одерживай, одерживай!

Полозья уж не скрипят – визжат, подводу неумолимо затягивает в раскат ухаба. Бедный Карько натужно семенит ногами, пытаюсь удержаться на дороге, но мужики уже на подхвате, корячатся, подпирая воз. Налегай, налегай!

Так по одной подводе худо-бедно все ухабы миновали. Перекур! Правляют сбившуюся упряжь на своих лошаденках, укрывают их, потных, окутанных паром, тулупами. Запахи махорки, сухой травы и лошадиного пота сладко наполняют морозный воздух. Скукожишься на возу под тулупом, сморенный терпким запахом трав и овчины, и незаметно заснешь. Проснешься, когда занемет тело, и не сразу поймешь, где ты. И только скрип полозьев вновь вернет в реальность. Лошаденка тащится кое-как, шлепнешь вожжой – засеменит, помахивая хвостом. Опять замелькают еловые вешки, дальние перелески тихо поплывут по белому горизонту.

Слышно, где-то лают собаки. Скоро дом, теплая печка и этот зимний чай, настоящий на лете.

ОСЕННИЙ ЛИСТ

Ветер северный, холодный, пробирает до костей. На опушке леса привалился под стожок с подветренной стороны, к остожью прислонил ружье. Ветер то яростно, на высокой ноте завоев в его стволах флейтой, то зверем забасит низко, утробно. Зябнут руки, зябнет душа. В полудреме, в оцепенении перед глазами мелькает кустик ракиты с жалкой горсткой палевых листочков-рыбок, которые один за одним покидают родную ветку и косо, с шорохом летят, колко касаясь щеки и рук. Остался один, с дыркой посерединке, обремканный по краям. Трепещет, объятый ужасом, но крепко держится за родимое. Хотя вопрос «когда?» для него уже не требует ответа.

СВЕЖАТИНА

Всю ночь тянула падера с севера. К утру первый робкий снежок едва припорошил кучи картофельной ботвы. Черными оспинами обозначился опустевший убранный огород. В ограде у Булышева сыновья его, матерые мужики, свежуют, играючи вертят с боку на бок розовую тушу огромного борова. Сам Булышев, худющий, носатый, обернутый фуфайкой на голые плечи, поджав по-вороньи ноги, сидит на высоком крыльце, как на командном пункте. Изредка наставляет сыновей:

– Ты, Никола, с брюшиной-то поаккуратней! Мочевину не повреди! Поаккуратней! Лешка, сбегай-ка в баню к матери, пусть тазик кипятку принесет! Бока чаще поливайте! Шкура – она отопреть должна.

Обхватив горло банки марлевой тряпкой, цедит брагу.

– Давай, давай, ташши! Оммоем свежатину! – громко хрустит огурцом. – Нынче сала на ладонь будет. А ребята-то и без нас управятся. А чё им, вон как могутны да молоды! А моя-то сила вся в их ушла.

ПРОСЁЛОК

Памяти Н.Н. Шайхудиновой

Как хорошо идти одному проселком от деревни к деревне, когда на душе светло и думается глубоко и о хорошем. Ветер волнами по зеленому морю ржи прибил к обочине дороги хлопьями белой пены ромашковые соцветья. И порывами теплого ветра густо обносит то запахом пижмы, то таволги. Желтая трясогузка, спутница одинокого, печально посвистывая, перелетая с былинки на былинку, проводит до околицы.

А где-то там, за кромкой ржаного моря, далеко-далеко гудят день и ночь скоростные автобаны, несут людские потоки из одного ревущего мегаполиса в другой. Руки, ноги, головы с равнодушными глазами, и не разглядеть отдельного человека.

А здесь, под напором запашистого ветра, глухо парусом корвета шумит у дороги черемуха. И несет меня навстречу вон к тому путнику, чья фигурка плывет в белопенном море ромашковых волн. Мы встретимся, поздороваемся. Может быть, остановимся, поговорим о лете, о ветре. А может, и нет. Но запомнится внимательный взгляд этих серых любопытных глаз.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

К восьми утра бабы собираются в магазине – сдавать молоко. Кто с ведром, кто с бидоном, а заодно и новостями обменяются. В это время магазин становится корпунктом последних известий.

В магазине чисто и по-домашнему уютно: зимой тепло, летом прохладно при открытых дверях за тюлевой занавеской.

Здесь есть все, что необходимо деревенскому жителю: ведра, калоши, косы, трусы, носки, губная помада, одеколон. Есть даже холодильник. О таком изобилии в доперестроечные времена даже и не мечталось. Настоящий супермаркет. А какой здесь аромат! Такой бывает только в деревенских магазинах. Пахнут свежей краской рулоны клеенки. Пахнет набивным ситцем, растительным маслом, пряниками. Пахнет резиновыми сапогами, горячим хлебом. Женщины сладко пахнут пар-

ным молоком и навозом. Ждут молоковозку, судачат о прожитом дне, о погоде:

– А у моего-то лешака вчера день рождения был.

– Да ты чо! Кто был-то хоть?

– Да кто, сестра из Тавды приежжала. Дочери в Тюмень звонил, дак эк-замены у иё, некогда! А он накануне-то вечером в кочегарку ушел. Оне там все в карты собираютца играть, да там с имя и нажрался. Колька-кузнец ево притащил. Да падали, видать, ухайдакались, как чушки. Кое-как в сени ево запихнул. Ругаюсь: скотина ты этакая, денек еще не мог подождать. А он мне чо: мужики, дескать, давай да давай! Дак опеть двести рублей занял, с пенсии теперь отдавать. А я утресь-то в пять встала, на дойку надо идти, управлятца. Дай-ко, думаю, на ключ закрою ево, не упорол бы куда похмелятца. Закрыла, ключ-от с собой взяла. В ограду-то только вышла, а он учуял, в форточку-то ревет мне:

– Ты носки-то да трусы мне не покупай на рождение-то, лутче бутылку возьми!

– Но, лешак тебя возьми! Тверёзый – человек как человек. Все по дому сделает и со скотиной управитца. А в рот попало – и все! Гуляй, деревня, и в рваных трусах прохожу!

КОНЯК

...А я ведь чё писал-то, Михайло! Старуху-то у меня в больницу положили. Анализы тут проходила, дак нехороши каки-то признали. Подозрение на кровь како-то, то ли не хватает этой крови у иё, то ли шибко много. Лешак их знает, этих врачей, они стоко же понимают! Как выглядела, говоришь? Да как, она и смолоду-то краснорожа была, на покосе копну на вилы заваливала, дак как выглядела, спрашиваешь, так и выглядела. Польза-то больша от иё была. Толклась до последу, все толклась! Я потом один в огородишке-то остался, дак помыкался, а потом и рукой махнул. Путно-то ничё и не растет, а трава прет, гребь ее мать, как на дрожжах.

...О! Слушай! Чё хочу сказать-то. История тут така со мной вышла. Старуху-то как положили, а я один-то остался, мерзну, мать твою, мерзну, ноги стынут, с иё хоть толку-то и никакова, а туша-то все-таки больша, привалишься – теплом тянет. А ночи-то ишь каки холодны, рамы-то одинарны у меня. Дай-ко, думаю, други вставлю. Ну, вставил. Пакля там на веранде у меня лежала, шшели-то утыкать надо. Пошел за ей, тряпье там всяко разное на ей набросано, вытаскивать-то стал, смотрю... Банка! Трехлитровая банка! Достал! Крышка на ей политиленова. Ну чё делать, открыл, нюхнул... Ты не поверишь, Михайло, брага! Ну чё, я тут же и пригубил! Ты понимаешь, забыл, зачем и пришел!

Но, ей-богу, коняк, чистейший коняк! Да ядреный такой! Но чисто коняк, чисто коняк!

Дак пойдем в избу-то, ково тут в огороде расселись. Худо-бедно живем, а уж закуску-то найдем, поди, каку. А это-то пойло почем, говоришь, счас в городе-то?.. Во-во! Как раз моя пенсия! Токо на пуговицы от ширинки, а зад уж и залатать нечем. Кабы не огородишко, дак давно бы крикнул. Да чё там, Миша, говорить, худо живу, худо. Вон в яшшик-то посмотришь – а кому-то ведь ишшо хуже. Да я его токо затем и включаю – где, кто, ково и за что отстрелял. А тут ишшо эти прокладки. Ну вот, слушай, которы «олдиз» называют. Мужики их тут шибко расхватывают. Да ты не смейся!

Для рыбака перво дело – нога в тепле, а стельки из их уж шибко хвалят – нога не потеет, и запаху нету-ка! Дак ведь ты не поверишь – под 44-й размер идут. Вот те и американцы-изобретатели!

Ах ты, греби твою мать! Дак ведь, не поверишь, я специально-то иё и не искал! Но чисто коньяк!

Дак вот все думаю – пошто она так-то выбродилась? Сентябрь ведь месяц, ночи вон какои холодны, может, она в пакле стояла, дак у меня веранда-то северна сторона и прогреваться-то не должна... Да ты-то откуда знашь? Скус-то иё забыл, поди. Может, дрожжи какои новы были, дак повлияло.

Но – коньяк! Чисто коньяк!

Это кто там на лошади-то проехал? А-а, Семенка в магазин гонял. Они тут с Тапычем чуть не сгнули. Помнишь дедка Тапыча, на перевозе работал? Дак втору неделю уж пьют да пляшут на радостях-то. У Семена, вишь, морда-то как из мудей сшита. Семенка-то корову к быку поташшил на ту сторону, ну и уговорил Тапыча за бутылку корову-то его перевезти. Ну а чё, лодка-то хоть за одну, хоть за пять бутылок, а под корову-то не рашшитана. Запихали иё в лодку-то, да ума-то ишшо у обоих хватило за упруг привязать накоротке, а она, скотина, неловка – пить захотела, возьми, да и потянись за борт. Вот полчаса и пили все втроем, пока к берегу не прибило...

Дак ведь как вышло-то! То ли она спрятала эту банку от меня, да сама забыла? Памятовала бы, дак сказала. А кто там иё ишшо мне в паклю-то поставит?! Она, скотина, она! Я на иё думаю, все прятала – то в картовник запихат, то в сено. Один раз в поленницу запихала. Дак ведь не лень было полполенницы разобрать! Запихать-то запихала, а ума-то нет как следует поленья-то сложить. Оне у ей ночью-то и рассыпались. Я спал уж, слышу, в огороде-то шум-гам, собаки залаяли. Выскочил на крыльцо-то, ну, лешак, поленница-то развалена. Ближе-то подошел, но греби его мать... Банка! Трехлитрова банка! Крышка политиленова. Ну чё, открыл. Нюхнул. Брага! Но та не така была, не така, не успела, не набродилась! Дак ково от меня прятать, в своем огороде-то? Да ишшо бы я иё не нашел...

А старухе-то? Да мешишко вот тут передадите. Свининки тут кусок, шшученки солены. А чё я больше-то отправлю. Да все-таки не покупно!.. Но вы чё, собрались?! Когда теперь?! Правильно говоришь: сёдни живешь, завтра копыта откинешь. Вот, туда в багажник и затолкайте мешишко-то. Не мешат? Ну и ладно.

Да ведь понимаешь, Михайло, я на браге вырос, а таку вот не пивал отродясь. Да ведь чисто коньяк! Ну прямо-таки коньяк!

ЭХО

Эхо живет не везде. Ему надо, чтоб речка была. А за речкой – темный-темный бор, а на другой стороне – луга, и желательно с вечерними туманами. Анна Адамовна вспоминает:

– В старой-то избе у нас домовой жил – маленький, серенький, чуть поболее веретешка. Да я ево сколь раз видела. Ночами-то в непогодь с кошкой все тешились. А в новодел-то переехать, видать, не захотел. Там и остался.

– А у меня эхо живет!

– Эхо?! – смотрит испуганно. – Еще не лучше!

– Да не дома же! За речкой, в бору.

– А-а-а, коль так – пушшай живет, хоть никово не беспокоит.

Летним вечером у моста окликнешь его – отзовется весело и трижды.

Отойдешь в сторону на полсотни шагов, кричи, закричись – молчит. Капризное какое-то эхо. Кончится лето. Притащит сиверко низкие серые облака, мутной кисеей затянут дожди горизонт. И замолчит эхо.

Наверное, вместе с журавлями улетит куда-нибудь в Африку. Но весной, с первой кукушкой, вернется веселое, озорное. И будет белыми ночами дразнить деревенских баб, притворяясь какой-нибудь заблудшей скотиной.

УХОДИТ ЛЕТО...

Е.Ю. Минаковой-Черновой

Сегодня утром я заметил: ушло лето. Ушло, видимо, ночью, как уходит в предзвездных сумерках одинокий путник, накануне попросивший ночлега. Ушло тихо, не хлопнув дверью, поправив за плечами тощую котомку. Ушло за околицу разбитым хлябью проселком. Ушло к осени.

Ах, какой же квёлый день завязался над миром! Слепое матовое небо. Матовые бесплотные неподвижные облака размазаны по небосводу. Идет лето, поворачивает палочкой-посохом головки поникших подсолнухов к подслеповатому солнышку. А меж подсолнухов и обочь проселка обильно цветет розовый осот и густо-приторно пахнет медом.

Кромкой поля, в разнотравье, в желтых волнах донника, мелькая белым, плывет одинокая лошадь. Иногда вскинет голову к низким облакам и заржет саксофоном, тонко и печально, словно пробуя ноту к песне с давно забытыми словами. Заржет, словно окликнет лето. Оглянется лето, окропит дождиком-слезой деревенские крыши. Омоем окна кособокных изб и еще долго, едва слышно, будет перебирать мокрыми лапками листву в увядших перелесках. Прибьет пыль на проселках с заботой обо всех уходящих в Осень.

ПО НЕБУ ЛОДКА ПЛЫЛА

Когда к ночи уснет ветер и зажгутся первые звезды, у столика, под облепихой, я разведу костер. А пока я занят дровами, мне все кажется, что из темноты кто-то смотрит на меня осуждающе, так неуместно громко стучу я топором. И этот кто-то – Тишина. Стараясь не шуметь, с охапкой дров, путаясь в ромашках, пробираюсь к столу.

Ночь обступила костер плотной стеной. И даже яркая звезда на западе теперь едва мерцает. Толкаются, играют друг с другом свет и тьма. Вспыхнет ярче пламя – тьма отпрянет, покажет куст смородины и кружку с чаем на столе. Притаится костер – тьма слизнет и куст смородины, и кружку с чаем. Выстрелит уголь искрой в небо, и тьма стремительно шарахнется летучей мышью.

Над головой, в облепихе, ворохнулась невидимая птичка и гулко шлепнула каплю росы в мою кружку. Слышно, как где-то далеко зундит комар и гулко лают дачные собаки.

Кто-то шуршит травой напрямки к моему костру. Все ближе, ближе. Ах ты, Господи! Ежик ко мне пришел, маленький, круглый ежик! Он робко потоптался и присел у костра. И теперь мы вдвоем смотрим, как шевелятся угли и потрескивает пламя. А когда оно громко стрельнет искрой, ежик вздрагивает и вопросительно смотрит на меня.

– Это костер, он тоже живой, побудь с нами, не бойся, – успокаиваю я его.

А он, похоже, и не боится, хотя и впервые видит нас.

На севере небо все еще светится бледно-зеленым. Там появилось большое грязно-синее облако. Когда я поправляю костер, то все поглядываю на это облако. Оно живет, меняет свою форму, вытягивается. И вот уже, если приглядеться, то и не облако это вовсе – по небу плывет огромная долбленая лодка с перламутровым дном. В лодке сидит рыбак, он в шапке и с бородой. Вот он медленно-медленно наклоняется, слегка поднимает руку, она у него почему-то одна, и видно, как он перебирает сеть. Сеть полна темных карасей в звездных блестках чешуи.

Вот он медленно распрямляется, у него, наверное, болит спина, вот слегка ковырнул веслом, и по небу поплыла, качая звезды, гигантская темно-синяя волна. Она, как и лодка, тоже снизу подшита перламутром заката. На востоке она докатилась до созвездия Скорпиона и закрыла его. На севере зацепила Большую Медведицу и качнула Ковш. Из Ковша выплеснулась и упала на Землю целая пригоршня холодной росы.

Волна докатилась и до меня, коснулась щеки влажной прохладой, тихо прошелестела травой и беззвучно положила на плечо мокрый облепиховый листок.

Испуганно подвывают и брехают на лодку собаки. В свете костра на мгновение появилась сова, гугукнула и исчезла в лугах с туманами, куда еще с вечера так настойчиво звали спать перепела.

Давно уплыла небесная лодка, и, как след от нее, мерцает на темном небосводе Млечный Путь уже по-осеннему яркими звездами.

Завтра большой праздник – Ильин день, начало великих рос. А еще вместе с обильной росой наступит извечный час Полуночных таинств. Там произойдет смена лета осенью. Но если я буду даже очень внимателен, я все равно этого не увижу.

АВГУСТ

Года два, а может, и больше, не был я здесь. За это время домишко совсем обветшал, осунулся одним углом в крапивное уремье. Там и сям в крыше зияли прорехи, как в сиротском рубище.

Умер хозяин этой избушки, дядя Серега. Теперь теплилась здесь жизнь в образе такой же ветхой, как и жильё, бабы Фени.

– Вот ведь вспомнили же, заехали хоть, да ишшо и на машине. Сережу вот и попроведем, – радуется она, – а то не знаю, ково уж и просить. Кладбище-то ведь не под боком, за Иртышом все-таки. А если я у его могилки-то до морозов не побываю, дак потом совсем к нему переберусь. Все тут я приготовила, памятник вот поправить да покрасить бы надо. Ну ладно, вот утресь и проведем.

В комнатке ее чисто и от бедности просторно. Пахнет хлебом, сушеными грибами. В простенках между окон висят фотографии с выцветшими лицами под засиженным мухами стеклом.

– А с им вот как было-то: под утро худо стало, вызывай, говорит, «скорую». Я к соседке: посиди, мол, с Сережей, занемог чё-то, а я в райсполком, «скорую» вызову. Вызвала. Много ли время-то прошло, прибежала домой, а соседка на крыльце встречат – долго твоя «скорая» идет! – У меня сердце так и оборвалось. – Нет, – говорит, – Сережи. Убрался!

– Ой, – спохватывается она, – картошка-то наша! Пойдем посмотреть, сожгли, поди!

Низкое оконце в кладовке с улицы сплошь затянуто крапивой. Ветер шевелит крапивную штормку, и в полумраке по потолку бродят, как в аквариуме, неясные изумрудные сполохи. На клетке с курицей стоит старинный керогаз, на нем шкворчит и брызгает маслом сковородка с грибами и картошкой.

Я со сковородкой, баба Феня с банкой огурцов вернулись в комнату. Лукаво хихикая, она достала из шкафа зеленые литые рюмочки...

Отобедав, мы вышли во двор. Несколько добротных полениц сухих березовых дров образовали под плоской кровлей нечто вроде лабиринта. Теперь здесь в каждом углу висят, лежат – одним словом, хранятся вещи, коими пользовался, ладил их или не успел обратить в вещи их хозяин, дядя Сережа.

Вот длинные пучки лыка, рядом хранится связка черемуховых прутьев на обручи для фитилей. Аккуратной кучкой сложены новенькие метелки, здесь же ошкуренные осиновые жерди для хмеля-вьюна, да веревки, да упряжь всякая – чего только нет! На полатцах громоздится огромная, как фюзеляж самолета, домовина.

– Для меня, – пояснила баба Феня. – Умру, дак не надо заказывать! Сережа ишшо делал. Две было, дак одну сам использовал.

Как-то около брошенной деревни я набрел на кладбище. Там не было пугающих холмиков свежей земли. Полуистлевшие ограды обнажали печальные, заросшие брусникой надмогильные грядки. На останках крестов можно было прочесть надпись – кто был и когда умер, летом ли, в осеннюю ли распутицу. Под стеклышками сохранилось несколько мутных фотографий. Вглядываясь в них, я представлял человека в жизни и не мог представить. У меня не было к ним близости, а в душе не было и сострадания. Но было сознание, что между ними и мной не два метра земли, а несоизмеримая для живых космическая толща времени. Здесь о будущем думать тягостно, а воспоминания светлы и объемны.

За одной из полениц стоял громоздкий ткацкий станок с начатым половичком.

– Вот ведь ране кака прыть была, – пояснила баба Феня, показывая на половичок. – Два прогона за день вытку да ишшо и высплюсь успею. А теперь, – махнула рукой, – никакого толку!

Я попросил ее посидеть для рисунка, она сейчас же убежала в избу. Вернулась в новом платке.

– Сарафан бы одеть, дак гладить надо. Да ладно, ково уж там молодитцато, отмолодилась, – рассуждала она, устраиваясь на порожке в темные сенцы.

Утром я набрал в большой термос ледяной воды. Баба Феня тем временем собрала объемистую кирзовую сумку. На багажнике укрепили доски, пилу, топор да лопату. Баба Феня обрядилась в халат, какие выдают дояркам, и мы поехали.

По дороге она все дивилась обстоятельствам:

– Вот все сразу и увезем, а то хоть на себе ташши.

Могилка прилепилась к склону холма. Железная, когда-то крашеная оградка обшелушилась, покрылась ржавчиной. Памятник снизу от земли сгнил, покосился, и молодые березовые прутьики зеленели сквозь доски. Большая раскидистая береза стояла в изголовье. В лиловом знойном мареве лист ее источал ядрёный банный дух. Где-то погромыхивало. Неистово

стрекотали кузнечики. Там же, недалеко, между могил, бесшумно, как привидение, мужик в фуфайке и с большой матрасовкой промышлял пустые бутылки.

Когда мы разобрали надмогильник, под ним обнаружилось жилище земляных муравьев. В изъеденных ими досках и по земле струились они живой потревоженной массой. Иных я вместе с досками отнес к мусорной куче, и здесь они панически и беспомощно суетились меж хлама. У многих были большие белые коконы.

Где те весы, на которых можно было бы взвесить могучий инстинкт сохранения потомства вот этой незащитной твари и всемогущего человека?

Пока мы убирали мусор под памятником, вырубил березовую поросль, поправили холмик, баба Феня разложила содержимое сумки в уголке ограды. Здесь были ветошь, гвозди, полотенце с мылом да банки с краской.

– А это зачем? – показал я на пузырек с нашатырным спиртом.

– Видишь ли, человек я тут временный, прихватит, дак мигом сбрыкашь. Это пока здоровый, дак хохочешь, а когда там болит, тут что-то отваливается, дак не до смеху, парень. Сережа вот и отхохотался.

Уже вечерело, и я из березовых досок на пруду среди осоки и плакучих ив соорудил мостки. Умывшись парной водой, я закурил и долго смотрел, как голубая стрекоза билась на воде, а большой коричневый жук, ухватив за крыло, тщетно пытался тащить ее в темную прохладную глубину. А желтая маленькая птичка, печально посвистывая, перелетала с кувшинки на кувшинку.

Возвращались поздно. На фоне предзакатного неба мелькали пыльные поникшие колосья ржи. Временами с какой-нибудь горюшки над хлебами темнел Иртыш. Тяжело катил он свои воды на север. На пароме, прислонясь к перилам, стоял тот мужик с кладбища с матрасовкой, набитой пустыми бутылками. Самодельные ляжки из мережи туго впивались в его худые плечи. Увидев на дощатом пароме среди песка, мусора и соломы копейку, он долго корячился со своей непосильной ношей, подымая монету, а подняв наконец, натужно-красный от трудов, молвил: «Я поднял тебя, ты подыми меня!».

Паром тот к ночи был последним.

Что-то никак не спалось. Шиферная крыша нагрелась за день. Тяжелый жаркий дух сосновых досок, мешковины и сухих трав жил в моем чулане. Я вышел на крыльцо покурить. Когда глаза пообвыкли к яркому пламени спички, стало видно огромную, во все небо, зовущую дорогу Млечного Пути. А под ней чуть слышно шелестела крапива, во тьме едва белела изгородь, и где-то неумолчно бил перепел.

Еще вчера, возвращаясь с озер, я заметил – трава, примятая моим сапогом, больше уж не поднялась.

Вот и еще одно лето истаяло августом.

СТОРОЖ

Сторож в нашем обществе – мужик серьезный, на земле стоит двумя ногами нараскоряку. Угрюмоватый вид, да к тому же необщительность как бы поднимают его над обществом. Знойными летними вечерами бродит он с ружьем по пыльным улицам дачного поселка. За ним плетутся, высунув языки, местные облезлые собаки. Завидев отворенную калитку, он строго вопрошает внутрь: «Жив ли хозяин?». Убедившись, что жив, тут же не

забудет спросить, уплачено ли за электроэнергию. И уже у следующего домика бормочет: «Уплачено у него! А что ж тогда третьего года долги погасить не можешь? Ладно, хоть свои мужики рубильник ишшо не отключили. Отключат вот, дак с ковшика будешь поливать-то. С ковшика!».

В отличие от суетливых бестолковых дачников, он до завидного обстоятелен. Как-то в дачном киоске он выбирал наливку, а питья этого теперь великое множество. Бережно брал он каждую бутылку в руки, внимательно изучал этикетку, даже пробовал на прочность пробку, смотрел на свет, советовался с продавцом. И все это несуетно и серьезно. Вот так же несуетно, подумалось мне, достанет он дома стаканчик, протрет его полотенцем, посмотрит доньшко на свет, нальет, бережно высосет, вытянув губы, и скажет себе: «Жар спадет – травы на подстилку поросенку привезти бы надо...».

У таких мужиков необщительность возведена в статус кредо – ни с кем никаких диалогов!

Как-то раз мне довелось слышать, как он беседовал со сворой прибившихся к нему бродячих собак. Ловко обвязывая лыком новые аккуратные веники, он поучал внимательно слушающую его разношерстную аудиторию:

– Веник – он, брат, не у каждого в руках вяжется. Вот возьмешь ветку-то с середины ствола, да ту, котора понакляпла, а там уж ветку к ветке – посередке подлиннее будут, а по бокам-то покороче возьмешь, да пару веточек смородины туда. Такой-то веник как ошпаришь, дак дух-то изо всех углов посередке соберется, вот и пользуй его, пока запах держится. Не пахнет если – это уже не веник – опарыш. Выбрасывай его или на голик оставь – снег с валенок оббивать сгодится.

Отставив веник в вытянутой руке, как дорогой букет, набычившись поверх толстенных очков, он обычно заключал:

– Вот таким он и должен быть, духмяным да упаристым.

Зимой он поедет в город продавать веники. Невелики деньги, но бережливому – прибавка к столу. А веники его покупаются. И сейчас где-нибудь в парилке мужики, отпыхиваясь от жара, разглядывают веник и хвалят – какой же он легкий да упаристый.

В предзакатном небе пучится, растет грозное лиловое облако. В брюхе у облака кто-то шевелится, урчит и погромыхивает. А на земле под облаком, у баньки, под облешихой за свежеструганым столом сидит такой же лиловый распаренный сторож. Перед ним в графинчике ядреная крапачного цвета настойка. Хлопнет стаканчик, страшно крикнет и раскатисто в ответ облаку захрустит огурцом. Потом отколупнет заскорузлым ногтем от багровой ягодицы зеленый березовый листок и прикроет, как пробкой, бутылку от мух.

Ну идиллия, мать его за ногу!

КОЕ-ЧТО О ПОВАДКАХ ЧЕРТЕЙ

Собрались мы купить дом в деревне. Давно это было. Деревню мы рассмотрели и дом тоже. Он был крайним в деревне, вплотную приступал лес. В лесу, метрах в двухстах, среди сосен было заросшее брусникой и грибами кладбище. По утрам там токовали косачи, а рядом на поле вместе с домашним скотом прогуливались лоси.

Хозяйка – одинокая немолодая женщина, угощая нас чаем, уговаривала:

– Берите, берите! Дом небоязной! А что кладбище рядом, дак это ничего. Живых бояться надо. Это вон у Марфы, покойницы, царство ей небесное, дом-то слева под горкой. Как она там жила, бедная! То по потолку кто-то заходит – матица заскрипит. То под полом кто-то забрякает. Чертовщина какая-то водилась!

На обратном пути мы заглянули в тот дом. Тесовые половицы кто-то снял. На лагах посреди жилья осталась стоять печь, ощерившись страшным провалом обвалившегося цела, посреди которого, как одинокий зуб, торчала пустая пивная бутылка. Пахнуло густо плесенью, гнилым тряпьем и чем-то нежилым, тяжелым, тревожным. Ну, конечно, уж тут ли чертям не жить!

А вообще-то, как впоследствии выяснилось, в той деревне чертей водилось, как голубей на Красной площади.

С покупкой того дома не вышло – не сошлись в цене. Купили мы половину пятистенка неподалеку у доброй усатой старушки, которая по вечерам гнала самогон-озверин, пекла блины и «играла» на патефоне.

По соседству, в хибаре сикось-накось, жила продавщица, сварливая невидная бабенка с кучей грязных ребятишек, с вечно веселым патлатым мужиком в брезентовом шабуре и в штанах с мотнёй ниже колен.

Отношения в деревне у нас сразу как-то наладились. Слыли за своих. Всякое бывало: в ночь-полночь постучишь в окно – накричит, обматерит, а бутылку всё-таки выдаст.

Так вот, у продавщицы той в бытность нашу завелись черти. Правда, блазнились они не всему семейству. Ребятишкам они не казались. Общение происходило на уровне супругов. Бывало, утром квашня поспела, хлеба высаживать надо, а они в кадушку лезут, за руки хватают. Один раз как махнула хозяйка ухватом, так чуть своего малого не зашибла. Кое-как отвадились йогом.

По утрам стали приглашать Алексея в дом – при посторонних-то не так уж тешатся. А чтоб не скучно было ему с ними сидеть, для интереса рюмку-другую наливали. Алексей-то сперва как бы так ходил, а потом повадился – и звать не надо. С третьими петухами надевал пимы, фуфайку – и туда на дежурство, как на казенную работу.

Черти, видимо, из того вывод сделали, что не такой уж он и посторонний, и совсем обнаглели! И при нем казаться стали. Кончилось тем, что половина нечисти перебралась на постоянное жительство к нему в дом.

Чужая семья – потемки, а потому дальше рассказывает сам Алексей:

– Пришли втроем: двое-то больших, один маленький. Устроились на кухне под столом. По ночам блазнились. Тихие были, пакости большой от них не видели.

Алексей улыбається, курит, отмахивая дым, смотрит в окно. Жена его тоже улыбається, встречается в разговор:

– Дак ведь встанет ночью, уйдет на кухню и говорит, и говорит. Я встану, подойду, спрашиваю: «С кем говоришь?» Отвечает: «А во-он около печи, на лавке-то видишь?!» Смотрю, на лавке-то никого и нету. Валенки сушатся да ведро с отрубями стоит. Долго ведь так-то было с им. Недели две, однако!

Алексей продолжает:

– А потом как-то вечером дождь, холод. Они мне и говорят: «Ну ладно, погостили и хватит, нам в Ялуторовск надо. Проводи нас до станции». Пошли мы. До согры дошли. Я промок до костей, зуб на зуб не попадает. Я и говорю: «Здесь до дороги с километр, однако, будет. Там налево сразу и остановка». Ну, попрощались мы, и убралась она, так их мать! С тех пор и перестали казаться.

У продавщицы же с чертями вышло не столь благополучно. Ездили они, говорят, и в Тобольск, в церковь, и к знахарям ходили. Инструкций им всяких надавали. Однако из хибарки пришлось съезжать.

Теперь она совсем обвалилась. Время берет свое. Затянуло все крапивою да чертополохом. И как напоминание о былом – нарисованный мелом крестик на двери.

Обведешь взглядом брошенную древесню – как после нейтронной бомбы! Черные провалы окон, белесые зубья когда-то добротных заборов, на которых теперь вечно сушатся чьи-то скукоженные кирзовые сапоги. Висят валенки, кастрюли. Барахлишко вокруг всякое валяется, без которого не мог обойтись человек, теперь уже никому не нужное.

Посреди дороги, на бугре, овеваемый со всех сторон ветрами, стоит стол. На столе – алюминиевая щербатая кружка. Никто и никогда не сядет за этот стол и не наполнит кружку ни молоком, ни водкой.

В городе, в бестолковщине будней, среди заваучеренного, заполитизированного населения, где замурованы железом и двери, и души, в обозленной ли очереди в магазине, полузадавленный ли в автобусе, вспомнишь вдруг то человеческое тепло и жилище свое, и улетит душа далеко-далеко отсюда.

И вот иду я той деревней, заглядываю в пустые глазницы окон, беседую с душами тех, кого давно уже нет, и холод забвения леденит сердце.

Лучшего места, как в репьях, нам с Алексеем не найти, чтобы распить бутылку. Тоскливо шумит на осеннем ветру пожухлая крапива, всхлюпает о лодку волна Шестаковки. Мышь где-то пропицала, стайка воробьев вспорхнула.

Нет деревни, осталась вечность. А прямо над нами – высокое-высокое небо в разводах ненастных облаков.

НЕБЕСНЫЙ ОХОТНИК

Тишина! Ни один листок не ворохнется на березе. Слышно, как иногда лопаются, стреляют гороховые стручки. Вот где-то высоко на юг пролетела стайка комаров. И даже слышно, как густо пахнут флоксы.

В проем отворенной двери виден темнеющий небосвод в редких звездах. По небосводу деловито бегают, суетится паучок. От звезды до звезды тянет паутинку, вцепится за звездочку, опустится вниз до скворечника и тут зацепится – и снова вверх, к звездам.

В сумерках сеть была не видна, а утром увидел ее – совершенное творение, набрякшее бисером холодной росы. А улов-то там – всего лишь одно маленькое-маленькое розовое облачко.

ПОЭЗИЯ

Сергей ДЮКАЛОВ

* * *

Негодую с Астафьевым	Затуманены завистью,
И тоскую с Есениным.	Поклоняемся доллару –
Видно, бесом поставлена	Словно гордости завязи
Пьеса нового времени.	С яблонь памяти сорваны.
Мы такие негодные –	Спрячу сердце за ставнями
Честь и совесть пропившие,	Я прошедшего времени.
Соловьиною родину	Понимаю Астафьева,
Ни за грош погубившие.	Понимаю Есенина.

* * *

Не прячьтесь в раковинах скуки,
За одиночества дверьми –
Я к вам протягиваю руки
Из беспшашной кутерьмы.

О стекла окон будут биться,
Как птицы, все слова мои –
Но не дано им возвратиться
В былые дни, в былые дни.

Хочу, хочу я достучаться
До ваших замкнутых сердец.
На звонкой радуге домчаться
До ваших сумрачных небес.

Не прячьтесь в раковинах скуки,
За равнодушия стеной.
Пусть солнце рвется
Прямо в руки,
Ласкает ветер озорной!

* * *

Нас губят губы.	Сотый поцелуй
Ранний поцелуй	Застенчивой ромашкой
Не даст раскрыться	Был украшен,
Ландышу восторга.	А не слетал измятым лепестком.
И мы с тобою, девочка,	И потому тебя
Продрогнем,	Не тороплю,
Сердцами оказавшись	Не захожу в открытую калитку.
Не у дел, –	Тебя глазами
Нас отдаляет притяженье тел.	Я давно люблю,
К романтике	А вот сердца мы
Меня ты не ревнуй –	Еще не слиты.
Порою ожидание нам слаще.	Давай с тобой немного
Хочу, чтоб даже	Подождем.

* * *

Я, словно дерево, расту
И разговариваю с Богом.
Я к небу голову тяну,
На землю твердо ставлю ноги.

Я небу отдан всей душой,
Земле родной я отдан телом.
И право жизни неземной
Земным доказываю делом.

И сколько б ни летал в мечтах,
Одно я вечно буду помнить –
Моя вершина в небесах,
Но без земли погибнут корни.

* * *

Я тебя еще так не любил –	Что бесхитростна и добра,
Без оглядки, упрямо, зло.	Как черемуха на ветру.
И не верил,	Не припомню такой тоски
Как в эти дни,	Я по верности и теплу.
Что чертовски мне повезло.	Как бы ни было – подожди
И такую тебя не знал –	Оставляй меня на беду.
Утомившейся от разлук.	Я другую не жду любовь,
И родною тебя не звал	Я чужие не жду глаза.
В суматохе горячих рук.	Пересилим любую боль –
Молодая моя судьба,	Нам друг друга
Не за то ли тебя люблю,	Терять нельзя.

Земные звезды

Луна - сосна, что спилена под корень,
А звезды – это гвоздики ромашек.
Ночное небо – зеркало земное.
Земля – дочь неба в трепетной рубашке.

Взметнется радость солнышком в березах,
Но туча скроет краповым беретом.
Грустить об этом просто несерьезно –
Не вечны тучи, как и все на свете.

Потом лошадкой в яблоках промчится –
И яблок золотых услышу россыпь.
Пусть пожелтели дней моих страницы –
Благословляю терпкой жизни осень.

Открою дом удачам и печалям,
Осколкам тишины в родных березах,
Любви восторгам в травах запоздалых –
Они друзья мои – земные звезды.

* * *

Ночь надела, взгляни,
Ожерелье из звезд.
Мы с тобою молчим
В перезвоне берез.

Нет богаче тебя,
Для тебя все вокруг -
И снега, и поля,
Нежность глаз,
Трепет губ.

Ожерелье из звезд
Я тебе подарю.
Нет богаче меня -
Потому что люблю.

Недотрога

Засиделась ты в девках, верно,
Раз никто тебя не берет.
Твои губы – желанный берег,
Но у берега – острый лед.

А в глазах твоих пчелы роем,
Потому что в тебе – цветы.
Дышит свежестью меда поле
В заповеднике красоты.

Ежедневною будь, как утро.
Ежедневною будь, как хлеб.
Неотступной и недоступной –
В этом женских побед секрет.

В одиночестве ты сильнее,
Коль не суженый – пусть уйдет.
Обжигает года и нервы
Поцелуев фальшивых лед.

Жить на свете нельзя без веры.
В бездорожье она – маяк.
И я верю – сойдет на берег
Твой желанный, лихой моряк.

И покатится по ладони
Твое сердце, как колобок...
И поймешь – счастьем тот наполнен,
Кто другому его дает.

* * *

Открываю окно, чтоб увидеться с небом, –
Я к его чистоте осторожно прильну.
Поделюсь щедрым солнцем, как делятся хлебом, –
Потому что иначе я жить не могу.

Пью я небо мое – и не в силах напиться,
Словно долго в плену был у серой тоски, –
Где не знал я живой родниковой водицы,
Лишь жевал горьких слов и обид сухари.

Поднимите глаза – на ладошку вниманья.
Приоткройте сердца – на краюшку добра.
Словно боги, должны мы творить пониманье, –
Потому что для нас это хлеб и вода.

Ленинград

Это горькое слово «блокада».
Это теплое слово «хлеб».
Мне казалось, что так и надо,
И важнее слов просто нет.

Как тогда не хватало хлеба –
На вес золота хлеб любой.
Да горячей ладошки неба
Мрачной яростною зимой.

Перечеркнута ночь лучами –
Разве есть на войне покой?
Окна словно кричат крестами,
Ожидая сирены вой.

Но в оковах тоски без света
Больше света ценилась жизнь –
Вновь рождались в кошмаре дети
И симфонии рвались ввысь.

Вспоминаю остов трамвая –
Обгоревший железный труп.
Варит мама, еще живая,
Из столярного клея суп.

И в истории нашей рядом
На изломах побед и бед
Черной смертью – петля блокады,
Белым храмом – заветный хлеб.

* * *

Я пью парное молоко,
Ем неизменную картошку.
Смотрю в открытое окно –
День новый
Ждет меня с лукошком.

В лукошке этом, видит Бог,
Полно находок и открытий.
Спешу, спешу я за порог,
Рассветом солнечным умытый.

А новый день стоит босой,
В льняной расстегнутой рубашке.
С непотревоженной росой
И тишиною нараспашку.

Пропахнет скошенной травой,
Окрасит губы земляникой.
И в сказку дивную с собой
Возьмет улыбкой позабытой.

Куда, куда же все ушло,
Как будто было понарошку –
И то парное молоко,
И та чудесная картошка.

Живет великое в простом
Волшебной завязью мгновений.
И в этом – красоты закон.
И бытия смысл сокровенный.

ПРОЗА

Анатолий ОМЕЛЬЧУК

ИНТИМНОЕ ДЕЛО

Читатель писателю ничем не обязан. Не ругает, матом не кроет – уже хорошо.

Исключительно. Ничем.

Что присуще только читателю, и что настоящий писатель особо ценит в нем? Читатель непременно, обязательно честен: понравилось – не понравилось. Иначе не бывает: насильно мил не будешь. Себе-то читатель никогда не лукавит. Он может произнести дежурный комплимент, но себе не сумеет соврать. Не убедит себя, что этот говнотекст – настоящий шедевр, как его убеждают записные критики. Чтение – акт любви, восприятие книги – любовь, а она – или есть, или нет. Предполагаю, что большинство читающих всё же не знают дара любви, боженька не облагодетельствовал. Секс есть, а любви и в помине не случилось.

Любви много не бывает.

Так что: прочитавши много книг – императором не станешь (Мао).

Писатель читателю обязан всем. Нет, не всем. Даром своим он обязан, понятно, исключительно Богу, но обязанностей у писателя перед читателем (хоть официально никаких нет) куда больше. Главная – понравиться, полюбить, полюбить этому привереде.

Боюсь, в этой интимной связке писатель – читатель читатель всё же на первом месте. Перед ним плещущий океан литературы, а он выбрал, предпочел тебя. Нашел в тебе что-то.

Один мой влиятельный читатель, он, по-моему, прочел только очерк «Нулевой пикет», почему-то очень обрадовался и сказал решительно, как отрезал:

– Рассчитывай на меня. Надо будет книгу издавать – обязательно по-могу.

Я нечаянно полюбил одну волнующую девушку, скорее всего потому, что она от корки до корки прочла «Её Величество Обь» и цитировала меня кусками, причем это были самые вкусные куски.

Алексей Максимович Горький переделал русскую литературу, создал Союз писателей. Писатели стали писать с оглядкой на коллег. Они, коллеги-писатели, и судьи, и арбитры, законодатели жанра, капралы вкуса, редакторы слов, знатоки, диктаторы абзацев, фельдфебели стиля, изобретатели соцреализма и всех остальных «измов». А ведь писатель писателю прежде всего конкурент. Какой из него критик? Точнее, какой из него читатель? Если написано лучше – это же для него хуже смерти.

И получилось у горьких последователей крошечное коллективное уё...ище. Кроме тех, кто писал для себя и своего читателя – всё и всегда, как последнюю перед смертью строчку.

Читатель спас. Спас великую русскую литературу советской эпохи.

Нет для литературы ни закона, ни канона.

Я свои книги в основном дарю, поэтому своего читателя знаю в лицо. Глаза в глаза. Женщины и мужчины, юные и пожившие. Пожилые преимущественно, особенно сверстники. Геологоразведчики, полярные капитаны, краеведы, жаждущие истины, буровые мастера, библиотекари, взыскующие правды, коллеги-журналисты, братья-графоманы, трепетные создания, профессора филологии, священнослужители, наивные студентки, астрономы, космонавт Скворцов, мудрые бородатые студенты, ректоры и торговки с базара, раввин и митрополит, великая Анна, таинственный свет, бизнесмены, изредка Шафраник, даже Шевчик Владимир Степанович, плотники, краснодеревщики, сам Собянин и сам Чемезов, отец губернатора Якушева, доярки, художники, главы районов, мастер Минсалим, школьники и скрипач Антон Шароев со своим виртуозным смычком.

Убежден: писатель, его книга, его шедевр – это творчество читателя. Горжусь своими читателями и сам себе завидую.

ПРОКОФЬЕВСКИЙ ПРИГОВОР

Позвонила Инга Георгиевна. Из Берлина.

– У вас, наверное, холодно?

– Всего 25.

– Минус?

– Да. Морозец!

– Наверное, очень холодно?

– Да разве это ж холодно?

– У нас-то, здесь в Берлине, еще плюс.

– Даже 31 декабря?

– Сегодня около пятнадцати.

– У вас же северная школа, Инга Георгиевна. Чего вам сибирских морозцев бояться?

– Да это ж не моя школа: а мамы с папой.

Инга Георгиевна – дочка Георгия и Екатерины Прокофьевых. Ей сегодня неполных 80.

Мы с ней знакомы дистанционно, телефонно, и совсем недавно.

Мне написала как-то Аня Огородникова-Прокофьева. Конечно, я не забыл, что третью свою книжку посвятил «Рыцарям Севера». Тем, кто в тридцатые советские годы Двадцатого века создавал письменность для коренных ямальских народов: ненцев, хантов, селькупов.

Но Прокофьевы – фамилия распространенная, и меня поначалу ничто не насторожило. Даже отчество: Георгиевна. Собирая книгу, я смог встретиться – тогда еще в Ленинграде – только с единственным прокофьевским сыном – Александром. Физик-электронщик был по-питерски приветлив, но внутренне суров. Может быть, как отец: строг к себе. Меня поразили в его квартире чехлы на мебели: Александр жил в просторной старинной питерской квартире, как-то связанной с великим композитором Николаем Римским-Корсаковым. Может, по жене.

А вот оказывается, жива-здорова его старшая сестра Инга, и ей всё еще нет восьмидесяти.

Как понял, Инга Георгиевна живет на два дома: в Питере и у дочери в Германии. Кажется, ее бабушка – мать моего героя Георгия Прокофьева – была немкой.

За 7 тысяч километров не поверишь, что этому юному голосу 80 еще только-только стукнет.

Понятно, у меня уже не осталось свободного экземпляра ни первого издания «Рыцарей», ни второго, но только что вышло на дисках полное электронное собрание книг, понятно, с «Рыцарями» на третьем месте. Этого добра много, и я выслал прокофьевской внучке Ане десяток дисков: всем Прокофьевым и еще в библиотеку ИНСа имени Герцена.

Инга Георгиевна – учительница по жизни и, как догадываюсь, неизменно восторженна. В мать, в Екатерину Дмитриевну. Та тоже, молодая и беременная, в глухой туруханской тайге, в полярную сибирскую ночь, одна на весь окружающий мир, выйдя из скоростроенной лачуги, умилилась и не могла прийти в себя от восторга от окружающей ее красоты. Невероятно!

Тридцатые годы. Двадцатый век.

– Нам всем-всем-всем книга понравилась, – слышу голос ее дочки Инги из далекой Европы XXI века. – Всем-всем-всем. Так основательно. Мы все этого, то, о чем вы написали, ничего не знали. Никто. Мы даже сомневались, что же это так вас могло заинтересовать в нашей рядовой семье. Мы не знали, что у нас великие родители. Мы их открыли для себя. Нет, вернее, вы нам открыли наших великих родителей. Такие детали, такие подробности, всё так верно, так точно. А как атмосфера точно передана. А вы ведь с мамой даже не встречались? Да?

– Не довелось. Разминулись на одно лето. Не дождалась меня Екатерина Дмитриевна.

– Вот видите. И вы ж, наверное, не один год жизни на эту книгу потратили?

– Пятилетка получилась.

– Вот видите. Знаете, – голос издали звучит заговорщически: – Мы вас приговорили.

– За что? – ошарашен я резким переходом от заливистого восторга.

– Да, да, мы, Прокофьевы, вас приговорили. Вы: чудо-человек. Конечно, это я сказала, но все согласились: вы – чудо-человек. Все Прокофьевы, все-все-все. Не забывайте: вы – чудо-человек. Редкий. Мы все, Прокофьевы, обрадовались и ободрились.

Ну это, понятно, чересчур. Слишком. Но, черт возьми! И чем черт не шутит.

«Рыцарей» я писал основательно, самозабвенно и, может, вдохновенно. Хотя это документальная проза, и какие у документальных прозаиков вдохновения? Но я влюбился во всех своих героев: и в Прокофьевых – Екатерину и Георгия, в Валерия Николаевича Чернецова, в Григория Вербова. Хотя никого из них не видел в живых.

Но были еще живы их современники. Какие люди! Какие личности! Какое время! Какие страдания! Какие муки! Какое счастье!

Но вот выходит в сумеречную тайгу под полярным небом молодая беременная женщина – на весь мир одна – и замирает от восторга: глухая тайга – божественный мир.

Я понял, что письменность для моих любимых сибирских северян могли создать только святые. Мужчины и женщины. Несуетные святые. Призванные.

В общем, хорошая книжка у меня получилась. Автору понравилась.

Но не до такой же степени: чудо-человек.

Разве мало того, что твою книжку читают через два поколения после того, как она появилась на свет.

В конце концов я узнаю, что я чудо-человек. Они всем своим великим прокофьевским родом приговорили: чудо-человек. И не иначе.

Они потомки великих северных подвижников. И я им верю.

Почему бы и нет? Хотя действительно: почему?

Думаю, небольшая, скромная моя заслуга есть: я искренне интересуюсь другими, теми, о ком собрался писать. И даже после того, как написал и вроде бы исчерпал интерес. Нет, это остается на всю жизнь. Хотя есть и корыстный интерес: становишься богаче на чужую жизнь. Нет, не чужую... На другую жизнь.

Может, по нынешним временам это действительно чудо.

И не кто-нибудь, а сами Прокофьевы решили: чудо. Буду чудом – конечно, только для себя. Мне нравится. Если другие удивляются, почему бы и мне себе самому не удивиться?

ДУША ШМЯКНУЛАСЬ

– Толя. Мне плохо. Я Полину Прохоровну похоронил. Померла, вчера девять дней было. Поминали вчера. Толя, ты не представляешь, как мне плохо. Я и сегодня поминаю. У меня на руках умерла. Пожила – Бога гневить нечего. Мне плохо, Толя.

Но я не об этом. Когда мне плохо, Толя, я беру твою книгу и читаю твой рассказ «Сенокос на Кривой Луке». Сам помнишь? Тридцатый раз читаю. Ну укосился ты там. Душа вознеслась и шмякнулась. Ты замечательный писатель, лучший в Сибири. Так никто не напишет. Какой Тургенев! Какой «Бежин луг»! Ты пишешь лучше. Ты сам все это знаешь. Я же всё это пережил. Это же всё моё, моё тоже. Всё по правде, как в жизни. У меня детство было беда бедой. Жизнь сама. Настоящая.

Отец с фронта не вернулся. А маму, вдову фронтовика, забрали. Матушку мою посадили за недостачу – три тыщи сталинских рублей. Потом расследовали: она не виновата. Но она уже отсидела. Я один рос, без родителей, у бабушки. Отец же с фронта не вернулся. Меня матери на память оставил, а сам не вернулся. А ее забрали. Мне уж лет 10 было.

Моя родина – Седельниковский район. Это Омская область, Тара, на границе с твоей Томской областью – километров двести. Твоя тайга – моя тайга, мои болота – твои болота. Мы ж из одних мест. Васюган. И Полина Прохоровна тебя любила. Похоронил. Она у меня на руках умерла. Но, слава Богу, пожила всё же. 81 ей год шел. Она на два годка меня постарше.

Ты правда первый писатель России, после Валентина Распутина, естественно. Нет, не второй, рядом.

Я все пережил, о чем ты пишешь.

Это лучше «Бежина луга». Это про Сибирь. И ночное, и сенокос, и литовка норovit в землю воткнуться. Это все пережито. У меня на столе две книги: Виктор Конецкий и ты, Константиныч Омельчук. Но ты лучше, ты – про Сибирь, про родное. Река, правда, возвращается?

Что там Паустовский? Ты лучше пишешь. Наше родное родимее всего остального. С этим и попрем.

Трудно с тобой согласиться, но спасибо, Миша.

НИКАС

Есть такой непростой художник – Софронов Николай Степанович. Больше известен как просто Никас.

К нему и относиться приходится непросто. Нас с ним познакомил Петр Ершов. В Ишиме. Чем его тронула моя пылкая речь о национальном гении из Сибири?

Я его за язык не тянул.

Он всё сам:

– Я понял, вы, Анатолий – мой человек. Такая энергетика, такой профессионализм, такая любовь к родине, к своей стране, к Сибири. Я почувствовал, это человек, которому нельзя отказать ни в чем. Хотя вы утверждаете: я – журналист, но, думаю и хочу вам честно сказать, что вы – писатель, вы художник, вы творческий человек. Художник – в широком смысле. Благодарю за общение с вами. Эта роскошь, как сказал Экзюпери, человеческого общения – самое дорогое, что у меня есть. И относится в первую очередь к вам.

КУХТЕРИН

Уж он-то не отопрется. Прочел. Он, может быть, больше всех моих текстов прочитал. Не по обязанности, скорее по нужде. Он рисует иллюстрации к моим рассказам. Как минимум: рассказы нужно прочесть. Хочешь – не хочешь. Второй век Кухтерин исправно читает мои опусы. А такие замечательные рисунки получились: видимо, всё же рассказы понравились.

Он скромничает:

– Моя мама любит ваши рассказы. Это ведь и ее жизнь.

Замечательный читатель, лучший иллюстратор. Хотя какой он иллюстратор? Ведь он творит свой параллельный мир. Самостоятельный и самодостаточный. Его графические новеллы расширяют маленькое пространство моих.

НА ЗАВИСТЬ

Я только однажды позавидовал чужому читателю. Писал книгу о великом финне Александре Кастрене и совершал путешествие по его транс-азиатскому маршруту – от Полярного Урала до Алтая, напролет по Енисею до границ Поднебесной Империи.

Бывалый енисейский речник, капитан теплохода «Латвия» Алексей Родин попросил у меня Кастреново «Путешествие», читал сначала про себя, а потом с восхищением принялся декламировать подчиненным на вахте, вызвал своего старпома и со вкусом цитировал Кастреново описание Енисея, приговаривая:

– Как славно пишет! Как точно! Как вкусно!

После таких слов я снова взялся за знакомые страницы и с некоторым для себя удивлением обнаружил глубокую правоту капитана-речника: в ученых записках путешествующего Кастрена не просто много интересного, научно-познавательного, сам автор интересен как стилист, не только умный и умелый наблюдатель, но и увлекательный рассказчик.

Как не позавидовать! Что ни говори: гвардейские речники – тщательные читатели, умеют любить между строк.

И еще об одном читателе моего «Манящего света звезды Полярной».
«Уважаемый Анатолий Константинович!
Большое спасибо за книгу о Сибири, читаю с любовью к нашей Родине.
Посылаю своё стихотворение, посвященное Александру Кастрену.

Александр-Матиас Кастрен

*Томов двенадцать – его труды
о самоедах, котлах и марийцах!
И открывались нганасанов лица,
когда в их пользу он творил суды.
Под вьюгу легче высушить зады,
сырая рыба – это вам не пицца.
В сарае дымном пишутся страницы
далёкой родины, где скудные сады.
А мужа тянет истина к Саянам,
Там руны Калевалы, сны Бояна
вошли в его оснеженный катрен.
И нет ни Рима, славы Иудеи...
Но финну ближе сказы берендеев! –
таков этнограф и лингвист Кастрен.*

С глубоким уважением Анатолий Побаченко, Новосибирск».

Кто вдохновил тёзку из Новосибирска?
Понятно же, мы с Кастреном.

СТРОЧКА СЛЕЗЫ

Я встречаюсь с читателями возможно часто: только бы случай представился. Сколько угодно и где только можно. Специально съездил в Томск, в родной Томский императорский университет. В Салехарде, Сургуте, Кызыле, Барнауле, Екатеринбурге, Ханты-Мансийске, в родном райцентре Молчаново, в селе Земляное Голышмановского района, в Новосибирске, не говоря уж о Тюмени, и даже на Красной площади в Москве напротив Кремля.

Бывалый встречатель. Опытный.

Но встречу в библиотеке со слепыми читателями забыть невозможно.

Оказывается, тебя переложили на точки Брайля. И когда тебя начинают читать в голос руками по Брайлю...

Слеза потекла сама. Полагаю, скупая и, похоже, мужская. И уж точно – писательская.

Скупая строчка – след слезы.

Это же какая ответственность! Твоими словами: несовершенными, неточными, иногда пронзительными, неотточенными, проходными, чаще нелепыми, случайными, потрепанными, ненайденными, обиходными и все же порой вдохновенными.

Это ты: окно в мир невидящего человека. Незрячего.

ПОЭЗИЯ

Татьяна МАЛИШЕВСКАЯ

* * *

Моя душа – замерзшая водица
В графине тела, но нельзя напиться...
Звенит сосулькой тонкой на ветру,
Царапает колючкой по нутру
И растопить тот лед, увы, так сложно
Наверное, уже и невозможно...

* * *

Я терпеливо жду...	Сейчас свечу зажгу,
Раз так судьбой дано...	Зашторю я окно
Но долго не смогу,	И песню буду петь
Терпенье не мой козырь,	Веселую... Сквозь слезы.

* * *

Открою я тебе секрет –
Во мне зажегся яркий свет,
Как след кометы в темноте
Он даже ночью светит мне
Тот свет ничем не потушить,
Ведь он живой, он хочет жить
И не зависит от меня
Накал священного огня.
Я пламенею, я горю...
Тебя за свет благодарю.

Белоголовый человечек

Белоголовый человечек	И боль тихонько отступила,
Лампадку тусклую разжег,	Ну, а потом совсем ушла.
Вдруг засветился фитилек	А человечек сладко спал,
Без жаркого огня, без свечек...	Не понимая своей роли,
И света чистого волна	Избавивший меня от боли,
Очистила и освятила,	Хоть не словечка не сказал.

* * *

А ангел бился грудью о стекло,
Кричал, молил, стонал, а ты не слышал,
Подумал: «Веткой клен стучит в окно,
Или сосульки облетают с крыши».
Уставший ангел, словно человек,
Заплакал... Стало тихо... Выпал снег...
Каким чудесным оказался день, каким прекрасным!
Вот только снег был почему-то красным...

Вопреки физике

Не говорите мне, что нет чудес на свете,
И физику сюда не приплетайте.
И, если подхватил влюбленный ветер,
Побудьте глупым, молодым. Летайте!
Забудьте про земное тяготенье,
Купайтесь в облаках и пейте росы,
В рубашке белой с крестиком нательным
К любимой подойдите бедным, босым.
Не надо ни дворцов, ни подношений,
Лишь нежность Ваша до самозабвения.
И, если любит, ценит отношения
Отпустит полетать до воскресенья.

* * *

Воробьи затеяли возню	Им красот зимы совсем не жаль,
У меня на чердаке под крышей,	В панцире зимы нашли прореху.
Словно проверяют: сплю – не сплю,	Их чириканья нестройный хор
Слышу их возню или не слышу.	Нас зовет скорее пробудиться,
Воробьиной радости февраль,	Тем, кто одинок был до сих пор,
Видимо, совсем и не помеха.	Воробьи советуют влюбиться.

Но

Кормил меня любимый мой с ладони
Малиной спелой – сладкой, как вино,
Да, я давно приучена к неволе,
Послушна я тебе, покорна... Но
Вот это «но» как раз все и меняет,
Вот это «но» покоя не дает.
Зайчонку, что весной всегда линяет
Или реке, с которой сходит лед.
Зачем они – опасные флюиды?
Ведь счастье рядом, руку протяни
Корми меня малиной, мой любимый,
Я не люблю ее, но все равно – корми.

Женская натура

Женская натура так противоречива:
До сути докопаться, до первопричины.
Усложнить простое,
в трех соснах заблудиться,
Полюбить плохое,
Разлюбить стремиться,
Мучиться, метаться,
Все искать ответы...
А потом признаться –
Счастье было в этом.

Давай пойдём с тобой к реке

Давай пойдём с тобой к реке	Иди ко мне, так ночь нежна
Без грустных мыслей, налегке,	И в перевернутых лесах
Давай забудем о делах,	На отраженных небесах
В ночных купаясь зеркалах.	Гуляем в сказочной реке
Луна... Звезд россыпь... Тишина...	Рука в руке, рука в руке.

Она ушла...

Ты так просил, что Бог тебя услышал...
Чтоб скрасить одиночество твое,
Ее послал... А снег крупую сыпал...
И заметал, что было до нее.
Она с тобой искрилась самоцветом,
Пылала жаром, плавилась смолой
С заката и до самого рассвета
Жила тобой, дышала лишь тобой...
Она любила так, как не любили
Тебя ни в прежних жизнях, ни теперь...
Звезда упала, уточки уплыли...
Она ушла... Прикрыла тихо дверь...
Ни слова, ни слезинки, ни упрека,
Без объяснений... Что тут объяснять?..
Ушла любовь несчастная до срока
Приюта среди звезд себе искать!

Письмо другу

Мой добрый друг, у вас еще тепло?
А вот у нас уже, похоже, осень.
И выметает ветра помело
Осколки лета... в дырок неба просинь.
В сырых низинах нежится туман,
Как манный пудинг вязкий и несладкий
Струится птиц транзитных караван
Над полем, разлинованным тетрадкой.
Все суета – торопятся, шуршат.
Возня и писк с утра у каждой норки:
Пересчитать подрощенных мышат,
Заполнить кормом на зиму кладовки.
Цветы бесцветными монашками стоят,
Забыв про летнее, бесстыжее томление,
Когда всю красоту и аромат
Дарили пчелам в сладком упоении...
Я не грущу, а знаешь почему?
Я слову доверяю твоему.

ПРОЗА

Сарра-Мария ГРАНИК

Из цикла рассказов «Адар»*

АДАР

Сквозь дерево видна улица, бредущая вниз, к морю. В дереве по утрам вздыхают птицы. Из окна соседнего дома высовывается черная рука, всегда одна и та же. Распахивает решетку, ощупывает веревку для белья, сбрасывает на нее полотенца или простынь. Двигает колесо, и простынь отъезжает в угол. Затем появляется белая борода с зацепленной в нее сигаретой. И долго торчит в окне, обозревая море и шпиль, протыкающий небо.

Внизу старый араб моет из шланга свой дворик. Рычит ржавая труба под напором воды. Выходит его жена, неопрятная толстуха с плохо окрашенными волосами, приносит кофе. Острый запах пряностей заливаает округу.

Мальчишка в шляпе бежит в синагогу. Опаздывает. Прыгает через две ступеньки. Толстые щеки, пейсы заправлены за уши. Жует яблоко. Яблоко падает на землю, катится вниз, на бледное место укусов налипают грязь.

Сверху слышен шум подъезжающего автобуса. Лай ранних собак и крики их владельцев «бой-бой-бой-бой».

Сейчас, сейчас начнется. Раз, два, три...

Хлопает ставень.

– Госпо-о-оди, помоги! Помоги-и-и, госпо-о-оди! Помоги Леночке, ребенок задыхается! У ребенка астма! Госпо-о-оди-и-и!..

Из окна напротив высовывается встрепанная со сна кудлатая мужская голова.

– Что хочет эта женщина?! Что она хочет?! – вопрошает голова на иврите без особой, впрочем, надежды на ответ.

– У нее есть ребенок, а у ребенка есть астма... – объясняют голове с соседнего балкона.

– Господи! – кричит куда-то вверх голова из окна. – Если ты есть, дай этой женщине, что она хочет! И пусть она даст мне спать!

Ставень захлопывается обратно.

Колокол церкви Святого Иоанна начинает бравурно громохатать. Скрипят, распахиваясь, решетки ворот Бахайского сада. Каменные орлы остекленелыми глазами смотрят с лестниц на город, их можно погладить по голове.

– Сиди тут и не вздумай умирать без меня! Я скоро приду и хочу, чтобы ты была жива! Ты меня поняла? Вот окно, видишь? Смотри туда. Мици, я с тобой говорю!

Это полицейский. Сквозь параллельные трисы его балкона вижу, как он склоняется над Мици и треплет ее за ушами. Мици скулит. Она старая, и у нее нет зубов, кроме двух. Мици ест кашу и тертое разваренное мясо.

* Адар – район города Хайфа (Израиль), отличающийся полиэтничностью населения.

Когда ей становится грустно, она кладет громадную беззубую голову на край окна и шумно тянет пористым носом воздух.

– Ханука! Ханука! Ханука! Ханука, выходи!

Под окнами собираются мальчишки, они виснут на железной дверце, что отгораживает двор, влезают на перила забора. Трясут дерево, пугая птиц. Птицы в дереве начинают возиться и кричать. Чумазый Ханука несется вниз по лестнице. Одной рукой он держит сползающие на бегу штаны, другой утирает сопли. Сопли висят на нем, как гирлянды на ёлке, такие же блестящие и зеленые. В проеме распахнутой двери его квартиры возникает мать Хануки.

– А ну стой! Подлец, куда пошел! – ревет она грудным басом. За ее спиной переворачивают все вверх дном еще пятеро. Бежать, в отличие от Хануки, они не решаются.

– Беги, Ханука! Беги! Ханука-Ханука-Ханука!

И Ханука бежит.

Мать Хануки захлопывает дверь с такой силой, что из трещины в стене вываливается внушительный кусок штукатурки. Падает на пол, разлетается на мелкие меловые крошки. Вечером Хануке придется потихоньку влезать домой через окно.

– Самуэль! Самуэль! Где твои ключи?

– Откуда я должен это знать? – кричит Самуэль снизу, он уже вышел из дома.

– Естественно! Почему ты должен? Заходите, дорогие воры, берите, что хотите!

– Ты забыла, у нас нечего красть.

– Ну вот! Теперь вся улица знает, что мы нищие!

– Я сейчас вернусь и поищу!

– Самуэль! Самуэль! Их тут нигде нет!

– Потому что они у меня в кармане.

– Так иди на работу, ты опоздаешь!

– Я так и хотел, пока ты ко мне не привязалась! – раздраженно кричит Самуэль снизу.

Потом налетает ветер, поднимает в воздух мусор и листья, бросает их к ногам двухголового старика. Старик останавливается, перекладывает пакет с книгами из одной руки в другую, поправляет съехавший крахмальным воротник. Из воротника, как вторая голова, торчит опухоль. Зимой он заботливо оборачивает ее шерстяным шарфом. Но сейчас опухоль неприлично сияет натянутой кожей, точно новорожденный младенец. К врачам он не ходит. Седые волосы взмывают от ветра, борода растрепалась. Шепчет молитвы. На опущенных плечах и черной спине лапсердака лежит перхоть. Издалека он напоминает рояль.

– Горный воздух чист, как вино,

и запах сосен

разносится ветром в сумерках

со звуком колоколов.

И во сне из дерева и камня,

закованный в свой сон –

Город, который сидит одиноко,

а в сердце его – стена.

Иерусалим из золота,

из меди и света,

Не правда ли я –

скрипка для всех твоих песен? – ревет пластинка.

Девятилетняя Адель, похожая на пастушку с картин Бугро, кивает в такт песне с балкона.

– Овощи! Овощи! Овощи! Картошка! Помидоры! Морковь! Десять шелкелей кило! Овощи! Отличные свежие овощи!

– Йалла! Йалла! Йалла!

Я вижу ослов на подступах к Иерусалиму. Я – скрипка для всех твоих песен. Мици, ведь ты не умрешь? И овощи! Свежие овощи! Мы привезем их пароходом и выгрузим в нашем порту. И птицы в моем дереве будут петь. Арабский кофе пахнет духами и на вкус как зрелая гвоздика.

– Ханука-Ханука-Ханука!

– Бога нет! – кричит в окно кудлатая голова.

И кто-то кивает в такт.

ВОЗНЕСЕНИЕ ИИСУСА

Наш Иисус решил прыгнуть с крыши и вознестись. Мы стоим внизу и ждем, что будет дальше.

Вид у него торжественный, это видно даже снизу. Иисус стоит на фоне неба, которого нет, вместо него серая пропасть. В воздухе, как в киселе, плавает песок.

– Слезай вниз, придурок! – кричат Иисусу.

Иисус неподвижен, точно изваяние, плывет мимо нас на своей крыше.

– погоди, сейчас приедет полиция, и тебя снимут! – кричат Иисусу с угрозой.

– Он идиот, вы не знали?

– Полный псих! Где его жена?

– Несчастливая! Надо было думать, этот ненормальный будет делать ей дырку в голове всю жизнь!

– Вон, вон она там!

– Где это?

– Вон, следи за рукой! Чертов песок! Когда же приедет полиция?..

– Одна пыль – и ничего не видно!

Внизу улицы появляется женская фигура, пытается бежать. Бежать тяжело. Фигура режет воздух головой, как ножом, прокладывая себе путь. Бросает вперед руки.

– Эй, ты, на крыше! Лучше слась по-хорошему!

– Сейчас она ему покажет!

– Смотрите-ка! С ней дети!

– Гадина! Детей тебе не жалко?! – кричат Иисусу.

– Он не понимает по-русски. Он итальянец.

– Сын проститутки! – кричат Иисусу.

– Да, теперь он понял.

– Смотри, он забегал там! Почему? Кричит!

– По-итальянски?

– Кто-нибудь тут понимает итальянский?

– Говори на иврите! Что ты хочешь? – кричат Иисусу.

– Жену испугался, вот и бежит!

– Может, у него есть требования, и он их кричит?!

– Какие требования?! Это не захват заложников!

– Человек на крыше, это не просто так! У человека трагедия!

– Тут у всех трагедия! Но на крышу никто не полез!

Жена Иисуса приближается к нам. Волосы ее стоят столбом от песка и пота. Пот, слезы и жара текут по лицу и шее, под платье. Она задыхается, кашляет пылью. Рот ее сидит на лице криво. Хочет кричать, но опять захлебывается кашлем. И лает, и лает...

Наш Иисус любит говорить об Италии. Только тихо! Пока рядом никого нет.

Иисус работает на заводе, это его Via Dolorosa. Он таскает коробки и мешки, возит тележки, сгибается под тяжестью. Жилы его трещат и тянутся, а глаза печальны. Глаза его – вечная Италия.

– Эй, бедняга! – кричат Иисусу. – Нет времени уставать!

Иисус старается не уставать. Старается разгибать спину и расслаблять жилы. Но это не помогает. Его лицо все равно с каждым днем все больше вытягивается и желтеет, приобретая иконописный облик.

А дома то же.

Жена его марокканка, она любит работать, любит говорить и рожать. И все это не переставая, ей не надоедает. Она всегда при деле и не устает, нет времени уставать. Одно дело переходит в другое, разговор – в работу, работа – в разговор. Рождение – в заботу, забота – в работу... Осень – в зиму, зима – в дожди, дожди – в лето. И сначала, сначала. Этот круг не прерывается никогда, как не меняется цикл времен года. И это правильно.

Но как же Италия?

Да, Иисус родом из Италии. Из какого-то провинциального городка близ Флоренции, то есть такого, около которого фиолетовые от лаванды поля. Где крытые черепицей домики с запахами плесени и булок, и спокойной жизни.

Если спросить его и есть время слушать, он расскажет о каналах. И об улицах, похожих на каналы. О тупичках и двориках с металлическими столиками. Голубыми или белыми, за которыми можно выпить домашнее вино, обжигающее красным и дающее силы пережить это утро, эту красоту и свободу. Об узких чесночных багетах и сырной пасте... О том, как горячо и сытно все это благоухает, окруженное алыми помидорами.

В помидорах, скажет он, есть стыд. Они похожи на женщин изнутри.

О, этот стыд, заключенный в помидорах! Тут он сделает длинное движение рукой в сторону рта, как шпагоглотатель. И ты поймешь, что прекраснее этого ничего не может быть.

И наш Иисус воскреснет. Воскреснет каждый раз, когда можно говорить об Италии.

Он будет петь о ней, как «Ave Maria», путая слова. Иврит, итальянский, английский. И в каждом языке не найдется достаточно слов, чтобы сказать об Италии, как надо.

А сейчас он на крыше.

– Идиота! – орет жена Иисуса и тянет вверх согнутые руки.

Дети смотрят в сторону ее протянутых рук, разинув рты. Ничего не видно, метет песок. Иисус склоняется через парапет, пытаюсь разглядеть, что у нас происходит. Он явно нервничает.

– Сиди уже там! – советуют Иисусу.

– Нет, это никогда не закончится!

– Он, между прочим, портит крышу. По ней не надо ходить ногами, она будет течь.

- Но вы забываете, у человека драма!
- Драма будет, когда начнутся дожди и потечет крыша.
- Как он вообще там оказался?
- Надо пойти туда и приволоочь его вниз силой!
- Конечно! Все начнут топтаться по нашей крыше! Почему нет?!

Иисусу, видимо, все это начинает надоедать. Он влезает на широкий парапет с ногами. Что делать дальше, он не знает.

Его жена сидит внизу на земле, обхватив взмыленную голову руками, и стонет. Дети молча садятся рядом, по-прежнему раскрыв рты, как голодные птицы.

- Послушайте, надо что-то делать! Это не может так продолжаться!
- Что ты предлагаешь?
- Надо дождаться полицию, она знает, что делать.
- Тебе хотелось бы в это верить! Но нет!..
- По-моему, прыгать он вовсе не собирается. По крайней мере, не сегодня.

- Он что, ночевать там будет? Еще не хватало!
- Прекратите жалеть свою крышу! Там человек!
- Может, если мы разойдемся, он сам слезет и пойдет себе домой?
- Кто его пустит домой, интересно знать?! – вопит его жена, прекращая стонать.

- Да, теперь у него нет выхода. Надо прыгать...
- О, вот и полиция!

Иисус на крыше тоже видит полицию. Он начинает метаться по парапету, смешно перебирая ногами.

- Боже мой! Он танцует!
- Нашел время!

Иисус молча летит три этажа вниз. Летит он почему-то спиной, барахтаясь в воздухе. Толпа внизу вдыхает в себя крик ужаса.

- И-и-и-и!.. – визжит жена Иисуса, пряча лицо в руки. – И-и-и-и-и!

Иисус приземляется на натянутый полосатый тент, неуклюже пару раз пружинит на нем, потом замирает. Тент, служивший навесом дворику первого этажа, обрывается с петель, стелется по земле, накрывает собою качели, розы в кадках, сушилку для белья...

Приезжает скорая помощь.

- Что тут происходит?! Эй! Что происходит! – кричит хозяин двора.

Он только что вернулся с работы. Вход в его квартиру с другой улицы, поэтому он ничего не понимает. Видя полицию, он успокаивается.

Полиция врывается во дворик через квартиру. Иисуса вместе с тентом несут к машине скорой помощи.

- Он жив? – спрашивают в толпе.
- Он умер! Он умер! – истошно воет его жена и рвет на себе волосы.
- Я уже умер? – спрашивает Иисус слабым голосом, не открывая глаз.

– Тогда почему я вас все еще слышу?

- Подлец! – орет жена Иисуса. – Я убью тебя! Я убью себя! Сукин сын!

Иисуса увозят вместе с тентом.

- Верните тент!

Хозяин двора выбегает на улицу, но уже поздно. Все расходятся.

Наш Иисус сломал ногу. Голову он сломал намного раньше, как утверждает его жена, поэтому во время падения она не пострадала. Иисус лежит дома, вытянувшись во весь рост на кровати, как на доске. Его нога, распухшая от гипса и бинтов, подвешена к крюку. Иисус обреченно

смотрит на крюк, сам отцепить с него ногу он не может. Около кровати толпятся дети. Они стучат ручонками по загипсованной ноге, им нравится этот звук. Теряют Иисуса за бороду, но он по-прежнему тих и безучастен. Приходит жена Иисуса, прогоняет детей, отцепляет ногу, ведет его в туалет. Иисус обреченно вздыхает.

– Что такое? – спрашивает его жена. – Ты устал отдыхать?

Иисус смотрит на крюк, глаза его наполняются слезами. Скорее всего, он вспоминает Италию.

Теперь Иисус знаменит, о нем написали в газете. На него приходят смотреть. Его жена показывает всем газету, тент, который так и не был возвращен владельцу, и мрачного Иисуса, лежащего в кровати.

– Смотрите, – говорит она. – Это гипс.

И для убедительности стучит по его ноге.

ЖЕРТВА ХОЛОКОСТА

– Послушай, там, за диваном, еще грязь. Мариночка сказала, неплохо бы вымыть. Она, бедная, залезть туда не может, с ее-то спиной. И двигать ей нельзя, может случиться, оборвется диск. И что я буду делать? Всю жизнь, всю жизнь куски с себя отрывала! Думала, Мариночка будет у меня устроена, а ведь она красавица, и такое несчастье! Проклятая Израилевка! Чтоб ей сгореть! Туалетная бумага уже по двенадцать шекелей... Двенадцать! С ума спятить! Так вот, у Мариночки появился соседский грузин. Я тебе говорила? Не помню, чтобы говорила...

Двигаю диван, он старый, железные ноги елозят по полу, грозя отвалиться. Диван хрипит пружинами.

– Аккуратнее, аккуратнее там! Другой нам уже не купить! Тебе-то все равно, а нам еще жить с этим!

Диван идет туго, наваливаюсь всем телом, толкаю. Диван неожиданно раскладывается сам собой, прижимая меня к стене. Это довольно больно.

– Ой-вей! Божечки! Сломался, сломался же! Это конец! Все!

– Все нормально, – говорю, безуспешно пытаюсь выбраться, – сейчас сложим его назад.

– Не надо меня утешать! Это конец, конец дивану! Я все видела!

У Леи истерика, она подкусывает губу искусственной челюстью, готова рыдать в голос. Рыдает она без слез, и выглядит это очень странно. Рыдает голосом и мимикой, и руками. Руки у Леи белые и холеные, они невыносимо смотрятся на ее морщинистом лице, когда она хватается за щеки, оттягивая их вниз. Она щипает себя и тянет кожу с такой силой, что виден низ глазных яблок и мясисто-сизые внутренности подглазья. Бедная страшная Лея. В таких случаях я боюсь, что она сорвет с себя лицо, и тогда все пропало. Тут важно вовремя перевести тему.

– Ну, так что там с соседским грузином?

– Ах, грузины! – произносит Лея с ностальгией на лице. Диван на какое-то время перестает для нее существовать. Я выдыхаю.

– Красивый народ! Гордая нация! А как поют! Помню, ухаживал за мной один, еще в Белоруссии. Красавец! Черные кудри! Мы гуляли по бульвару, ели мороженое. Мороженое таяло, капало мне на платье или то была мамина юбка... Не помню... Неважно... Так вот, эти черные кудри летели по ветру, как розы. Знаешь, когда цветут розовые кусты и ветер, эти стебли и листья будто летят, но не отрываются. Такое длинное

прямое колыхание... Ах, эти розы!.. То есть грузинские кудри... Нет, мне никогда не забыть! У них был текстильный заводик. А у моего грузина прекрасные усы! Он меня поцеловал в шею совсем неожиданно прямо на бульваре. От усов было щекотно. И пахли они духами! Сумасшедший от любви! Правда, оказалось, он был совсем не порядочный. Подженился, там, на грузинке. А у нее, оказывается, тоже были усы. После свадьбы она почему-то перестала их убирать, и они вылезли наружу. И поделом ему! Но каков был красавец! И каков был подлец!

Диван сложен. Я лезу вдоль стены с тряпкой. Там мохнатая пыль, как в воспоминаниях моей Леи. Под ней напластования песка, что намело из окон, в котором смешалось и застыло все уроненное туда когда-то и забытое. Я нахожу беззубую расческу, конфеты, обрывок русской газеты, склянку из-под глазных капель, дешевый медальон...

– Поддай мне веник и совок. Я разгребу весь этот археологический завал.

– Возьми сама, я не могу встать. А ты молодая! – отвечает Лея с досадой в голосе, будто я в этом виновата.

Приходится вылезать обратно и искать веник и совок.

– Почему ты бросила тряпку посреди комнаты? И, раз уж ты вылезла, проверь заодно, отмокли там, в ванной, шторы. Когда мы их замочили? Час уже прошел? Почему ты не засекала? Вот же, есть часы! Это просто. Так вот... Ты слушаешь? Что ты там делаешь, в ванной? Откуда мне знать, где веник? Я за ним не слежу. Хорошо слышно? Да, так однажды эта грузинская нахалка гуляла под нашим балконом. Просто неслыханная наглость! А у нее на платье были алые розы, которые очень шли к ее усам. Он-то мог ей достать такую материю, текстильный заводик... Мне назло. Я облила ее из лейки! Паразитка! Больше она там не гуляла... Ха-ха-ха! Усатая-полосатая!

Лея вновь празднует свой триумф. Ее лицо съезживается, по нему лезут вниз морщины. Она смеется, как птица, нахохлившись реденькими кудрями. Старый хитрый купидон.

– Сложи все в пакет, я разберу. Без меня ничего не выбрасывай!

– Зачем? Там ничего ценного и все в пыли.

– Сложи в пакет прямо с пылью и дай сюда, я разберусь!

Спорить с ней бесполезно. Я ссыпаю все найденное за диваном вместе с пылью и песком в пакет и даю Лее. Лея сидит у стола, потрясывая головой, похожей на одуванчик. Пух ее волос жизнерадостно колышется в вечерних лучах. Она принимает пакет на колени и с упоением роется в нем. Я принимаюсь за пол.

– Тряпку выжимай лучше, в прошлый раз пол сох целый час. Мариночка чуть не сломала ногу, – говорит Лея, не переставая рыться в пакете.

Я стараюсь скрыть улыбку злорадства. Выжимаю тряпку как можно суше.

За окном Леиногo салона гаснет день. Солнце еще довольно высоко, но совсем скоро потянется к морю. Свет уходит, сереет. Тень пересекает ненавистную мне картину, висящую над диваном. Я протираю ее тряпкой. На картине зеленая лужайка и зеленый холм. Белые облака, похожие на баранов. Какие-то алые цветы только внизу. На холме сидит носатый человек, похожий на грузина, и играет на дудочке. Почему-то сзади к нему бежит безликое существо в платье. Скорее всего, девушка, которой он играет. Но грузин видеть ее не может, поскольку единственный его нарисованный глаз смотрит прямо на меня. Это весьма странное произведение подарил Мариночке знакомый художник, вероятно, тоже питавший слабость к грузинской нации.

– Осторожнее с картиной! Это очень ценная вещь, настоящая живопись. Хотя, ты, наверное, не понимаешь.

– Да, мне сложно понять, – говорю я и иду стирать шторы.

– Подожди, не начинай, я должна проследить.

Лея тащит стул и садится в коридоре, в ванной нет места. Вода от штор стала черной. Грязь смешалась с краской. Зеленый плюш катастрофически линяет. Я сливаю воду и замачиваю вновь. Тяжелый плюш мокро шмякается о ржавое днище.

– А Мариночке недавно повезло, – не унимается Лея из коридора, – у соседей развелся сын. Представляешь? Так они давно к нам присматривались, как оказалось, и решили его познакомить с моей Мариночкой. Тут и присматриваться не надо, все как на ладони. Скромная, негулящая, работающая, аккуратная...

– М-м-да-а! – говорю, стараясь вспомнить, когда видела Мариночку за работой.

– Умная! – визжит Лея.

– Я верю-верю, не надрывайся.

– Я думала, ты меня плохо слышишь, вода шумит. Закрой уже кран, а то много натечет. Тебе для стирки хватит. Так вот только их сын оказался не первой свежести. Пришел, а у него лысина.

– Ты придираешься, женщинам за сорок выбирать не приходится.

– Что ты говоришь! Мариночке тридцать девять! А выглядит едва на тридцать два. Почему ты молчишь? Как там шторы? Грязь отошла? Так вот, говорю тебе: лысый. То есть не совсем, но скоро будет.

– Им надо срочно пожениться, а то действительно нехорошо, если наша Мариночка пойдет замуж за вконец облысевшего человека.

– Вот и я говорю! Хотя, тут надо проверить. Может, он алкоголик, или у него есть язва. Или дети. Ведь мы ничего о нем не знаем, а Мариночка пошла с ним встречаться! А я, старая дура, позволила!..

– Ну-ну, не накручивай себя, может, еще и обойдется. И он окажется приличным человеком... – говорю я, вступая в отчаянную борьбу с зеленым плюшем.

Плюш изворачивается, течет мимо рук, не хочет выжиматься. Брызги падают мне за ворот. На майке лопается грязная пена.

– Что ты там застряла? Заканчивай уже и пойдём гулять! Заодно посмотрим, как там Мариночка, они пошли в парк.

– Вот черт! – я все же одерживаю верх и выжимаю Леины шторы почти досуха. Пальцы болят от напряжения, в глазах на секунду темнеет. Сажусь на край ванны.

– Хорошо, я повешу их сушиться, а прицеплю в следующий раз. Соберайся, пойдём в парк. И надень шляпу на всякий случай, солнце еще есть.

– Конечно, куда же без шляпы! Только не говори никому, кто ты. Скажем, что ты моя племянница. Не хочу, чтобы меня жалели, и Мариночка против. А то ее грузин может подумать, будто она белоручка и ничего не может по дому. Это нехорошо.

– То есть ты можешь подумать, что у него там лысина, язва и дети, а он – нет? То есть ты хочешь врать?

Лея вопросительно смотрит на меня, делая вид, будто не понимает, о чем речь. Я сдаюсь.

– Ну, так и быть, совру, ради Мариночкиного будущего.

Лея тотчас успокаивается и идет искать шляпу.

Бедный, бедный грузин.

Шляпа у Леи с цветами и вуалью, похожей на москитную сетку. Лея чрезвычайно элегантна. Мы движемся медленно в сторону парка. Лея остро вцепляется мне в руку, боясь упасть. Я несу ее лаковую сумку с пледом, который мы расстелем на скамейке, чтобы сидеть, и русской газетой. До газеты дело никогда не доходит, Лея слишком любит говорить.

Она роется в своей голове, словно в старом сундуке, извлекая воспоминания. Встряхивает их, проверяет на свет. Многие из них никуда не годятся, это лишь неясные обрывки, которые некуда приложить. Другие, поцелее, перекраиваются, проветриваются и аккуратно ложатся обратно. С каждым разом ей все труднее отыскать что-то действительно стоящее. Поэтому Лея, как заведенный патефон, играет одну пластинку, меняя лишь хрипы. Когда она истощится, мы достанем нашу газету.

– Не мельтеши, иди ровнее, я не могу поспеть! Это променад, а не бег трусцой! – говорит Лея.

Ей тяжело в белых лаковых туфлях. Их маленькие каблочки вязнут между плитами тротуара. Цветы ее шляпы шелестят на ветру, вуаль облепляет лицо, придавая моей Лее сходство с египетской мумией.

Мы медленно бредем по дорожке. Лея висит у меня на руке и ступает шагком к шажку. Вуаль ее шляпы сбилась набок, белые каблочки в земле. Она о чем-то задумывается. Я тащу ее вперед, под деревья. У нас есть наше место с тенью, рассеянным светом и отличным обозрением. Лея, как и я, обожает таращиться на людей.

– Посмотри на эту корову! Какое посмешище! Где смотрит ее муж?! Или он слепой?! Или я не знаю, как можно дойти до такого состояния... Здравствуйте! Надо же, я вас не узнала! Прекрасно выглядите, просто прекрасно! Хорошеете на глазах! Вы теперь дома? Очаровательно! Немного пополнели, но вам удивительно к лицу! Да, вот решила выйти в люди... Это моя племянница. Нет, она дальняя, недавно приехала, долго объяснять... Ах, Мариночка – чудесно! Знаете, нынешняя молодежь долго выбирает. Рациональный подход... Толпы, толпы... Стыдно сказать, отбою нет... Да, я вас отлично понимаю... Очень жаль, что так торопитесь...

Толстуха проходит мимо, Лея долго смотрит ей вслед с напряжением в лице. Затем стягивает шляпу и вуаль, задумчиво шаря непослушными пальцами в цветах и застежке.

– Послушай, ты не знаешь, кто она такая? Никак не могу вспомнить.

– Соседка снизу. У них мопс.

– Ах, да! Эта наглая шелудивая псина, что капает слюной в лифте. Как можно держать в доме такое уродство! Хотя, каков поп... Смотри-ка, симпатичный солдатик! Совсем мальчишка! Мы называли таких «желторотый юнец», сейчас так уже, верно, не говорят... Автомат, небось, тяжелый. Положил, всю скамейку занял. А вдруг, кто захочет сесть? Все равно ему, видишь ли! Еще и ноги задирает! Никакой внутренней культуры! Никакой... вот, помню, раньше я как-то шла со своей теткой. Тетка-то молодая была... Надо же! Лет тридцать, а я думала, старуха... А мне – лет пять. Хорошенькая! Волосенки черные, кудряшки, глазенки-бусинки, бантик... Хотя, какой бантик? Нет, не было. Бантика не было, а война была.

– Давай-ка надень шляпу, холодно становится.

– Отстань ты!.. Шляпа! Точно! Шляпа у моей тетки. Идем по дороге. Пыльно. Конец лета. Дорога к лесу, а до этого почему-то полем шли. У меня ноги болят, но сказать тетке нельзя, она расстроится и будет плакать, а я испугаюсь. Иду и молчу себе. Так и шли. А впереди солдатик.

Красивый! Тетке он нравится, у него ранец и шапка на голове, хотя лето. Ужасно есть хочется. Как же все-таки хочется есть! Нестерпимо! Может, хоть сахарок пососать...

Я тогда говорю: «А товарищ Сталин велел всегда давать детям чего-нибудь сладкого!»

Солдатик, что впереди нас идет, вдруг оборачивается. Вдруг как бросится ко мне и давай меня обнимать.

«Повтори! – говорит. – Повтори, что ты сказала! Что товарищ Сталин говорит?»

И я вижу теперь, что он грязный и совсем даже некрасивый, и пахнет мочой... И сладкого я уже не хочу, а хочу, чтобы мы куда-то пришли. И легли там, и было так, чтобы идти никуда не надо. И еще я хочу сказать, что мне еще пока пять, а это слишком мало для войны. Я устала. Я хочу такую длинную жизнь, чтобы отдохнуть. Тогда лучше не давайте мне сладкого вовсе, только бы не идти! Но так не бывает...

– Давай почитаем! Пока солнце не ушло. Зря мы газету взяли, что ли? Ты еще не замерзла? А то пошли домой, может быть...

– Мы будем идти еще долго-долго. Я тогда закрою глаза и буду петь про себя, чтобы быстрее и не считать шаги. Потому что если считать шаги, получается медленнее. А потом мы пришли в детский дом. Моя тетка стала уборщицей, а я стала лысой Леной. Все дети белые или русые. А я черная, как галка. Тетка меня побрила налысо и рыдала. У нее пошла носом кровь. Я стала ее утешать: «Рива, не плачь, это волосы, они отрастут! Ну, не плачь, Ривонька!» Тетка тогда перестала плакать, рассердилась на меня и закричала: «Я не Рива, я Раиса, запомни! А ты – Лена! Если кто спросит, говори: «Лена»! Ты меня поняла?! Ты поняла, я спрашиваю?!»

Потом я всегда ей говорила: «Я – Лена», – чтобы она не расстраивалась. Это помогало.

У нее стали такие руки, которые жалко. Совсем облезли, и вылезли вены. И на них была кровь из ее носа и мои волосы. А ее волосы были седые.

Лена так Лена. Меня все равно не любили, потому что боялись. Особенно боялись ночью, когда я сплю. Я спала с открытыми глазами. На всякий случай, если придется бежать. Так случайно получалось, я вовсе не была виновата. А все думали, что нарочно. Будто бы я так за ними наблюдаю, а когда они уснут, я встану и поубиваю их всех... Какие-то глупые белокрысы дети.

Тетка сказала, мы обязательно побежим дальше. Я не хотела больше бежать, да и какой смысл? Наш сосед сверху, у которого был патефон, сказал, что земля круглая, и я поверила. Зачем бы ему врать? Тогда я подумала, что мы с теткой побежим, обежим землю и придем назад. Я сказала тетке: ну уж нет, я никуда не побегу, и земля круглая. А она говорила, будто есть на свете такое волшебство. Тот, кто обежал землю, придет назад, а там уже нет войны. А есть опять наша большая комната, и балкон, и мама, и сосед с патефоном, и у Ривы снова черные волосы.

Я поверила и ей. Я согласилась бежать. Но больше мы не бежали. Нас нашла тощая Катарина.

Я ни с кем не дружила, потому что дружить – это играть. А играть мне было скучно, хотя раньше я это любила. Теперь я любила сидеть в окне и думать о том, как мы с теткой побежим. Я решила экономить силы, ведь обежать весь мир очень тяжело. Надо много спать или сидеть, тогда их накопится достаточно. И нас никто не сможет догнать. Правда, наверное, придется нести тетку на спине, потому что она много

работает и экономить не может. Так я думала в своем окне, когда вбежала моя тетка. Она смеялась и плакала. Еще она сказала, что на улице, во дворе, моя мама.

Меня вывели во двор. Там толпились дети, они не играли. На земле сидела очень худая женщина. Кожа свисала с нее, точно гамак. У нее была лысая голова, как у меня, и красный провалившийся рот. Она протянула ко мне две палки и закричала. Что-то стукнуло меня по голове, и силы, которые я копила на побег, кончились. Я упала и умерла.

То была тощая Катарина.

Тетка велела мне звать ее мамой. Мне стало страшно. Это была такая очевидная неправда. Ведь я лысая, потому что тетка меня обрила. И все это знали. И ничего общего больше с тощей Катариной у меня не было.

Ночью я выбралась из постели и прокралась к тетке, в ее чулан. Я сказала, что мы должны бежать, и как можно быстрее. У меня есть силы оббежать весь мир и вернуться. Я понесу ее на спине, если понадобится. Мы сделаем это очень быстро, пока не проснулась тощая Катарина. Иначе она побежит за нами и будет протягивать свои руки, которые я приняла за две палки. Мы должны бежать только вдвоем. Тогда мы вернемся в наш дом, где моя настоящая мама, красивая и толстая. И я знаю, что зовут ее точно не Катарина. Хотя ее имени я почему-то не помню.

Она будет стоять под красной бахромой абажура. А посреди комнаты будет стол с голубыми чашками на нем. И дверца шкафа с зеркалом будет открыта, а штора зацеплена за форточку. И на улице уже не будет войны...

Тетка ударила меня по лицу так сильно, что мой рот тоже стал красным, как у тощей Катарины. И я поняла, что не будет ничего, кроме войны, страшной Катарины и моей тетки с седой головой. Я на всю жизнь буду лысой Леной в окне. И та комната со столом, абажуром, голубыми чашками и мамой провалится в моей памяти, как Катаринин рот. Мама... Где же ты?.. Мама! Мамочка! Мама! Ма-а-а...

Лея вцепляется в свое лицо и начинает рвать его. Остановить ее вовремя никогда не получается. Она становится очень сильной. Достаточно сильной, чтобы оббежать весь мир и вернуться.

ЛЕВ ГЕОРГИНЫЧ

Лев Георгиныч – личность весьма странная, об этом знают все, кроме него самого. Помимо этого, он единственный нормальный среди нас. Он восседает посреди коммунального коридора, как командор. Он пахнет тиной, водорослями и водкой.

– Шалом, господа жида! – каркает Лев Георгиныч и на выдохе втягивает голову в худые плечи.

Он ежедневно несет свою вахту на шатком стуле, который выносит из своей комнатухи каждое утро.

Лев Георгиныч садится так, чтобы обозревать всю нашу нехитрую коммунальную жизнь целиком. Он самолично провозгласил себя управдомом и теперь с завидной бдительностью бессменно тащит это нелегкое бремя. Спектр его обязанностей весьма широк. Он приглядывается к жильцам, следит за рациональным использованием общей душевой, тесного и унылого помещения в конце коридора, куда посторонним вход заказан. Принимает участие в кухонных перебранках, задавая им тон.

– Я так давно тут живу, деточка, что напрочь забыл иврит, – говорит он мне и мигает, точно попугай.

В комнате, что по соседству с душевой, живут две израильтянки, они совсем новенькие. Ко Льву Георгинычу относятся со смесью жалости и снисхождения. Жалости Лев Георгиныч не замечает, поскольку не понимает иврит, а снисхождение у них взаимное.

Обосновавшись в комнате, они выкрасили свою дверь в розовый цвет, нарисовали на ней белого единорога и повесили радужный флаг. Одним словом, поставили точки над «i».

Самовольные нововведения не укрылись от бдительного ока командора. Мы думали, будет скандал, но мы ошибались. Лев Георгиныч оценил розовую дверь и единорога как явление положительное. Что же касается флага, то он как-то остановил меня по пути в душевую.

– Деточка, – заговорщически прошептал он, – я к старости стал слеповат, плохо различаю цвета. Скажи мне, ради бога, какой страны флаг вон там, на двери.

В чертей, домовых и лесбиянок Лев Георгиныч не верит.

– Барбадос, – не моргнув глазом, соврала я.

– Красиво, – вынес окончательный вердикт командор.

Две страсти владеют Львом Георгинычем, алкоголизм и порывы. Своим страстям наш командор посвящает все свободное от трудовых вахт время.

Вечерами к нему приходит знакомый отставной капитан, чтобы сыграть партию в шахматы и выпить на сон грядущий. Капитан мал ростом, сух и сед, а еще он панически не выносит шума.

– Глуши мотор! Люди спят! – яростно шепчет он Льву Георгинычу, когда тот, подбодренный алкогольными парами, начинает трубить, подобно морской сирене.

– Я тут живу! Или нет? – возмущается командор, приглушая звук.

Они долго беседуют в свете настольной лампы.

– «Лейпциг»! «Кельн»! «Эмден»! – гудит командор.

– Осмуссар! – парирует капитан и ударяет по столу.

– Пятьдесят четыре эсминца, душу-мать! – рычит командор.

– Северный театр! Кронштадт! Ленинград! – выплевывает капитан и в очередной раз крепко бьет по столу.

Кончив ударять по столу, он пару раз ударяет по Льву Георгинычу. Лев Георгиныч делает ответный ход и пару раз крепко ударяет по капитану. Их поединок прерывает вопль из коридора.

– О-а-а-а!.. – кричит в коридоре Мири.

Она абсолютно голая. Мокрые волосы прилипли к плечам, крупные груди свисают книзу, под ней лужа.

– А-а-а-а! – стонет Мири, прикрывая срам мохнатой розовой мочалкой.

– В чем дело, в конце концов?! – трубит командор, он явно смущен.

Из-за его прямой спины удивленно выглядывает сухонькая фигура отставного капитана.

– Там! – стонет Мири. – Там!

Командор заглядывает в душевую. Из лампочки в душевой яростно хлещет дождевая вода. Свет очаянно мигает. Хилый провод отбрасывает искры. Из дыры в окне высовываются встревоженные голуби.

– Дела-а! – говорит Лев Георгиныч и скребёт лысый затылок нетвердой рукой.

Затем при помощи капитана он совершает таинственные манипуляции с электрощитком, после которых обесточивается вся квартира. В душевой перестает искрить.

Мири домывается при свечах с открытой дверью, ей страшно. От свечей на полу и стенах расплзаются тени. Я караулю ее, стоя в дверном проеме.

– Говори что-то! Я буду знать, что ты тут, – просит она, высовываясь из-за зеленой резиновой занавески.

– Я буду петь, – говорю я, – но по-русски.

Я пою «Стеньки Разина челны», потом «Не слышны в саду даже шорохи» и еще «Московские окна». Мири нравится мой репертуар, только почему про Россию всегда грустно...

А потом мы сидим без света.

Потом приходит с работы Толик, хронический алкоголик и интеллигент. Он работает осветителем в театре. Толик лохмат, небрит и изысканно вежлив.

– А не вlepить ли вам по морде, если мне будет позволено спросить? – интересуется он каждый раз, прежде чем ввязаться в драку.

Толик, в свою очередь, также производит манипуляции с нашим щитком, и свет загорается, освещая общий коридор, лужу от Мири на полу и фонарь у Толика под глазом.

– Откуда трофей? – интересуется Лев Георгиныч.

– Выходил утром взять свежую прессу, ваше высокородие, – огрызается Толик с гамлетовской отрешенностью в лице и уходит к себе.

Но не ложится.

– Алло! Полиция! Алло! Переведите меня! Есть там кто-то, кто говорит по-русски?! Это срочно! Я убил человека!..

Вовремя подоспевший Толик выхватывает телефон из трясущихся рук командора. На часах полвторого ночи.

– Боже мой! Боже мой, я – убийца! – шепчет белый, как простыня, командор, сползая по стене.

– Хватит придуриваться! – вопит Толик, теряя терпение. – Он ушел к себе домой! Я слышал, как хлопнула дверь!

– Я убил его! – стонет на полу командор.

– Где труп?! Где труп, в таком случае, а?! Человек в виде трупа домой не уходит! Что ты на это скажешь? Молчишь?! Старый хрыч, совсем спятил!

– Я бы вас попросил не оскорблять мою личность! Это нравственное насилие... – возмущается командор.

– Я сейчас твою личность так изнасилую, что мало не будет! – предупреждает Толик, потом довольно бесцеремонно тащит командора за шиворот в его комнату и запирает там.

Свет в коридоре гаснет окончательно.

Утром под нашими окнами проходит процессия. Игрет музыка, мужчины и женщины с цветными лицами и радостью на них танцуют и машут руками. Несут кого-то на троне, обернутого в пурпур и меха. Это ужасно веселая вакханалия. Трепещут от ветра радужные флаги. Лев Георгиныч на нетвердых ногах выходит на свой персональный балкон и машет в ответ. Приглядывается, простирает руки, точно Моисей.

– Жители Барбадоса! – зовет он. – Жители Барбадоса, приветствую вас на Святой Земле!

– Надо убрать это чучело с балкона! – говорит Толик. – Что он мелет?!

– Все нормально, – говорю я, – Он думает, это алия с Барбадоса.

– Какого хрена? – недоумевает Толик.

Вечером Лев Георгиныч рассказывает капитану о большой группе репатриантов с Малых Антильских островов. Я слышу, как капитан хохочет.

– Барбадос! – плачет капитан, сглатывая рыдания. – Барбадос!..

– Что такое? – возмущается командор. – Не веришь?! Да я видел их вот этими самыми глазами!

– Давай-ка выпьем, – предлагает капитан, утирая слезы, – Барбадос! Ну, даешь!

Фантастическое животное над моей кроватью плачет гуашью. В наружную стену хлещет ливень. Солнце затянулось бельмом, повернуло к зиме. Ливень с улицы проникает в комнату, катится вниз вместе с гуашью. Стена мокрая изнутри настолько, что приходится отодвигать кровать. Фантастическое животное, что я когда-то нарисовала, тонет.

Из соседней комнаты доносится бормотание Льва Георгиныча и капитана, звук наполняемых стаканов и треск стола.

Я ложусь на кровать и закрываю глаза.

– Конец тысяча девятьсот сорок первого... советская сторона... остров Осмуссар потерян. Балтийский флот заперт... между тем надводные суда... не предпринимают попыток прорваться на запад.

«Это радио», – понимаю я.

– Что-то душно. Надо открыть окно, – говорит командор.

Моё животное смотрит со стены укоряющим плачущим глазом.

– Полиция! Алло! Полиция! Есть кто-то, кто говорит по-русски?.. – доносится из коридора.

Я слышу, как выбегает Толик, чтобы принять привычные меры.

– Это срочно! – орет капитан. – Переведите меня!

Лев Георгиныч лежит на полу своей комнаты под окном, схватившись за занавеску. Глаза его устремлены в потолок. Он мертв.

ВАРЕНЬЕ ИЗ РОЗ

Даниэля запер Циалу дома и бежал. Убегая, он прихватил оба ключа. Когда пришла я, Циала плакала за дверью и извергала проклятья.

– Зараза! Зачем пошел?! Не думает, что ты придешь?! Ждать не может! Друзья у него там! Кофе там! Курить там! Компания!

Слово «компания» Циала умела произнести так, что оно превращалось в ругательство. Больше всего в своей жизни Циала ненавидела эту самую компанию.

Затем она перешла на грузинский. И, судя по всему, на своем языке она также не могла сказать о Даниэле ничего хорошего.

– Куда он пошел? – кричала я ей за дверь.

– Э-э-э! – расстраивалась Циала. – Зараза!

– Я пошла его искать. Я уйду, но вернусь с ключом! Ты меня понимаешь? – кричу я за дверь на иврите.

– Э-э-э! – утвердительно продолжает расстраиваться Циала. – Говори ему, он паразит! Циала сказала! Так и говори! Говори, пусть у него дома больше нет! Говори, что он там сидит! Компания пусть сидит! Пусть к Циала больше не идет!

Я выхожу на улицу. Спускаюсь вниз, к арабской кофейне. Солнце стоит нестерпимое. Солнце сжигает улицу, от каменных плит тротуара идет душный пар. Воздух гудит от жары и жажды. Впереди внизу неподвижно

сереет море. За лестницами оно пропадает, путаясь в кронах и крышах. Спускаюсь ниже. Визжит рынок, духота прижимается к лицу.

Компания сидит в арабской кофейне, сдвинув вместе два стола. Рядом, на табуретке, лежат резные нарды. Судя по всему, только что закончили партию. Все пьют кофе из маленьких чашек без ручек, курят и явно обсуждают игру. Даниэля сидит во главе сдвинутых столов в галстук и шляпе. Он кричит и машет руками, что-то доказывая, компания смеется.

Приближаюсь к ним. Компания тотчас замолкает. Все смотрят на меня. Компания, как и Даниэля, никак не может привыкнуть к моим внезапным появлениям.

Обычно я прихожу проверить Даниэлю по Циалиной просьбе.

– Иди, смотри, что он там, – посылает меня Циала и машет неопределенно рукой в сторону кофейни, – Я сижу пока тут. Можно быть, что он заблудился. Надо смотреть. Пусть Циала спокойна.

Вообще, я должна следить за Циалой, а Даниэлю я получила в нагрузку. Надо сказать, мои проверки его не особенно радуют. Чаще всего он, как и Циала, неопределенно машет рукой, но уже в сторону дома, и говорит: «Где Циала? Почему оставила? Иди к Циала, я не могу спокойно, когда ты тут! Циала может нехорошо!»

– Иди! Иди! – убежденно говорит Даниэля, давая понять, что я его бесконечно раздражаю.

Вернувшись, я пересказываю Циале все, что видела. Больше половины моих слов она не понимает, но сокрушенно качает головой.

– И-и-и! Сукин сын! Компания! – подводит она неутешительный итог всякий раз и на какое-то время успокаивается.

– Зачем пришла?! Еще проверка пришла?! – кричит на меня Даниэля. И я понимаю, что в его кофе сливовицы было больше, чем обычно.

– Ты взял оба ключа, – говорю я на иврите как можно спокойнее, – Циала не может открыть дверь, ты её запер. Два ключа у тебя! Понимаешь? Циала плачет. Смотри в карман!

– Что ты хочешь? – спрашивает удивленно Даниэля.

– Я хочу ключ, – говорю я на русском и показываю два пальца. – У тебя два!

– Она хочет твой ключ! – говорит Даниэле компания.

– Не можно быть! – говорит Даниэля и лезет в карман.

Так и есть, оба ключа у него. Даниэля смущен.

– Иди Циала, – говорит он, но уже очень тихо, и протягивает мне ключ. Я возвращаюсь назад и открываю дверь.

– Что там зараза? – спокойно спрашивает меня Циала.

– Привет тебе передает, – говорю я.

– Э-э-э... – тянет Циала задумчиво и смотрит в окно.

Сегодня у нас банный день. Я буду мыть Циалу в ванной. Пока греется вода, Циала готовит полотенца, халат и белье. Она открывает шифоньер в спальне и долго перекладывает с места на место аккуратные стопки, она выбирает.

– Эта халат был прошлый раз, сейчас не будем. Смотри этот! Красива! Даниэля дарил мне. Бери эта! С красный птица! Давай тот белый полотенце, что наверху. Я не могу брать, бери ты. Есть ящик вниз, там панталона. Смотри панталона!

Циала не может нагнуться, у нее постоянно болит спина, она может ходить и сидеть только прямо. Мы вытаскиваем чистую ночную сорочку, которую Циала всегда надевает под халат, и носки. Заодно Циала проверяет, на месте ли деньги, что лежат под бельем в углу.

– Зачем ты держишь их тут? – спрашиваю я. – Положи в банк и проверь карту. Это надежнее.

– Это для похороны, не для банк, – говорит Циала, банкам она не верит.

Вода согрелась, мы запираем входную дверь на ключ, отключаем телефон, чтобы нам не мешали.

Циала раздевается. Я помогаю ей влезть в ванну. Циала обожает купаться. Она сидит на табуретке в ванной, вся в пене от шампуня. Я тру ей спину щеткой. Пена летит в разные стороны, от кипятка подымается пар. Циала в восторге.

– Я открою окно, надо выпустить пар, я не вижу, куда я лью воду, – говорю я.

Весь пол залит водой, Циала забрала у меня душ и поливает себя сама, заодно она поливает меня, свои чистые вещи и стены.

– Только чуть! – возражает Циала. – Будет холод.

– Сейчас лето! – говорю я.

– Будет холод! – убеждает Циала.

Я отнимаю у нее душ, смываю пену и намыливаю опять, так надо делать три раза.

– Делай сильно! Есть еще грязь!

– На тебе будет дырка! – говорю я. – Это ненормально!

– Клади мыло на голова! Голова не мыли!

– Голова мыли! – говорю я. – Мыли голова три раза!

– Говорю, делай мыло на голова!

Приходится делать мыло на голова, иначе она не успокоится. Тут я слышу, как ворочается ключ в замке входной двери.

– Даниэля пришел! – говорю я.

– Как ты знаешь? – настораживается Циала.

– У него ключ, надо открыть ему дверь. Там защелка.

Я показываю защелку, чтоб она поняла, что сам он дверь не откроет.

– Сиди тут! – говорит Циала. – Пусть ждуть на лестница! Сукин сын! Циала мыться, Даниэля на лестница, так правильно!

Мы смываем мыло в последний раз. Циала расчесывает мокрые волосы под струей душа. Волосы у нее густые и белые от седины, они прямо спадают вниз вместе с пеной и водой. Циала медленно вычесывает из них воду. Я закрываю кран. Помогаю Циале вылезти, даю полотенце, Циала обматывает им голову и лицо.

– Хорошо! – восклицает она из полотенца. – Хороший новый полотенце! Пахнет чисто!

Я открываю настежь окно, и сразу становится светлее. На улице много звуков. Из оконца ванной виден парк, куда мы ходим гулять.

Прежде чем выйти из дома, Циала вынимает из угла шкафа мешочек со своими украшениями. На обеденном столе в салоне стоит огромная хрустальная ваза, полная конфет. Циала высыпает оттуда конфеты, кладет на дно вазы свои украшения и Даниэлины золотые зубы и аккуратно засыпает все это конфетами снова. Циала до суеверия боится воров. О том, что воры могут покуситься на конфеты, Циала не думает. Она радуется всякий раз своей смешной хитрости, когда мы, придя с прогулки, обнаруживаем ее тайник нетронутым.

Циала медленно идет по улице, опираясь на мою руку. Она похожа на маленького Мука, полы ее цветастого халата летят параллельно земле, мягкие восточные тапочки шуршат по асфальту тротуара.

Циала любит смотреть по сторонам и встречать знакомых. Она со всеми здороваётся за руку, долго и проникновенно задерживая чужую руку в своей.

Но знакомых мы встречаем редко, в основном нам навстречу попадают эфиопы в белых одеждах, похожие на молчаливых птиц. Эфиопов Циала не любит.

– А! Эфиопия! – восклицает она и раздраженно бросает руку вниз. – Слезла с пальма. Э-э-э... Обезьяна!

– Говори тише, они могут тебя слышать! – говорю я.

– Пусть слышат! Они сами знают, что они обезьяна. Разве нет? – искренне удивляется она.

В окно влетает ветер, сушит стены и пол. Запах шампуня и мыла становится нестерпимым. По карнизу окна ходит голубь, он смешно раздувает шею, топорща перья.

– Вай! – кричит Циала. – Гони эта глупый птица! Гони сейчас! Вай! Больной птица, я тут вижу!

Я прогоняю голубя и протираю Циалу полотенцем, как антиквариат. Это надо делать очень осторожно, у нее все болит. Циала не привыкла жаловаться, но всякий раз, когда я задеваю ее кожу полотенцем чуть сильнее, она морщится от боли. Мы посыпаем ее тальком и надеваем сорочку и халат с красной птицей.

Теперь можно впустить Даниэлю, который, должно быть, печально сидит на лестнице, сознавая свою вину.

– Пойди открой ему дверь, это некрасиво, – говорю я Циале.

– Это ничего, пусть думать там. Пусть думать про Циала, а не только компания! – отвечает она и все же идет открывать дверь.

Даниэля варит нам кофе. Острый запах гвоздики и пряностей течет из кухни. Маленький Даниэля снует от стола к плите, он боится упустить момент, когда кофе начнет всходить. Кофе у Даниэли всходит три раза. Ползет из джезвы коричневая пена, доходя ровно до края. Даниэля, точно рысь, стережет этот момент. Тогда он уверенно хватается деревянную ручку, поднимая джезву над огнем. Кофе отползает обратно. Джезва опускается на огонь снова. Даниэля сосредоточен на процессе, и ничто не может его отвлечь. Даже звонок засранца из Тель-Авива.

Засранец из Тель-Авива звонит два раза в неделю и всегда не вовремя.

– Даниэля! Даниэля! – кричит Циала. – Иди! Он звонит! Даниэля!

– Пусть звонит! – кричит Даниэля из кухни. – Пусть потом звонит еще!

– Он хочет говорить тебе! Иди! Даниэля! Из Тель-Авив звонит!

– Говори ты! А! Засранец!

В кухне что-то падает и катится по полу.

– Сейчас идет! – кричит Циала в трубку. Потом она переходит на грузинский.

Вообще, Циала и Даниэля никогда не говорят при мне на грузинском, даже между собой, считая это невежливым. Ведь так я не могу их понимать. Говорят они на русском или иврите. Прибегают к грузинскому они только в тех случаях, когда звонит засранец.

У Циалы и Даниэли пять сыновей, хотя Циала всю жизнь хотела девочку.

– Холера! – говорит Циала про Даниэлю. – Одни мальчишки умеет! Девочка не умеет! Э-э-э! Такой бы девочка была красивый! Длинный волос, глаза светлый! Темный глаз некрасиво. Э-э-э... Только мальчишки есть, девочка нет...

Над диваном у Циалы много фотографий сыновей и их жен, и детей сыновей, и жен детей. Сыновья разочаровали Циалу, в их семьях, как видно, тоже рождались одни мальчишки. Циалины надежды на внучку с каждым годом таяли, как дым.

Единственный, кто не успел еще разочаровать Циалу, засранец из Тель-Авива, он не был женат.

– А! – кричит Даниэля в трубку. – Засранец! Приезжать будешь? Мать видеть будешь? А? Сукин сын! Когда мать видел?.. Правильно! Когда умрем, приезжай! Нет, на похорон тебя не зовем! Всех зовем, тебя не зовем! Э-э-э...

Потом Даниэля кричит на засранца на грузинском. Кричит что-то очень обидное, потому что Циала хватается за щеки.

– Почему, Даниэля? Почему?! – ужасается Циала.

Но Даниэля уже бросил трубку.

– Тьфу! – с чувством говорит Даниэля и идет наливать нам кофе.

Мы втроем сидим на диване. К вечеру приходит прохлада. Тень загорживает окно. Кричат на дереве птицы. Запах моря доходит до нашей улицы. Мы пьем кофе, приготовленный Даниэлей. Кофе источает аромат корицы, он горький и сладкий.

– Смотри, Циала красивый! – говорит мне Даниэля и показывает на фотографию над диваном.

– Очень красивая! – говорю я.

– Вай! – говорит Циала и машет на нас рукой.

* * *

Я звоню в дверь. Открывает мне почему-то Даниэля. Он без пиджака и шляпы и, как я понимаю, уходить никуда не собирается.

– Что случилось? – спрашиваю я.

– Циала упал. Больно упал, все тело, – говорит мне Даниэля, вид у него испуганный.

Циала лежит на спине с закрытыми глазами на диване в салоне. Лицо у нее бледное, седые волосы лезут вниз по подушке, свисают с ручки дивана.

– Вчера упал. Так упал, весь синий стал. Вай! Нога я видел, совсем синий! – шепчет мне Даниэля. – Так лежит теперь. Вчера лежит, сегодня тоже лежит. Молчит. Доктор был. Лекарство есть. А!

В комнате пахнет лекарством и визитом врача.

– Ты ел? – спрашиваю я Даниэлю.

– А! – говорит Даниэля и идет курить на кухню.

Я открываю холодильник, там полно еды. Кастрюли и банки всех размеров и форм занимают пространство полностью.

– Невестки была. Вчера была, сегодня была, принесла, – говорит Даниэля.

У Даниэли четыре невестки и еще есть три жены внуков. Очевидно, все они решили закормить Даниэлю до смерти.

Звонит телефон.

– Иди, говори, меня нет, – говорит мне Даниэля.

– Алло! – говорю я. – Алло! Вас не слышно!

– Здравствуйте! Как вы поживаете? – говорит мне очень приятный голос на очень правильном русском.

– Здравствуйте! – говорю я, опешив, – Вы, наверное, ошиблись номером...

– Вы меня не знаете, но я догадываюсь, кто вы... – не сдается приятный голос.

– Мне все же кажется...

– О, не пугайтесь! Скажите, вы уже получили розы?

«Совсем спятил!» – думаю я про себя.

– Какие розы?! – спрашиваю.

– Розы для моей мамы, Циалы. Я ее сын из Тель-Авива.

«Засранец!» – догадываюсь я.

– Здравствуйте! – говорю я еще раз, на всякий случай.

– О, вы меня узнали! Чудесно! Так что же розы? Их привезли?

– Пока роз не было. Оставьте свой телефон, я вам позвоню, как привезут.

– Вы чрезвычайно любезны! Я позвоню Вам сам, но обещайте, что пойдете вы, отец не любит со мной говорить.

– Я обещаю, – говорю я, мне становится жаль его.

– Как мама?

– Плохо, – говорю я, – но я скажу ей, что Вы звонили.

– Я позвоню, – говорит он и вешает трубку.

Телефон тут же звонит снова.

– Даниэля! Даниэля! – кричит кто-то и что-то быстро говорит на грузинском.

– Даниэля не может подойти, Циала заболела! А я не понимаю грузинский, – говорю я на иврите.

– Что Даниэля? – спрашивают меня на иврите.

– С Даниэлей все нормально, Циала болеет.

– Даниэля дома?

– Даниэля дома.

– Почему не пришел играть?

«Компания!» – понимаю я.

– Циала болеет, Даниэля будет тут.

– Спасибо!

– Пожалуйста! – говорю я и вешаю трубку.

Телефон звонит снова.

– Слушаю! – говорю я и сажусь на стул.

– Привет! – говорят мне на иврите. – Хорошо, что ты там! Как мама?

Доктор был?

– Я только что пришла, твой отец говорит, доктор был.

– Что сказал?

– Дал лекарства и укол.

– Так, смотри, у них в ванной есть еще лекарства. Я был вчера, положил все в ванной. Я нашел еще доктора, завтра маму посмотрят. Этому я не очень верю. Пусть будет еще доктор.

– Хорошо, – говорю.

– Там надо еще лекарство, очень дорогое. Но я пока не достал. Думаю, завтра.

– Хорошо, – говорю.

– Послушай! Останься там еще час после, я тебе заплачу. Я родителям завтра деньги оставляю. Согласна?

– Я останусь без денег, не волнуйся.

– Почему? – волнуется голос.

– Так, – говорю я и вешаю трубку.

Телефон звонит опять.

– Алло! – говорю я.

– Я знать тебя! – говорит женский голос на иврите.
Я молчу.
– Алло! – говорит женский голос. – Ты там?
– Я тут, – говорю.
– Я жена их сын. Ты понимаешь?
– Я понимаю.
– Даниэля кушал? Есть там еда в холодильнике? Я принесу еще!
– Не надо, – говорю, – Холодильник полный. Все принесли.
– Кто принес?! – удивляется она.
– Такие, как ты, принесли.
– Кто они?! – кричит она.
– Извини, у меня плохой иврит. Я хотела сказать, много еды есть в холодильнике.
– А-а-а... – успокаивается она.
– Все нормально.
– Я завтра приду и проверю, – предупреждает она.
– Хорошо, – говорю я и вешаю трубку.
Звонят в дверь. Я поднимаюсь со стула и иду открывать.
– Кто это? – спрашиваю я за дверь.
– Это розы!
На пороге стоит человек в мятой кепке, надвинутой на глаза, из-под кепки торчит огромный нос. В руках у него мешок.
– Где розы? – говорю я.
– Вот! – говорит он и протягивает мне мешок.
Я беру мешок, он довольно тяжелый. Человек тут же убегает вниз по лестнице.
– Эй! – кричу я. – Эй! Стой! Что это за розы?
У меня за спиной стоит Даниэля.
– Кто это? Что он хотел?
– Принес вот! Звонил твой сын из Тель-Авива, говорил мне, что послал Циале розы. Но это мешок! Смотри сам!
– Роза? – спрашивает Даниэля. – Роза?!
– Розы, – говорю.
– Роза? – не верит мне Даниэля.
– Твой сын говорил, розы... – объясняю я медленно.
– Засранец?
– Засранец.
– Давай сюда! Давай быстро! – кричит Даниэля. – Засранец!
– Но это мешок... – пытаюсь все же объяснить я.
– Циала! Циала! – кричит Даниэля. – Засранец нашел тебе роза! Э-э-э! Сукин сын!
– Давай пошли кухня! – говорит мне Даниэля. – Бери таз и пошли кухня!
Я беру таз. В кухне Даниэля разрезает мешок ножом. Огромные красные розы падают в таз. Даниэля трясет мешок, этот прекрасный кровавый каскад струится, точно водопад. Все кругом пахнет розой, тяжелый красный запах сочится по кухне, как рана. Я смотрю во все глаза. Еще никогда в жизни я не видела столько роз!
– Да-а-а! – говорю я. – Да-а-а!
– Ты видишь?! – спрашивает меня Даниэля.
Все вокруг в розах, они не поместились в таз. Я ползаю по кухне и собираю их с пола. Это невероятно! Я слегка дурею от запаха.
– Но у них нет стеблей! – говорю я на русском.

– Что? – не понимает Даниэля.
– Почему у них нет палок снизу? – говорю я. – Где палки?!
– Зачем палка? – не понимает Даниэля. – Палка тут не нужно!
Даниэля берет дуршлаг и ставит его на стол.
– Делай тоже! – говорит он мне и начинает рвать розы руками.
– Что ты делаешь?! Даниэля! Что ты делаешь?! – кричу я, пытаюсь вырвать розы у него из рук.
– Надо делай так! – спокойно говорит Даниэля. – Делай тоже! Потом надо варить на газ.
– Ты хочешь сварить эти розы?! – кричу я, подозревая, что Даниэля сошел с ума.
Я рву розы. Прекрасные атласные лепестки летят в дуршлаг, как крылья мертвых бабочек. Я плачу в эти розы. Я готова рыдать. Я пахну розой, дуршлаг пахнет розой, стол пахнет розой, розой пахнет все вокруг. Это невыносимо!
Мы промываем их водой. Я опускаю туда руки. Красная вода струится между моих пальцев. Восхитительные, восхитительные лепестки! Несчастные, обреченные розы!
Мы сливаем воду и кладем мокрые лепестки в большую кастрюлю. Даниэля зажигает газ.
– Я ухожу! – предупреждаю я. – Я не могу это видеть!
– Иди! Иди к Циала! Ты тут больше не нужно, – говорит Даниэля.
Я иду к Циале. В комнате тоже густо пахнет розой. Я включаю свет. Циала лежит с открытыми глазами.
– Циала! Тебе уже лучше?!
– А?! – говорит Циала. – Я хочу сидеть!
Я помогаю ей сесть. Циала стонет.
– Уй! – говорит Циала. – Уй! Смотри мне бок! Там синий?
Я поднимаю ей рубашку, бок действительно синий и желтый, и где-то красный, там огромный синяк и гематома.
– Синий! – говорю я. – Совсем синий!
– Уй! – говорит Циала.
– Тебе лучше? – удивляюсь я.
– Что это пахнет? Вай! Как пахнет! – Циала принохивается.
В окно, привлеченная запахом, влетает пчела и падает замертво. Нет, это слишком прекрасно!
– Это розы! Твой сын послал тебе целый мешок! Но ты их не увидишь, Даниэля решил варить их на газ!
Запах роз становится умопомрачительным. Комната начинает шататься у меня перед глазами. Видимо, Даниэля уже всыпал сахар.
– Даниэля! – кричит Циала. – Даниэля! Даниэля!
Я беспокоюсь, как бы Даниэля не упал посреди кухни, нанюхавшись роз.
– Я посмотрю его, я посмотрю его и сейчас вернусь.
Даниэля стоит у окна, в руках у него ложка, его глаза подозрительно блестят. Кажется, он плакал.
– Даниэля! Циале стало лучше, она звала тебя.
– Ты слышишь? – говорит Даниэля. – Ты слышишь эта запах? Так пахнет Грузия.
– Даниэля! Даниэля! – кричат с улицы.
Мы выглядываем в окно. Внизу, под фонарем, стоит компания. Я подозреваю, ее тоже привлек запах Грузии. Циалины розы продолжают неистово благоухать в ночи.

– Даниэля! Что это пахнет? И что там Циала? – кричит Даниэле компания.

– Все нормально, – кричит им Даниэля.

Тут я слышу, как Циала зовет меня.

– Что случилось? Тебе хуже? – говорю я ей.

– Давай мне горшок! Быстро давай!

– Я могу проводить тебя в туалет.

– Горшок сюда! – визжит Циала. – Вон эта горшок!

– Зачем тебе герань?!

Циала очень возбуждена. Я все же даю ей горшок.

– А! – выдыхает Циала и бросает герань в окно.

– Ай! – кричит компания. – Даниэля! Сюда что-то упало!

Циала без сил валится на диван.

– Это герань! – удивляется компания.

Циала выздоравливает прямо на глазах. Звонит телефон.

– Алло! – говорю я. – Алло!

– Доброй ночи! Вы еще не ушли?

– Нет, я еще пока тут.

– Это замечательно! Я боялся Вас не застать...

– Знаете, вашей маме значительно лучше.

– Я так и знал!

– И такие прекрасные розы! Но мы их сварили, к сожалению. Зато я теперь знаю, как пахнет Грузия.

– Я обязательно пошлю розы и Вам!

– Не стоит затрудняться.

– И все же, думаю, вам это будет приятно. Вы уже ели варенье? Туда непременно надо добавить слез. Только так оно будет настоящим, и, попробовав его, вы будете знать о Грузии абсолютно все.

– Поверьте, – говорю я, – слез там будет предостаточно...

Мы втроем сидим на диване и пьем чай. Черный чай обжигает губы, черная ночь зияет в окне. Мы едим варенье из роз, в нем слезы, мои и Даниэлины. Варенье капает с языка, оно невыносимо сладкое и чуть горчит. Горчит ровно столько, сколько нужно, ни больше ни меньше. Нам очень жарко от этой ночи, наши лица мокры и блестят. От сладости мы ужасно хотим пить, поэтому пьем много чая и опять заедаем его вареньем. И потом опять пьем. Это очень смешно, но почему-то хочется плакать.

Так всегда бывает, когда ешь варенье из роз.

ПОЭЗИЯ

Светлана МООР

С днем рождения, Высоцкий!

*(После просмотра фильма
«Спасибо, Высоцкий, что живой!»)*

Цветок в пустыне расцветает,
Благодаря и вопреки...
Никто не ведает, не знает,
Что будет завтра? Нелегки
Задачи будущего мира:
Как сохранить тепло и свет,
Чтоб не угасла все лира,
Творить свободно мог поэт.

Правда и истина

Мы так самозабвенно лжем, Что сами верим – это правда! А истина при всем при том Откроется нам только завтра. А правда не для всех одна. Она то есть, а то пропала. Она порой и не видна, Ей нет конца и нет начала.	А истина на всех – одна: Прекрасна и, конечно, вечна! И как любовь, всегда – верна. И, безусловно, человечна. Мы так самозабвенно лжем, Что с этой правдой умираем, А к истине всю жизнь идем. Порой ее не принимая.
---	---

Заплутавшая весна

Весна заблудилась,
Весна опоздала.
На что я польстилась?
Себя обвиняла...
На серые ветки,
На сумрак и слякоть.
Пусть скажут: «С приветом!».
Пусть скажут: «Растяпа!».
По лужам бредем,
Под дождем все промокли,
Беседу ведем
В настоящем о прошлом:
О том и о сем,
О студентах,
О счастье,
О Стеньке с Емелей.
А с неба – ненастье.
Мне Жирновский парк
Демонстрирует Ольга,
А завтра уеду...
Одна и надолго...

Лето

Солнце в угаре, лето в разгаре – Как на кофейной гуще гаданья.
Время гуляний и отпусков, Взять, на лужайке зеленой прилечь.
Люди при шляпах, люди в загаре, И помечтать о шуршащем прибое,
В пестрых одеждах радужных снов. И о солёной лечебной воде,
Жаркое лето – пора ожиданий, Об островах – целовались с тобою...
Время надежд, неожиданных встреч, Знойное лето со мною везде.

* * *

Приземлилась грустинка случайно,
Чтобы сердце твое растревожить.
Так задумано все изначально:
Воссоздать, а затем – уничтожить.

Поэтический эффект свободного времени, или Командировочные вирши

Цветы живые на столе:
Желтится роскошью мимоза –
Пьянящий аромат полей –
И робкие росточки розы...

Рим

Расставания, встречи: в порядке По российским традициям верным
Череда удивительных дней. Воскрешаюсь любовью, кляня
В одиночестве плачу украдкой, Древних стен немоту, грязь, удушье.
Становлюсь бессердечней и злей. Устремляюсь всем сердцем в Тюмень
Город Рим не совсем вдохновенный, И бреду среди лиц равнодушных,
Очень древний, но не для меня. А за мною любимого тень.

Рубиновый февраль

Неужели весна? Это солнышко томное.
Вводит нас в заблуждение вьюжный февраль.
А тепло наплывает приливами сонными.
Отчего ж нет улыбок и всюду печаль?
Это, правда, весна! В ожидании дождичка:
Не обманешь меня – плачет грустный февраль.
Не люби, не корми меня нежностью с ложечки.
Нам с тобою все можно – простая мораль.
Это точно весна! Улыбнись, мой любимый!
Меня вновь будоражит предвестник-февраль.
Все прошло, пролетело, как жаль (что-то мимо)...
А улыбка твоя, как награда – медаль!
Сорок лет, как один, может, сорок четыре...
Не грусти, не горюй, мы вернулись в февраль:
Наши дети на связи, мы снова в эфире.
И с улыбкою нежной уходит печаль.

Имитология

Коммуникации, деформации –
Иллюстрации профанации.
Зашифрованы инфоцифрами.
До краев наполнены мифами.
У гламура поклонницы – дуры:
Предписания, процедуры...
Глянцы светят пестрой рекламой,
Окна – пластик – белыми рамами.
Замурованы в пиар-образы,
Микс и микшер – сброшено, собрано...
Ну, а профи растут в компетенциях –
Из агрессии в интервенцию...
Пофигисты: спортсмены, политики,
Шоумены и аналитики –
Имагологи – все в имитации.
Расцветает одна профанация.

* * *

Ты позвонил, о чем спросил? (Родной, тревожный, теплый голос). Неважно. Ангел возвратил На сорок лет назад. Мой волос Стал серебристым, не моим. Ну, словом, я совсем седею.	И все мое стало чужим – Я потихоньку увядаю. Так отчего же я грущу? Ты мной любим, и я любима. Лишь об одном тебя прошу: Ты не пройди случайно мимо.
---	---

* * *

Моя рука в руке твоей,
А это что-нибудь, да значит.
И я – ничья...
И ты – ничей...
А разве быть могло иначе?

* * *

Случайных в жизни нет событий,
Судьба по замкнутой – кольцо.
Не сделав никаких открытий,
Встречаю новое лицо.

* * *

Философия жизни – загадка:
Как достойно пройти, не спеша?
А в саду разноцветная грядка
Утверждает, что жизнь хороша!

ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ

Евгения ЗОНТИКОВА

Первый скелет

Я первый свой букет держала в тайне,
Скрывала от чужих пытливых глаз.
Торжественно, как взрослой на свидании,
Цветы мне подарили! В первый раз!

Улыбчивый и щуплый шестиклассник
С тяжелым разноцветным рюкзаком
Так неожиданно устроил праздник
Разбойнице со спущенным чулком!

Куда теперь букет? На столик, в вазу?
Да ни за что! Начнутся от семьи
О «женихах» вопросы. Может, сразу
И в загс пойти с детсадовской скамьи?!

Подальше от насмешек старших братьев,
От маминых всезнающих «ну-ну»,
В шкафу, в тени пальто и старых платьев
Я сделала убежище ему.

Он вял и засыхал, как банный веник,
Темнел, как промокашка от чернил.
Но гордо нёс свой крест мой первый пленник:
Он чистоту влюблённости хранил.

Ветер

Я знаю ветер. Он щекочет спину
Моим же локоном, когда мы с ним одни.
Он от меня оставил половину:
Унес с собою прожитые дни.

Шутя унёс всё то, что было прежде,
Что было нелегко забыть самой.
Расчистил в сердце место для надежды
Найти свой путь, и верный, и прямой.

Он треплет чёлку и целует щёки,
И шепчет: «Правда – в листьях на ветру».
Я новые пишу сегодня строки,
Но знаю, что однажды их сотру.

Бальник

Мой парень – бальник. Чувствую себя
Немного неуклюжей и неловкой:
Спина дугой, а ноги – как морковки.
Стою, смущенно юбку теребя...

А скоро все увидят – о, позор! –
Как кружимся мы в первом нашем танце,
Как от волнения я пойду румянцем...
На белом платье кружевной узор.

На пиджаке сиреневый цветок.
Он безупречен. Я – почти что тоже.
И музыка мурашками по коже.
И по паркету – шорох наших ног...

И мне уже не страшно! Я лечу
За ним, таким уверенно-спокойным.
На миг поверив, что его достойна,
Я прижимаюсь к тёплому плечу.

Ты приедешь в Тюмень?

Ты приедешь в Тюмень? В этот город скамеек,
Фонарей и брусчатки, в наш сад тополей,
В разноцветную клетку домов-канареек,
Что стоит среди леса, болот и полей.

Приезжай по весне, когда яблони сыплют
На её тротуары свои лепестки.
Когда талую воду обочины выпьют,
И из чёрных газонов пробьются ростки.

Я её покажу в профиль, в фас, из окошка,
С колеса обозрения, из-за кулис,
Когда ветер и дождь, когда мучают мошки,
Когда солнце садится – и снова, на бис.

Приезжай погулять по бульварным дорожкам,
Поглядеть на неспешную реку с моста,
Удивиться, что в центре есть памятник кошкам,
Что Тюмень откровенна, тепла и проста.

Так проста, как моё ожидание встречи,
Так тепла, как объятия старых друзей,
Откровеннее не заготовленной речи.
Я к себе тебя жду! ...А не в парк и музей.

* * *

Нагляжусь на тебя до слёз –
И до следующей нашей встречи
Буду ночью под шум колёс
Для тебя репетировать речи.

В новых смыслах твоих тону,
Погружаюсь без кислорода.
Проверяю твою глубину.
Постигаю твою природу.

Накупаюсь в твоих словах
И запомню их все, до точки.
А ключей наломаю... Ах!
Открывая твои замочки.

Надышусь всей грудью тобой,
Чтобы звёзды в глазах кружились.
Чтобы сны мои сами собой
На ладони твои ложились.

Зурбаган

В Зурбагане не было меня.
Вот бы мне увидеть этот город,
Чтобы утолить душевный голод
Тихой песней в бухте у огня!

Уличных прикармливать котов,
Слушать шум прибоя, чаек крики,
Ночью наблюдать, как пляшут блики
В гавани скучающих судов.

Улицы извилисты, круты,
Розовые крыши, ветер с моря,
Лодочки о погоде спорят,
Мачты молча смотрят с высоты,

Продаёт старушка свежий мёд
Морякам, улыбчивым, как дети.
Под водою ждут улова сети,
И в саду тенистом кто-то ждёт.

Встречи ждёт, дыханье затаив,
И спугнуть боится этот вечер,
Где знакомый и такой беспечный
Тихой песни слышится мотив.

ПРОЗА

Георгий БАБКИН

ДЕВОЧКА ИЗ НЕИЗВЕСТНОЙ ГАЛАКТИКИ

За широкими окнами автобуса мела поземка, то раздевая, то погружая в серый полумрак окрестные поля и холмы, поросшие лесом. «Икарус», мягко и грузно покачиваясь, бежал по пустынному заснеженному шоссе, устремляясь к серому горизонту, за которым где-то уже не遠далеке лежал его, Николая Львовича, родной город. Здесь жили и уходили в иной мир его родители, школьные друзья. Здесь оставалась его неудовлетворенная, предавшая его любовь такой пронзительной силы, что ему часто казалось, будто тот далекий фрагмент его жизни и общения с девочкой из неизвестной галактики был главным и решающим. А все остальное – бессмысленность и жалкое существование. Эта мысль часто портила ему жизнь, упорно появляясь даже в дни его успехов, которых было немало. Урок утраченного счастья не угасал со временем.

«Сколько же ты здесь, на родине, не был?» – подумал Николай Львович. И его снова охватило чувство досады, переходящее в острое недовольство своим существованием, которое становилось частым и затяжным в последнее время.

Свою хандру и снижение тонуса он не анализировал, полагая, что это возрастное и неизбежное. Старость наступала стремительно, уже зримо углублялись морщины на недавно гладеньком лице. И уже не хотелось что-то увидеть, куда-то съездить, с кем-то познакомиться. Недавние годы перестройки вызывали значительно больше вопросов, проблем и расстройств, чем ответов, решений и внутреннего спокойствия. Бывшая министерская рассудительность и невозмутимость уходила в прошлое. «В остатке сплошные минусы», – говаривал он себе по вечерам.

Ночной разговор в купе экспресса окончательно выбил его из рутинного стандарта и рутинной колеи существования министерского чиновника выше среднего разряда. Бессонная ночь обернулась незатихающей головной болью, когда казалось, что мозг сжат стальным каленым обручем, ярмом, и это нарушает логику мышления и вызывает состояние тревожного ожидания.

Спутник появился в Горьком – Нижнем Новгороде в начале ночи. Это был крупный мужчина явно за пятьдесят, добротнo одетый в спортивном стиле для работы на морозе. Унты и пышная меховая шапка, да небольшой кейс. Он пробурчал извинение за вторжение и, сняв куртку и шапку, прямо в унтах завалился на свое место, тяжело выдохнув грубое ругательство.

– Прощу прощения... – сказал он, словно спохватившись. – Зла не хватает и нормативной лексики.

Николай Львович, которому ехать оставалось около трех часов, собирался выключить свет и подремать. Вошедшего он знал. Это был руководитель крупной северной стройки. Знал, но не был знаком. Знал по резким репликам и выступлениям на совместных заседаниях министерств.

Когда поезд тронулся, вошедший сказал, доставая из кейса поношенные шлепанцы и плоскую бутылочку коньяка:

– Проводник меня проинформировал о вашем статусе, имени и отчестве, поэтому я представляюсь.

– Нет необходимости. – отозвался Николай Львович. – Существует определенная стайка людей, которые узнаваемы.

– Приятно оказаться в такой компании.

– Ну, это как сказать.

– В ваших словах я не уловил раздражения. Это означает, что данной общности или стайке вы не враждебны.

– Узнавание – это не показатель симпатии.

– Ну и что? Судя по ситуации, мы с вами в одной стайке, хотя министры у нас разные. Поэтому давайте жить дружно. Тем более что у меня есть отличный коньяк. И еще, тем более что сегодня пьют не столь за успехи, которые отсутствуют, сколь за развалы. Не желаете? За утрату наших миллионных богатств, украшенных подарочной ленточкой и отправленных за океан.

Вошедший замолк, ожидая реакции, которой не последовала, и он продолжал:

– Знают ли верха, что творится на земле российской в низах?

– Вы не по адресу, если решили, что я «верха». Я чиновник, а они – под «чином».

– Не надо приbedняться. Николай Львович. Чиновничья братия, это кровеносная система империи... Разумеется, очень важен мозг этой империи, которого у нас постоянно не хватает. Необходимо и сердце. Оно кое-как бьется. Мы с вами ближе к сердцу, чем к мозгам, хотя обязаны снабжать мозг добротной, чистой кровью. А ее откачивают, воруют, заражают, используя нашу глупость. И откачивают-то экстракровь.

Он тяжело вздохнул, налил в миниатюрные колпачки-рюмочки коньяк и протянул одну из них Николаю Львовичу.

– Не желательно. Через пару часов выходить.

– Бросьте, Николай Львович. Вас встретят и повезут, как драгоценность. Столичный гость должен излучать нечто особое. Эта микродоза улучшит ваше настроение и создаст вам ощутимую ауру. Только и всего. Проверено практикой...

Они выпили, отметив отменное качество французской классики.

– Так вот, крик с низов, тем не менее. Крик души, если хотите, – продолжил полковник. – У меня – пятьдесят тысяч народу. А здесь, в Горьком, делали чудо-прибор. Его использование создает миллиарды. Подчеркиваю, миллиарды в любой валюте. И эти золотые россыпи и мои пятьдесят тысяч, и Россия в целом, потеряли. Разве нормативом здесь обойдешься? Крест-их-на-крест... – Полковник откашлялся. – Прибор требует пристмотра, настройки. Делали это здешние ребята. И вдруг – нет ребят, нет прибора. Получили взамен бумагу: «Цех закрыт ввиду нерентабельности». Это миллиард нерентабелен! Приехал в столицу драться за миллиард. Поговорил с новым премьером. Мы с ним однокашники. Дал мне тридцать секунд. На информацию снизу у него нет времени. Издерганный, глаза красные. «Знаю, – говорит. – Но там развалилось все». – Втискиваю подначку: «Развалилось или развалили?» – «Не задавай глупых вопросов, – говорит. – Тащи цех к себе, может, спасешь. Может, получится лучше, а не как всегда». Изыскали деньги. Вчера приехал сюда. А тащить-то некого. Мозги утекли за океан. Их там давно приметили. Половинки мозгов везут туристов. Как же все это называется? А?.. Покопаемся в истории... В добрые старые времена это называлось вредительством.

Нависла пауза. Подобное Николаю Львовичу было не в новинку, и обсуждение казалось ему бессмысленным.

– Зачем вы все это рассказываете?

– Надо же выпустить пар от глупости и нелепицы нынешнего бытия. Но я не жалею. Назовем это размышлениями на злобу дня, – усмехнулся полковник. – Вижу, не берет за душу бывшего старшего лейтенанта экономиста. Что же, подойдем к проблеме с другой стороны. Со стороны морали, офицерской чести, если хотите. Не бойтесь, Николай Львович, речь пойдет по поводу моей чести. А вы разбирайтесь сами. Я запятнан нарушением воинской присяги. И не говорить об этом – не могу.

– Говорить-то можно, но есть ли желание и смысл, – усмехнулся Николай Львович.

– А у вас его нет? Отсутствие желания... – пробормотал собеседник, стягивая унты. – Это что же, сохранение нервной системы, личного спокойствия? В которые мы прячем свою совесть, а часто и трусость, и кое-что другое в нужный момент...

– Зачем же так резко?

– А иначе – нельзя. Надо честно и громко высморкаться, а не размазывать по морде слезы и сопли, рискуя захлебнуться...

Скажите, где были мы с вами, и я персонально, когда бездумно и безумно взрывали Великое Государство? Созданное нашими славными царями и комиссарами... По крупитцам... С невероятными усилиями и жертвами на протяжении веков! Почему не стали стеной и не сказали: «Руки прочь от Советского Союза!»

Фразы были вписаны в резкую, отрывистую речь, на грани отчаяния и физической боли.

– Самое постыдное в том, что нас никто не принуждал, не ставил на колени, ибо не было в мире силы, способной нас заставить прогнуться на миллиметр, разрушить что-либо нами созданное... Скажем, Варшавский договор, который не поддавался разрушению извне, снаружи. Мы разрушили Союз и его идеалы сами, вопреки воле народов Союза, своими руками... Вот этими. – Полковник вытянул руки. – Теми самыми, которыми недавно спасали мир от фашизма, выполняя святую присягу защищать и оберегать Советский Союз... Где наша офицерская честь, которой всегда славилась Русь? А мы... сидели в своих норках, наблюдатели несчастные, и по-туземному кричали: «Деньги решают все»... Да, иной раз мы возмущались, критиковали. И только. А ведь надо было действовать... Борьтесь против русского идиотизма. Попробуйте обнаружить в истории приличного императора, который бы раскалывал свою империю на независимые куски подобно Лиру и заслужил бы уважение своего народа? Из осколков величие не создашь. Потому как величие империи, в том числе, и в величине имперских земель. Задрипанное британское княжество стало Великобританией только после колониальных войн. Захажали много, вот и стали великой. Взгляните на нынешнюю карту России. На что она похожа без огромного среднеазиатского подбрюшья? Без Белоруссии и Украины. Без Кавказа и Крыма. Огрызок. Огрызок империи. К тому же мы бросили наших братьев в Восточной Европе, Фиделя! Ради каких благ и успехов? На какой юридической основе? На танковой? Безумцы и глупцы. Не подумали, что станет с маленькими республиками и миллионами людей, их населяющими. Там нет армии и односторонняя экономика. Воевать ведь начнут за аршин пограничья кланами, раз армии нет... Не хочу быть пророком, но больших бед не избежать. Глупость всегда несет беды народные. Грядут войны. Нет, не мировая война. Междоусобица. Таков результат крушения империй... Какой позор для нас, коммунистов!!! И это на фоне Великой Победы. Что усыпило нашу бдительность, нашу совесть?.. Ведь не страх же за свою шкуру... Разумеется, надо было кое-что менять в стране, производственники это понимали. Опыт, по

сравнению с американскими акулами в экономике, у нас мизерный. Но не ломать же через колено нашу советскую модель и мораль в угоду западу... Не сносить памятники и названия городов, не марать грязными руками нашу историю... Не делить – не-де-ли-мо-е!... Не резать по живому... У меня половина приехала из республик... И они в тревоге и панике. Где и как жить? Почему мы оказались за границами?... И еще тысяча вопросов, на которые никто не в состоянии ответить... Но только обещать богатое, почти коммунистическое будущее, на основе тотального, частного бизнеса... И колбасы тогда будет навалом и почти бесплатно. Экономисты хреновы.

Полковник порылся в своем кейсе и достал таблетки:

– Успокаивающие. Без них невозможно. – Он протянул упаковку Николаю Львовичу.

– Бесполезно. Вы уже обеспечили мне бессонную ночь и головную боль на неделю вперед. Но вы сгущаете краски, я полагаю.

– Ничуть. Я пишу почти идиллию. Из министерских окон, наверное, не все видно. И это еще не все, дорогой Николай Львович. Уж дайте мне возможность выговориться. Трагедия нашего современного общества, если оно еще существует, заключается в отсутствии вождя. Иосиф Виссарионович виноват не в политических репрессиях. Беззаконие творил не он, а полуграмотный народ, который судил и карал не по закону, а по пролетарской совести и генетической ненависти к богатеям. Сталин виноват в том, что не оставил нашему народу светлую голову, народного любимца, вождя. А ведь мог бы! Не руководителя, который руками водит, а мозговодителя. Человека исключительных способностей, честности, ума и предвидения. По крайней мере, на пару столетий вперед. Есть же у нас такие! Согласитесь, историю делают вожди. Они создают эпохи. Без них история превратится в амбарную книгу. Вычеркните из истории Цезаря, Наполеона, Бисмарка, нашего Петра Великого и еще с десяток имен. И что останется от всемирной истории? Сельский недоучек или уральский выпивоха. Не те, за кем можно идти. Бездарные самоучки, млеющие от прогулки по Пикадилли... Коты, обласканные Западом. Туземцы с острова Пасхи были умнее... Был бы жив Жуков, Василевский или Рокоссовский, в ГКЧП картина была бы иной. Нужен был приказ весомой в народе личности. И пошли бы мы, как в последний, решительный бой!..

Полковник запил таблетку и продолжал уже не столь эмоционально:

– Есть у меня знакомый егерь. Молодой парень лет наших внуков или младших сыновей. Такой весельчак. А тут появился – хмурый. Спрашиваю парня, что случилось? Вздыхает мой Вася и говорит:

– Понимаешь, копил деньги на сапоги... Эти до дыр изношены.

– Ну и что? Пойдешь на склад. Подберешь.

– Ты меня не понял. Я вот размышляю: может, не сапоги надо покупать, а автомат. ГКЧП помощь потребуется. Как рассудишь? – Вот такой наш славный народ! А мы? Закаленные в боях офицеры? Стыдно мне было до предела.

– Вас еще не отправили на пенсию или на перевоспитание за такое понимание текущего момента? – спросил Николай Львович с грустной усмешкой.

– Меня не выгоняют потому, что моя контора зарабатывает валюту. Не выгоняют, но пакости уже делают. Вроде этой, с прибором. Да я и сам думаю, что пора уходить. Почетнее самому уйти, чем ждать пинка под зад.

Он замолчал, словно собираясь к взрыву, который наступил в виде крика:

– Но ведь разворуют, разграбят Великую Страну окончательно! Распродадут и землю, и народ... Вы вот тоже сидите в руководящем кресле. Вы ни

разу мне не возразили. Следовательно, вы со мной согласны. Иначе спорили бы до покраснения, посинения и хрипения. Наше с вами пионерско-комсомольское воспитание выдержало войну. Что, снова «если не мы – то кто же»? Думаю, не деньги держат вас на министерской привязи. У вас приличные пенсии. Что же вас заставляет ходить на работу и выполнять часто неразумные решения? Привычка? Долг и ответственность? Попробуйте в этом разобраться. Думаю, итог будет таким же, как и у меня. Уж если не остановить развал, то хотя бы затормозить.

Он наполнил рюмочки:

– По последней... на этом этапе. – добавил он – У нас с вами полчаса общения.

Николай Львович потер лоб, пытаясь избавиться от пульсирующей боли и мучительной, глубоко запрятанной мысли о личном нарушении военной присяги и торжественных клятв верности государству. Стальной обруч продолжал сжиматься. Николай Львович помолчал и сказал:

– Вы нарисовали такую картину, что впору заказывать гроб... За это я не пью.

Мерно покачивался вагон мчащегося в холодной вьюжной ночи поезда.

* * *

Взлетев на высокий увал, автобус подтормозил и резко свернул с шоссе на узкий просёлок. Дорога здесь была хуже, её перемело, но не прошло и нескольких минут, как «Икарус» подкатил к одинокому домику, сделал крутой разворот и затормозил.

– Приехали! – Шофер, одетый в модный костюм, взглянул на часы. – Точно по графику.

Домишко оказался автовокзалом, и вокруг простиралось чистое поле.

– Как до города добраться?

– А так, на своих двоих, – сердито отозвался пожилой мужчина. – Типичное российское головоуятие: автобусная станция за городом, посреди поля. Как будто нельзя было её построить если не в центре, так хотя бы на въезде. А вам куда?

Ответить на этот вопрос было трудно. Никакого плана Николай Львович не имел. Было страстное желание увидеть дом, где родился, поклониться родным местам.

И растянулась цепочка людей на серой холодной дороге, под колючим февральским ветром.

Николай Львович шел последним. Торопиться ему было некуда. Он рассчитал, что обратно поедет поездом, а до вечерней электрички времени много. Им владело какое-то странное, ранее не испытанное щемящее чувство печали и любопытства, усугубляемое и серой вьюжной погодой, и тем обстоятельством, что он абсолютно не мог сориентироваться. Надо же! Приехать в родной город и не представлять себе, куда он сейчас выйдет! Правда, в его времена не было ни шоссе, ни, естественно, автостанции. Да, многого не было в его времена... Но ведь очень многое и было. Молодость, родители, первая любовь, верные друзья... Разве этого мало? Впрочем, это было невероятно давно. До войны...

В этот момент на какое-то мгновение прекратилась снежная круговерть, и впереди проступили очертания города. Стандартные пятиэтажки, темные пятна старых построек, одинокая дымящая труба... Никаких ориентиров.

Николай Львович еще раз оглядел панораму города, наконец-то зацепился взглядом за купол старой церкви, с трудом просматривающийся над

одной из пятиэтажек, и сразу всё встало на свои места. «И снова – кладбище». – подумал он.

...Кладбище, которое когда-то было на самой окраине, сейчас оказалось в жилом массиве. И раньше здесь росли самые высокие в городе дубы и тополя, словно впитывая остатки жизненной силы погребенных. Сейчас огромные голые стволы и ветви, переплетаясь над головой, создавали скорбный полумрак и некую отрешенность от внешнего мира. Кладбище лежало под толстым слоем снега, и только редкие тропинки разбегались от центральной аллеи, превратившейся в подобие улицы. Здесь, по всей вероятности, уже давно не хоронили, и на всем лежала печать запустения и заброшенности. Покосившиеся полусгнившие кресты, поржавевшие железные памятники и оградки, редкие, ушедшие в землю дореволюционные каменные надгробия и облупленная, с проржавевшим куполом кладбищенская церковь. Та самая, которая стала Николаю Львовичу ориентиром. И его снова охватило чувство досады и тревоги: «Как же так? Это же наша память! Мы не можем найти сил, времени, средств, чтобы привести всё это в божеский вид?» Но в сорок пятом было не так.

...Да, в августе сорок пятого было не так. Долговязый старший лейтенант с рукой на перевязи, худой и измотанный многомесячными скитаниями по госпиталям, в б/у х/б гимнастерке, мешковатых галифе и сапогах на два размера больше. Тощий вещмешок в здоровой руке. С вокзала – на кладбище. К родным могилам. Сидел, стоял возле них неизвестно сколько. Истошно кричали в высоченных кронах галки, изредка появлялись тихие старушки и, внимательно испуганно понаблюдав за ним, – исчезали. Три могилы рядом неподалёку от церкви. Крест и две металлические пирамидки. Покрашенные и ухоженные. Дед, бабушка, мать... Она умерла в марте. Не дождалась своего единственного сына. А неделю спустя под Инстербургом получил свою порцию свинца и комроты Логинов. Горькая весть о матери нагнала его в госпитале под Муромом. Пожилая госпитальная нянюшка прочитала ему скорбное письмо соседки и после небольшой паузы сказала:

– Ранило-то тебя потому, что материны молитвы кончились...

Да, в сорок пятом здесь было не так. Чувствовались добрый присмотр и порядок.

Тогда в город он не пошел. Зачем? В их доме уже живут чужие люди. Смотреть на это не хватило ни сил, ни мужества. Понимал: если увидит свой дом над береговой кручей – разрыдается. Один во всем мире, объятый тревогой и не знающий, за что браться, как жить... Девочка из неизвестной галактики предала его, выйдя замуж. Об этом написала ему одноклассница. Короткая записка была в конверте письма от мамы. Мама, видимо, не решилась на такое сообщение. Среди ряда нелепостей фронтового существования командира роты Николая Логинова эта весть была самой нелепой и горькой. Его Майя, девочка на два года и класса моложе, удивительное создание, которое называли в школе девочкой из неизвестной галактики, и которое, казалось, парило над землей, распространяя радость, свежесть, доброту и справедливость, его Майка, писавшая ему письма через день и в училище, и на фронт, вдруг исчезла. Попытки узнать, что случилось, – успехом не увенчались. Мама писала, что дом, где жили Ягурные, заколочен, и там никто не живет. И позже – этот удар: «Майка вышла замуж». «Как же так, Майка? А наша клятва на крови?»

На вокзале, в день отъезда Николая в училище, Майка достала из волос булавку и деловито распорядилась:

– Дай пальчик и не бойся.

Подушечки указательных пальцев с капельками крови.

– Смешиваем и глотаем, – смеется она, слизывая капельку с пальца Николая. – И ты тоже. Так заведено в нашей галактике. На миллион миллионов лет. Разве такое можно забыть и нарушить? Как же так, Майка?

Тогда город от него отвернулся. Родной город не сохранил для него ни мать, ни любимую девушку, ни родной дом. И хотя любил он этот город глубоко и страстно и во фронтовых снах часто видел его крутые овраги, высокий берег над широкой рекой, тогда, в августе сорок пятого, Николай был на него в обиде. Как на непорядочного человека. И потому тогда, в Великом сорок пятом, взглянул последний раз на то, что осталось от своих самых близких в этом мире, и зашагал на вокзал...

* * *

...К своему удивлению, могилы Николай Львович нашел без труда. Он опасался, что в царстве хаоса и заброшенности, под глубоким покровом снега сделать это будет трудно. Но узенькая тропинка вывела его к аккуратной оградке, которой раньше не было и которая объединяла все три могилы. Крест на могиле деда был подновлен, памятники покрашены и стояли прямо. Надписи прорисованы чьей-то неумелой рукой. Возле могилы матери устроена была маленькая скамеечка, где кто-то совсем недавно сидел. Птицы еще не успели склевать крупы, насыпанную на картонку.

Всё это на фоне кладбищенского убожества и беспорядка выглядело загадочно и удивительно. И пришла невольно ревниво-благодарственная мысль: «Кто-то же следит. Кто-то же помнит... А положено тебе...» Затем кольнула горькая мысль о том, что не принес он сюда, на родные могилы, цветов. Хотя мог бы купить их сегодня утром или вчера вечером в гостиничном киоске там, в областном центре. «Как всё-таки мы склеротически неблагодарны и морально в нужный момент глухи. И живем задним умом, а позже занимаемся самобичеванием», – подумал он, понимая, что «мы» относится только к нему... Стальное ярмо сжалось на зубец.

...Городок встретил Николая Львовича пустынными заснеженными улицами, утопающими в сугробах домиками и аккуратно прометенными тротуарами. Центр города почти не изменился. Те же в основном двухэтажные каменные, дореволюционной постройки, бывшие купеческие особняки. Несколько зданий новой архитектуры делали центр более обитаемым. Первый в городе кинотеатр, который назывался «Марс», заметно обветшал, хотя видно было, что его белили. И назывался он теперь «Октябрь». Все вокруг знакомо-забыто. Ему, Николаю Львовичу, казалось, что весь этот белый город, заросший огромными черными дубами и тополями, окутывает его какой-то не столь грустной, сколь трагичной дымкой воспоминаний ушедшего навсегда, мягкой и ласковой, в то же время как давно забытое прикосновение матери. Вначале память упорно не хотела выдавать детали. Знакомо-забыто... Но за ближайшим углом появился небольшой аккуратный домик с летней застекленной верандой, и память словно проснулась. Поток нахлынувших мыслей был так силен, что учащенно застучало сердце. Он перешел на противоположную сторону улицы и присел на заснеженную скамейку напротив дома Ягурных. Отец Майки строил, а позже руководил оборонным заводом в десятке километров от города.

«Может, зайти?» – подумал Николай Львович, справившись с первым волнением.

Редкие прохожие поглядывали на него с долей удивления.

«Хорошо, допустим, я зашел. И что я спрошу? Что я скажу? Где моя Майка?.. Нет, не годится». Он решил, что посидит здесь минут десять –

пятнадцать – это было ему приятно и необходимо: сердце не унималось – и, если кто-то выйдет из дома, – он все-таки подойдет и всё-таки задаст один вопрос. Если нет – ну, что же, значит, не судьба... Он сидел, вспоминая, как провожал до этой вот калитки и даже дальше свою первую любовь. На коре дуба, что возвышался во дворе, наверное, и сейчас можно найти отметины признания... Первый шепот любви... Первое прикосновение к таинственному, удивительному в своем великолепии, чувству... Первый поцелуй. Робкий и неумелый. Всё первое, неизведанное дотоле, и потому прекрасное, чудесное, насыщенное верой в будущее беспредельное счастье... Рядом с прекрасным существом из неизвестной галактики...

Незаметно текли минуты, никто не появлялся, ни движения за окнами. Дом казался безлюдным...

Дальнейшее ожидание становилось бессмысленным, и Николай Львович двинулся дальше. Вот сейчас за небольшим ложком появится его школа. Старинное добротное здание из красного кирпича, бывшая гимназия. Здесь учился не только он. Здесь учились его отец и мать. Школа оставалась школой. Правда, красивая чугунная ограда кое-где зияла провалами. Зато школьный парк, который сливался на задах с городским садом, был хорош. И здесь, как и на кладбище, деревья буйно стремились ввысь так, что трехэтажное массивное здание школы не казалось высоким. Николай Львович вдруг обнаружил, что его школа необычайно красива. Что даже возведенная слева пристройка из белого кирпича не так уж портит облик старинной уездной гимназии. Он замедлил шаг, прикидывая, где на третьем этаже окна его класса. Степенно шли в школу малыши, сгибаясь под тяжестью ранцев и портфелей.

Многие с ним здоровались, и это было неожиданно и приятно.

И он снова подумал «а не зайти ли, посмотреть, что там внутри изменилось» ... Но в школе глухо прозвенел звонок, мгновенно раскрылись широкие двери, и на двор, прямо ему навстречу, ринулась ребятня. Он решил, что появление его здесь вызовет ненужное любопытство.

... До берега была сотня шагов. Он начинался сразу за школой.

Было поразительное очарование в величественной картине неподвижной, укрытой толстым слоем льда и снега реки, хотя дали часто не просматривались. Снежная круговерть то ослабевала, истощив свой заряд, то начиналась с новой, прилетевшей откуда-то энергией. Однако на сером небе чаще проступали голубые пятна, и изредка пробивалось солнце, как улыбка сквозь слёзы. Чувствовалось приближение весны. Это был позитив, который не мог преодолеть чувство тревоги, возникшее ранее.

Между береговым обрывом и чугунной решеткой школьной ограды когда-то шла довольно широкая улица, уходившая налево, к городскому саду, к беседке с колоннами, где когда-то давным-давно, в его детские годы, по вечерам располагался духовой оркестр и играл старинные вальсы, а направо эта улица поворачивала к его родному дому. И прежде чем подойти к повороту, Николай Львович остановился, словно собираясь с мыслями и решимостью, испытывая волнение от встречи с родиной. Потому что это понятие в его сознании всегда связывалось с крутым высоченным берегом над родной рекой, с неоглядными российскими просторами, которые расстилались за рекой в виде дубрав, полей, заливных лугов. Он был убежден, что идет это от первых дней его существования на нашей земле, потому что именно отсюда, с кручи, с птичьего полета он впервые увидел мир.

Николай Львович долго стоял в десятке метров от обрыва, не обращая внимания на ветер и усиливавшийся морозец.

Тревога последних суток вспыхнула с особой силой в предчувствии еще одной беды. Глядя на обрыв и узкую тропинку, которая была широкой улицей, он вдруг понял, что дома уже нет.

Он обошел провал и остановился. Дома не было. Теперь к реке выходили остатки огородов. Весь порядок домов, обращенных когда-то к реке, исчез. Это открытие потрясло Николая Львовича. Стремление увидеть этот дом, прикоснуться к нему, посмотреть на сараи, где он играл с друзьями, слазить на чердак, где постоянно ворковали голуби, взглянуть на небольшой сад, где росли вкуснейшая малина и крыжовник. Именно в этом садике он и Майка поцеловались. И он был на недостижимой высоте счастья: его поцеловала самая-самая. Девочка из неизвестной галактики. Все это было столь рельефным и желанным в памяти и ожиданиях, исчезнувшим в реальности, что Николай Львович со стоном прислонился к оставшемуся заборчику.

Тот самый дом, который, как ему рассказывал дед, был куплен еще его прапрадедом, сосланным в этот «медвежий угол» из Петербурга. Тот самый дом, который он не посетил в сорок пятом и ради которого приехал в девяносто третьем. Дом исчез.

Потрясение было необычайно сильным. Такого он не испытывал с фронта, когда зимой сорок четвертого в бою под Витебском он, командир взвода, потерял почти весь взвод. Снаряд попал в траншею, где взвод ужинал. Слезы капали последний раз в госпитале, куда пришла весть о смерти мамы. И вот сейчас. Хотелось броситься на землю и поливать слезами мир, который лишил его, Николая Львовича, счастья встречи с волшебным прошлым. Он стоял на краю обрыва и плакал, слезы, казалось, капали в провал, в глубинах которого было скрыто его рождение и детство... Стальной обруч сжимал мозг, мешая думать и принимать решения...

* * *

...О командировке в К. Николай Львович узнал за полмесяца и был этим расстроен. Предстояло разбираться в деле о хищениях на предприятии, руководил которым давний институтский приятель Николая Львовича. Именно поэтому Николай Львович попытался отказаться, но зам министра, чуть подсмеиваясь, сказал: «Знаю, что вместе учились. Он неплохой директор, но он наш сукин директор. Мы все были когда-то хорошими мальчиками. А жизнь нас портит. Вот из этого и исходи, уважаемый Николай Львович. А вообще-то нам с тобой пора на пенсию. Выловим жуликов – и на покой». Из документов, которые прочел Николай Львович, явствовало, что хищение было крупным и практически доказанным. И это бывший честный парень! Предстояла приличная нервотрепка. «Эка невидаль, командировка на неделю», – резюмировала жена, чувствуя волнение мужа.

Незадолго до отъезда он проснулся среди ночи с мыслью о старом родительском доме на высоком берегу. О девочке из незнакомой галактики, на два года и класса моложе, которая познакомила его с волшебным чувством влюбленности и взаимного счастья. Жар воспоминаний нахлынул на него вместе с укором, что не сумел он за все эти долгие годы съездить в родные края, а мотался по зарубежным курортам в соответствии с решениями жены, не испытывая при этом никакого восторга и удовлетворения. Именно в ту ночь появилась мысль приехать сюда. И тогда, в ту ночь, он не заснул. А после этого частенько задумывался: к чему бы все это было, что бы всё это значило?

Именно поэтому приехал он в областной центр в ночь на воскресенье, чтобы иметь в распоряжении для этой поездки свободный день.

Встречавший его на вокзале заместитель губернатора поделился планами развлечений столичного гостя на воскресенье и был крайне разочарован, когда гость сообщил о своем намерении посетить место своего рождения. Еще большее удивление вызвал у хозяина отказ гостя от машины в пользу рейсового автобуса и возвращение его на электричке. Устроившись в гостинице, гость попросил довести его до автовокзала.

* * *

Ветер на высоком берегу не ослабевал, а волнение Николая Львовича, напоминавшее отчаяние, превращалось в скорбь, прикрытую стандартным: «Что поделаешь, такова жизнь. Все разрушается, все гибнет». Он с горечью подумал о том, что как только он умрет, так исчезнет и это. И никто не будет знать, что вот здесь стоял добротный дом, в котором жили и умирали его предки. Сколько было там радостей и печали. И всё это исчезнет навсегда... И ничего светлого... Ничего! Оставалось собраться с силами и идти на вокзал, с предчувствием такой же горькой, неприятной встречи с бывшим приятелем. Он сжимал в кармане своей теплой куртки мокрый платок. «Это расплата за твоё отношение к родному гнезду», – думал он. И неизвестно, куда бы горькие мысли его завели, если бы не заскрипел снег под чьими-то ногами.

Он шагнул с тропинки, к самому обрыву, не оборачиваясь. Какое ему, в конце концов, дело до кого-то. Но скрип прекратился. И Николай Львович невольно оглянулся. В нескольких от него метрах стояла невысокая женщина в меховой шубе и вязаной шапочке. Она, казалось, не замечала Николая Львовича, оглядывая широкую панораму укутанных холодным туманом далей. Там, где она стояла, тропинка сужалась, и он подумал, что ему будет трудно протиснуться между старым забором и обрывом, если женщина не уйдет. Николая Львовича это обстоятельство несколько раздражало. «Неужели она не видит, что загородила дорогу». Он двинулся вперед и, не доходя пару шагов, остановился:

– Позвольте пройти, мадам.

Конечно же «мадам» выдало его раздражение. В спокойном состоянии он бы на такой оборот не решился.

Женщина вздрогнула, испуганно на него оглянулась и торопливо отошла назад, туда, где тропинка была шире:

– Извините, пожалуйста...

Николай Львович прошел, задев рукой шубу. В этот момент женщина чуть вскрикнула, приложив руки в перчатках к лицу:

– Колюша! Боже мой!

Николай Львович остановился, медленно повернулся, вглядываясь в лицо женщины. Так его называл, кроме матери, лишь один человек в мире.

Женщина одной рукой сняла большие свои очки, а другой стащила с головы вязаную шапочку и потрянула головой.

Это легкое гордое движение когда-то сводило его с ума. Это было настоящее чудо, на которое не способен был кто-либо другой. Ни один на всей земле!

– Ты! И здесь?..

Николай Львович и не подозревал, что может так удивиться чему-либо. Но глубочайшее его удивление сменилось испугом, потому что женщина побледнела и внезапно покачнулась. И это в двух шагах от обрыва! Николай Львович решительно шагнул вперед...

* * *

...Перед ним была усталая пожилая женщина в толстом вязаном свитере. Глаза её были плохо видны за толстыми стеклами массивных очков. Николай Львович вглядывался в её лицо, пытаясь обнаружить любимые когда-то черты. И, к величайшему своему сожалению, ничего не находил. Незнакомая красивая женщина с красивой пышной причёской.

«Неужели это моя Майя?» – думал он.

Она почувствовала его взгляд и спросила:

– Ты меня не узнаешь, Колюша! Это надо же! А мне говорят, что я не меняюсь с годами. Проклятыми и позорными.

Она горестно вздохнула и сняла очки, чтобы вытереть слёзы. И только тут Николай Львович уловил что-то знакомое, родное.

– Подожди, не надевай очки... – попросил он торопливо, словно боясь, что всё это вдруг исчезнет.

Она улыбнулась печально, и тогда её лицо преобразилось, и она стала похожа на ту девочку на два года и класса моложе, в которую он, Коля Логинов, был бесповоротно влюблён, как, впрочем, и добрая половина старшеклассников.

– А я все утро ждал твоего появления вон на той скамеечке. Где же ты скрывалась? – Николаю Львовичу очень хотелось возродить ласково-насмешливый диалог далекого школьного времени.

– У меня сегодня было деловое утро. Посетила тетю. Она в больнице. Очень больна. Меня уже не узнает. Затем на кладбище. Твою маму навестила... Затем наш бережок... И ты...

В комнате было тепло и уютно. Музейная белая с синим изразцовая печь излучала тепло, и сквозь мелкие отверстия в столь же старинной печной дверце проглядывали мерцающие огоньки. На окнах и повсюду вокруг богато цвела герань в горшочках, которых уже нигде не купишь. Чистые полосатые половики вели из одной комнаты в другую. Над круглым массивным столом висел цветастый абажур. В гостиной – старомодный массивный комод между окнами, этажерка с патефоном и несколькими толстыми, ещё дореволюционными альбомами в бархате, повсюду кружевные накидки и скатерти, диван с высокой спинкой и зеркалом был, пожалуй, единственным предметом недавнего довоенного производства. Вся обстановка создавала необычайно спокойную, безмятежную атмосферу детского сна. И вообще, Николаю Львовичу начало казаться, что всё с ним происходящее – сон, что сейчас он проснётся, и исчезнет всё это. Как театральная декорация. Тем более что он мог бы поклясться, что не раз видел это в своих снах.

Реальность начала размываться там, над обрывом, когда Николай Львович подхватил женщину в двух шагах от обрыва:

– Боже! Это ты... И совсем рядом...

Она вдруг обвила его шею руками и, уткнувшись лицом ему в грудь, заплакала:

– Наконец-то... наконец-то ты пришел ко мне... Сколько же можно ждать! Николай Львович растерялся. Так горячо его не обнимали никогда...

В смятении он выжал из себя вопрос полустолетней давности:

– Как же тебя угораздило выскочить замуж, мой Май? Моя Майка...

– И ты в это поверил?

Теперь она ходила по комнате, зябко поеживаясь, хотя в комнате становилось жарко. Николай Львович с удивлением и какой-то внутренней радостью обнаруживал в этой немолодой, но стройной еще женщине те самые черты, жесты, интонации, которые создавали его личное счастье. Да,

обаяние свое она сохранила. Она села напротив и долго, не мигая, смотрела ему в глаза. Он взгляда не отвел.

– Колюша, милый, я ничего не могу понять до сих пор. Я живу в каком-то тумане. Сплошном тумане из загадок и нелепостей... – в её глазах сверкали слёзинки. – Я ничего не могу понять, ничегошеньки... По гнусному доносу арестовали отца. Меня и брата отправили в лагерь. И как так случилось, объясни, что двое беззаветно влюбленных друг в друга человечков ушли от своего счастья? Почему? Что нас разъединило? Кто нас оторвал друг от друга? Почему мы обречены страдать в этой жизни? Это же безумие! Отказаться от своего счастья... У нас что, долгая жизнь впереди? Нет! Конец близок и неизбежен. А мы? Ты-то хоть счастлив? Можешь не отвечать. Я заглянула в твои глаза и увидела там тоску и тревогу. А я? Респектабельная дама, «мадам», как ты сказал. Но это же блеф... Я презираю себя в той же степени, что и того, так называемого мужа. Я его не переносу! Я не испытываю никаких чувств к оболтусу-сыну. Наверное, это плохо, аморально. Я плохая жена, плохая мать, испытывающая омерзение от прикосновения мужа. Я поэтому отвратительна сама себе. Я презираю и себя за каждый час прожитой жизни! Но ведь это страшно: жить, презирая саму себя. Это я говорю вслух впервые в жизни... Но я живу в этом аду с сорок пятого... А ты?..

– Я получил от тебя последнее письмо в июле сорок четвертого... Затем – пустота... Ты писала на сером клочке мелко-мелко... Слушай, что там было: «Не бойся, я уже не заразная. Тиф мой благополучно закончился. Ты просил, и я присылаю. Это я в госпитале. За переводы большое спасибо. Девчонки кричат: «Майка, тебе перевод от мужа!» А мне радостно». И тут же фотография стриженной наголо девушки...

– Ты все помнишь?

– Я помню всё. Я писал, я спрашивал всех: где ты, что с тобой?.. Но ты исчезла. Рвались последние связи с городом, со школьными друзьями. Три моих друга, самых близких, – погибли. И письмо от твоей подружки. Всего три слова: «Майка вышла замуж». Представь себе мое состояние... После госпиталя я приезжал. Здесь жили незнакомые люди. В нашем доме была какая-то организация. Спрашивать о тебе? А вдруг скажут: «Хорошая, счастливая семья». Я страшно обиделся на этот город и уехал. Родных здесь не осталось.

Николай Львович достал из внутреннего кармана красную книжку и с трудом вытащил крошечную выцветшую фотографию остриженной под ноль девушки.

– Это невероятно! – воскликнула она. – Ты не забыл девочку из незнакомой галактики!

– Я влюблен в нее до сих пор. Несмотря на обиду

– Но я не могла тебе писать. Вначале физически. Он посадил меня вместе с воровками и проститутками. Вызывал на допросы ночами, как раз, когда невозможно хотелось спать... Твои письма он издевательски, с гнусными комментариями, цитировал. Ты можешь себе представить этот кошмар? Днём мы строили какие-то цеха. Я подносила ведрами бетон. Весь день с ведрами бетона! Они же очень тяжелые... А ночью – допросы. И это сразу после тяжелого тифа! Нас с мамой попросту перевезли отсюда в К., меня поместили в лагерь. Мама жила по соседству с колонией... Нет, меня не били. Только однажды он исхлестал меня по щекам. Он каждый раз говорил: «Если мы найдем с тобой надёжный контакт – мне удастся спасти и тебя, и мать, и брата. Ты должна рассказать, как твой отец готовил уничтожение завода».

– Тебя арестовали?

– Меня и брата. Этот подонок долго изображал из себя порядочного человека. Издеваясь над незащитным человеком, ожидая, что я приползу к нему...

Николай Львович видел, как на глазах стареет её лицо, как его режут глубокие скорбные морщины. Она, видимо, почувствовала это и отвернулась:

– Извини, Колюша... Но я должна тебе всё это рассказать.

Она некоторое время молчала, собираясь с силами.

– Это мой-то отец! Славный буденовский комвзвода, награжденный в гражданскую орденом Боевого Красного Знамени и именованным оружием! Это он-то враг народа? Он же, ты знаешь, завод с первого колышка строил! Он там полжизни положил. Да он бы за этот свой завод себя самого на кусочки бы дал изрезать! Это мы с мамой понимали. А этот подонок однажды на допросе заорал: «Не для того мы революцию делали, чтобы всякие гады вроде твоего отца нам пакостили!» Представляешь, этот сопляк, наш с тобой ровесник, орёт, что он делал революцию... Мразь. И проговорился он однажды и назвал фамилию того, кто грязный донос на моего отца написал. Представь себе, тот, кто считался нашим другом.

Голос её звучал глухо. Она часто замолкала. Задумывалась. Казалось, она выбирает из того огромного кошмара – главное. Существенное.

– Каждый вечер он начинал с предложения установить более тесный контакт, а кончал криком и угрозами... На допросе он обычно жрал курицу. Не знаю уж, откуда он добывал столько куриц. В то время, ты знаешь, питались очень скудно. А он демонстративно жрал, запивая водкой. Видеть его лоснящиеся губы и толстые мокрые от жира пальцы было выше моих сил.

Николай Львович сидел, обхватив голову руками. Он ожидал чего угодно, готовясь к предполагаемому разговору с девочкой из неизвестной галактики. Но то, что говорила Майя, было чудовищным.

– Ты, надеюсь, понял, что означало его «установить тесный контакт». Я долго держалась. Я думала, что если я упаду в обморок, он сделает своё гнусное дело. Я возвращалась в барак с распухшими губами. Я их кусала до крови... Но однажды я очнулась в бараке, у меня всё болело и ныло. Это страшно, когда бессилён и абсолютно бесправен...

Она долго молчала, а затем спросила:

– Я тебе не надоела со своими стенаниями?

– Нет, нет. Я внимательно слушаю. Это в самом деле чудовищно.

– Когда меня к нему привели после этой гнусности, он сказал: «Ну-с, миледи, мы, кажется, наконец-то устанавливаем взаимопонимание». И тут я не выдержала. Я плюнула ему в лицо. Вот тогда он исхлестал меня по щекам, обзывая самыми последними словами. Если раньше он оскорблял отца, то сейчас объектом стала я. Позже оказалось, что я беременна. Тогда он изменил тактику. Он вдруг заявил, что влюблен в меня с самого первого дня и настойчиво предлагал официально оформить брак. Мерзавец. Он ползал передо мной на коленях, закатывая истерики. Он следил, чтобы не было выкидыша, видимо, полагая, что ребенок меня изменит... Они меня накачали наркотиками, и я расписалась. И в прямом, и в переносном смысле. После этого я потеряла право искать тебя. Я была изломана морально и физически, но, поверь, ты был моей единственной опорой и любовью всей моей жизни. И я тебе никогда, ни на мгновение, не изменяла. Девочка из неизвестной галактики влюбляется только раз. Но я страшно боялась твоей ненависти, презрения и даже равнодушия. А ты сохранил любовь.

Он встал, подошел к ней.

– Бедный мой Май. Бедная моя девочка. Моя прекрасная майская розочка. Как ты все это выдержала? И где эта тварь, этот подонок? Он должен заплатить за все.

Стальной обруч сжимал мозг мертвой хваткой.

– Он наказан. Он в психушке. Человек со сломанной психикой и жизнью. Жалкое подобие человека... Я часто обращалась к богу. Я просила его об одном. Об этой нашей встрече. И о твоей верности. Он меня услышал, даруя мне эту встречу. И твоя девочка из незнакомой галактики стала верующей. То, что мы наконец-то встретились... Разве это не чудо-чудное? – она улыбнулась и уткнулась ему в грудь.

Они долго молчали, словно боясь нарушить так долго ожидаемое прикосновение и испытывая страх неизбежного расставания.

Вечерние сумерки вползали в окна, заставленные цветами в горшочках.

– Ты надолго? – спросила она.

– Нет... Надо ехать с последней электричкой.

... Наступила долгая пауза. Он видел, как по её щекам текут слёзы. Она отвернулась и тихо сказала:

– Ну, что ж, все правильно. Счастье на три-четыре часа в полувековом ожидании. Если ты сейчас уедешь, я, пожалуй, уйду... из этой жизни.

– Перестань, Майка! – в тревоге крикнул Николай Львович.

– Но, Колюша, мой дорогой суженый, у меня была дорогая драгоценная игрушка по имени «ожидание встречи с любимым». Игрушка отслужила свой срок. Что завтра? Чего ждать?.. Пус-то-та. Старость с болезнями, денежными и другими трудностями. Но самое страшное – душевное одиночество, отсутствие детей, внутрисемейного общения, к которым я стремилась с рождения. Родственники отца погибли на Украине. Мама детдомовка. У тети нарушена речь. И это ужасно...

Она прижалась к Николаю Львовичу и прошептала:

– Ты не представляешь, как мне хотелось нашего с тобой ребенка. Я его видела и играла с ним так же реально, как вижу тебя... Наш мальчик из незнакомой галактики... Но жизнь в снах и грезах бессмысленна.

Стальной обруч впивался в мозг.

Николай Львович понял, что она это сделает. Он гладил её по пышным волосам. И тогда она повернулась и снова обхватила руками его шею, крепко прижавшись к нему.

– Ещё несколько секунд, и я начну выть, как самая простая русская баба... да и кто я, как не баба, старая, истеричная баба...

Её шепот прерывался не то рыданиями, не то смехом...

– Я же тебя люблю на всю жизнь. Я жила этой любовью... Твоя взаимность была моим талисманом. Капелькой крови вот на этом твоём пальце... Я счастлива сегодня, а завтра...

Николай Львович вдруг ощутил в этом «завтра» всю глубину трагедии девочки из неизвестной галактики. Потому что дальше следовало чуть слышное: «одиночество».

Собрав в кулак остатки своей потрепанной за сутки воли, Николай Львович сказал ласково-грубовато:

– Майка, перестань! Не выдумывай. Я обещаю тебе звонить каждую неделю. Завтра вот здесь будет стоять телефон. Вот моя визитка. Красный номер – мой личный телефон. Он будет только наш с тобой... Обещаю тебе. Обещаю тебе наше счастье. Ты отважно ждала много лет. Подожди еще немного... Чутьочку. К маю мы будем вместе... Я тебе это обещаю... Ну, пожалуйста, потерпи...

– Не надо, Колюша, – перебила она. – Этот подарок не для меня. Ты, конечно, женат. Так ведь? Никаких разрушений. Ты хочешь появления еще нескольких несчастных людей? Запомни: я никогда на это не пойду.

Сейчас ее голос звучал жестко.

– Давай попьем чаю, и тебе пора на вокзал.

– Но ты не запретишь мне быть с тобой. Я приеду в мае на наш с тобой юбилей... Чего бы мне это не стоило....

– Запрещаю. Не обижайся, мой любимый. Я привыкла держать себя в руках. Иначе я бы давно сошла с ума. От самоубийства меня спасала капелька твоей крови, которую я слизала там, на вокзале... Сегодня я увидела тебя. Это награда за мое терпение. Извини за слезы и рыдания. Видишь, я – в норме. Я даже не навязываюсь провожать тебя на вокзал. Иди, уходи, Колюша, а то я снова потеряю контроль над собой и буду рыдать и выть уже до своей кончины. Не заставляй меня страдать. Помни меня той, радостной... И мне не нужен телефон... Я возвращаюсь в свою милую галактику. И мы там непременно встретимся.

Это были ее последние слова, дошедшие до слуха Николая Львовича.

Слабо светили немногочисленные уличные светильники, раскачиваемые порывами ветра. Свежий воздух и движение всегда приносили успокоение и некую расслабленность. Всегда, но не сейчас.

События последних дней, и особенно последних часов, превращались в уродливое скопище фактов, информации и проблем, выходящих за рамки здравого смысла и не имеющих положительного решения.

Особенно трагедия девочки, которую, помимо Коли Логинова, обожала вся школа, девушки, бесстрашно отстаивающей честь отца, молодой женщины, жестоко оскорбленной физически и нравственно. Той самой, что была путеводной звездочкой старшего лейтенанта в трудные военные годы. Его уважение и любовь к девочке из неизвестной галактики, многократно усиленные ее верностью и рассказом, были столь глубоки, что он, рассудительный, не терпевший лжи, пообещал Майе не только встречу. И именно это создало в его сознании новую, почти не решаемую проблему. Бесформенный, огромной тяжести клубок проблем был не разрешим. Мозг требовал освобождения от стального ярма, направляя сознание на решение всех проблем разом. И в макро, и в микро. Подобная мысль блуждала по периферии сознания, отвоевывая новые территории. Вопрос заключался в оценке: акт мужества или слабости, бессилия?

«Оставим это на суд общественности», – усмехнулся Николай Львович.

* * *

Перед вокзалом предстояло перейти через мост над железной дорогой, идущей по дну глубокой выемки. Мост, края выемки и лесенки к путям Коля Логинов хорошо знал. Сюда ребятня бегала после уроков и изучала содержимое платформ и полувагонов, на которых в грохоте железа везли танки, самолеты без крыльев и многое другое. Пассажирские красавцы-паровозы с огромными красными колесами везли куда-то счастливых от движения людей, школьники приветствовали пассажиров, и те отвечали взаимностью, с верой во всеобщее благополучие и счастье на этой земле. И все это, как и многое другое в этот день, вызывало у Николая Львовича щемящее чувство утраченного и навсегда потерянного. Из-за поворота выползал электровоз. До решения проблем оставалось несколько секунд.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Булат СУЛЕЙМАНОВ

Родился Булат Валикович Сулейманов 28 мая 1938 года в ауле Супра Вагайского района Тюменской области. Он один из ярких представителей сыбыров, первый профессиональный поэт своего народа, общественный деятель, сын нации. Всю свою жизнь беззаветно, с горячностью защищал право своего народа на нефальсифицированную историю, на развитие языка, на достойное существование земляков из сибирских аулов.

Ядром жанровой системы поэзии Б. Сулейманова является малая поэтическая форма. Тематика – любовь к родному краю, философия, неразделённая любовь. В рассказах изображается жизнь простых людей с позиции знатока человеческих ценностей.

В своих стихах Булат с особым трепетом повествует о родной Сибири, создает светлые поэтические образы её людей, природы. Многие лирические строчки пронизаны чувством грусти, одиночества, утраты дорогих реликвий народа. В 1991 году его не стало.

Подробнее о Булате Сулейманове читайте на стр. 199.

Старик

Что видит минувшая жизнь из окна?
Мальчишку с мячом, что резвей скакуна
бежит, отдает пас...
«А я в эти годы с темна до темна байских овец пас...»
Последняя осень горит за окном.
Вон юноша ствол подпирает плечом,
свиданья пробил час.
«А я в эти годы свинцовым дождем был бит не один раз...»
Влюбленные пары уходят во мглу.
Лицо, словно лист, прилепилось к стеклу.
Все смотрит и смотрит старик, чуть дыша,
как падает лист предпоследний,
шурша...

Нижняя Варта

Ключьями рвется, дымит по углам снежная вата.	Взгляда влюбленного не отведаю, сердцу отрада.
Скулы свои подставляя ветрам, правишь, скажи мне, к каким берегам, Нижняя Варта?	Ты бы взлетела у всех на виду, да буровыми пришита ко льду, Нижняя Варта.
Вюжный тулупчик внакидку, вразлет – жаркое место!	Вот и сошелся с тобою мой путь. Ты – как награда!
Жжет тебя ветер, морозец печет. Белая, ты среди черных болот, словно невеста.	Мне теперь надо работы вдохнуть, чтобы в девон твой перо обмакнуть, Нижняя Варта.

Ледоход

«Девушка уходит, девушка уходит!»
Рано разбудил меня
голос у реки.
Над Супрой весенней
ветер колобродит,
улепетывают к лесу
ручейки.
«Девушка уходит...»
Не моя ли девушка?
Выбегу на улицу,
руки протяну:
– Гюльбану, любимая, –
позову.
Да где уж там!
Вот она на берегу...
Гюль-ба-ну!..
«Девушка уходит, девушка уходит!»
Это лед – не девушка,
в предрассветный мрак
лед уходит.

Песню
новую заводит
и гармонь растягивает
Абдельхак.
«Сторонись, любимая,
берега высокого,
берега высокого
и ревущих вод,
а не то любовь твою,
ох, от ясна сокола,
ох, от ясна сокола
льдина унесет...»
Песня разрастается,
а река шатается,
плавится, коробится
вспухшая вода.
Лед уходит – молодость
с нами не прощается.
Лед уйдет – любимая
ни-ког-да!

Весло

– Отпусти меня, берег, –
умоляет весло. –
Море – вот мой товарищ!
С ним легко и светло.
Там восход мой пылает,
там закат мой горит.
– Опустит, – умоляет. –
Оттолкни, – говорит.
И не хочет, бедняга,
понять одного:
это море швырнуло
на камни
его...

Осень, утро

Таежный урман
окутал туман,
в ауле чуть слышен баян.
Предпраздничный, банный –
тоже туманный
день у моих аульчан.
Пара клубы...
Соседской избы
не видно.
Рассвет потух.

Но – сквозь туман –
громкий азан
высокий поет петух.
Дальний бычок,
словно гудок:
– У! У-у-у! – среди трав.
Земля клубится,
как кобылица,
от бешеной скачки устав.

Мать

Все сына ждет
и отдыха не знает.
Уж сколько лет прошло!..
Нет, ожидает.
И на подоле
траурной одежды –
надежда!
Ничего,
кроме надежды.

Что с моими дорогами...

– Что с моими дорогами?	на подошвы
Что ж вы?..	налипает
Отпустите в чужие края!	родная
Неподъемная,	земля...

Возвращение

«Метеор» несет меня,
быстрого, быстрее коня
над волной речной –
домой,
домой!
Тормозни-ка здесь, дружок!
Вон высокий бережок.
Хоть глядится каменным,
да зовется маминым...

Вольный перевод с сибирско-татарского Александра Гришина

* * *

Свободную птицу с красивым пером
В железную клетку заманят зерном.
И все ее небо – в проеме окна.
О жесткие прутья перо обобьет,
А ей умиляются: «Ладно поет».

* * *

Клином отлетные гуси прошли,	Что приключиться должно –
Грусть ненароком смахнула слезу.	Приключись.
Взмахи натруженных крыл тяжелы –	Молча роняет дождевку слезой
Ходят волнами озера вниз.	Этот последний на веточке лист.
Завтра и я улетаю. Со мной,	

*Перевод с сибирско-татарского
Анатолия Васильева.*

* * *

В доме пустом
Тёмной ночью
Два сердца горели вместе,
А ночь от дождя сырела
И вслед за ночным дождём
Одна за одною капли
Из девичьих глаз стекали.
И капельками по капле
На землю любовь пролилась.

* * *

Вновь в одиночестве брожу, Где всё знакомо-незнакомо, Чего сюда пришла искать Душа, ушедшая из дома. С буранным ветром из Сибири Я нужен ли в столичном мире? Дома грозят мне пальцем вслед: «Смотри, увидишь белый свет И что не получал – получишь». Огни реклам смеются вслед: «Эй, заблудившийся, послушай, Куда идёшь, что тут оставил?» Вон площадь... Вон стоит поэт.	Он в тёмный плащ всегда одет, И я шаги к нему направил. Я вижу памятника взгляд. Влюблён в Казань, И ощущаю: Над ним поэзия витает, И мысли гордые парят. А он, закрывшись в плащ, стоит И прижимает к сердцу руку. Я нёс ему, чтоб подарить Сибирские цветы – не с юга... И вновь по городу бродить, Как бы по замкнутому кругу.
--	---

* * *

Дикие гуси летят, голося.
Сердце моё
Их тоску разделило.
Крыльями машут они, разнося
Волны по озеру
Гордою силой.
Что там, вдали, ожидает меня,
В тысячах вёрст
От корней и истоков?
С неба стекает слезинка дождя,
Чтобы приникнуть к листу одиноко.

* * *

Осенний жёлтый лист Сорвался и упал. И парень по листу Прошёл и не заметил.	Но посмотрел на лист И замер аксакал: Вот так и нашу жизнь, Как лист, срывает ветер.
--	---

Перевод Сергея Горбунова.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Станислав МАЛЬЦЕВ

УРА! БАРМАЛЕЯ ВЫГНАЛИ ИЗ АФРИКИ!

Хотим в Африку!

Начинался прекрасный летний день, тёплый и тихий. Солнышко хоть и встало уже высоко, но ещё не было жарко. И ничто не говорило о том, что этот день будет полон чудес.

Зайка Петя весело прискакал на лесную полянку и видит – Мишка-медвежуха и Пуфик уже сидят на лавочке, ждут его.

– Привет! – зайчишка встал на середину полянки, поднял лапку. – Раскройте ушки шире и слушайте внимательно!

Мишутка хотел ушки раскрыть, а как? Они у него совсем не шевелятся, ни чуть-чуть. Тогда язычок высунул, чтобы лучше слышать, чего опять зайка Петя придумал.

А у котёнка Пуфика совсем другое дело: ушки сразу поднялись-насторожились, даже немного повернулись, вот какие они у него замечательные!

Зайка Петя посмотрел на друзей и громко начал:

*А в Африке,
А в Африке,
На чёрной
Лимпопо...*

Тут Мишутка так обрадовался, что даже подскочил на скамейке.

– Знаю, знаю, что дальше:

*Сидит и плачет
В Африке
Печальный Гиппопо...*

И важно добавил:

– Эту сказку написал дедушка Корней Чуковский, мне мама читала его книжку, очень интересная!

Пуфик грустно смотрел на них, ему сказок не читали. Ведь он жил без папы и мамы в доме лесника. И, конечно, был бы счастлив, если бы мог слушать такие замечательные сказки, но никто об этом не догадывался.

И вот тут-то случилось главное: вдруг Мишутка встал и громко заявил:

– Я хочу в Африку! Поглядеть на этого Гиппопо! И на чёрную реку Лимпопо!

Зайка Петя не поверил своим ушам.

– Ты сошёл с ума! Ведь там живёт Бармалей! Забыл, про него в сказке так:

*В Африке разбойник,
В Африке злодей!
В Африке ужасный Бар-ма-лей!*

Тут Пуфик засмеялся, ему надоело слушать всякие глупости.

– Он тебя сразу съест-заглотнёт! И не подавится!

– Я его не боюсь! – продолжал Мишка-медвежуха. – Хочу в Африку!
И всё!

Зайчишка удивлённо смотрел на него и вдруг...

Вдруг понял: он тоже хочет в Африку! В гости к Гиппопо! Подумал так и громко сказал:

– И я хочу в Африку! Но как туда попасть?

– Какие глупости вы говорите! – сердито произнёс Пуфик. Он тоже не прочь бы побывать там, но хорошо понимал, это совершенно невозможно.

Зайка Петя опять поднял лапку.

– Я вот что придумал, сядем рядышком, возьмемся за лапки, закроем глаза и представим: мы уже в Африке. И вдруг вправду окажемся там? На реке Лимпопо!

– Здорово! Молодец! – крикнули Мишутка и Пуфик, все поскорее сели рядом, но не заметили болтушку Сороку. А она притаилась за пенёчком, всё подслушала и, конечно, тоже захотела в Африку. Заскочила на пенёк и закричала:

– И я! Я с вами!

Зайчишка махнул на неё лапкой.

– Убирайся скорее отсюда! Не мешай!

Вздорная птица ещё громче завопила:

– Какой махальщик нашёлся! Я тебе помахаю! Твоя, что ли, Африка? Она общая, и моя тоже!

Мишка-медвежуха поднял шишку и кинул в неё. Сорока сразу улетила, села на ёлку, но тут же тихонечко вернулась и устроилась рядом с Пуфиком, прижалась к его хвосту и тоже закрыла глаза. Думала-воображала, как будет прыгать вокруг какого-то непонятного Гиппопо...

И попали туда

Они сидели, а лес шумел, жил своей жизнью, пела-чирикала какая-то птичка, и далеко стучал клювом дятел. Зайка Петя вдруг услышал что-то новое: рядом плещется вода! И сразу запахло мокрым, как после большого дождя. Он скорее открыл глазки и увидел...

Куда делась их любимая лесная полянка?

Где зелёные ёлочки-сосёнки?

Оказались они на берегу широкой реки, вверху, на ярко-синем небе, горело-жгло жаркое солнце. А в реке...

А в реке – совсем близко! – стоял-купался Гиппопо! Настоящий – огромный и толстый! Точно такой же, как в мультиках!

Он был весь в воде, из неё высывалась только верхушка огромной головы с широкими ноздрями и маленькими глазками – торчали вверх, как перископы у подводной лодки. А на спине у него сидел маленький Гиппопошка, у него были короткие толстые ножки и тоже толстый – как подушка! – животик.

– Я в Африке! Вот здорово! – завопила рядом сорока во всё горло. – Красота-красотища! А это и есть Гиппопо?

– Они самые, – сказал зайка Петя. – Их ещё зовут бегемотами, это одно и то же.

– Просто бочки, большая и маленькая! – продолжала сорока. – Смехота-смехотища!

Мишка-медвежуха тяжело вздохнул.

– Хорошо устроились... Гиппопо, они же бегемоты, в водичке им не жарко, не то что мне. В меховой шубе в этой Африке делать нечего...

- Терпи! Сам всё выдумал! – засмеялся Пуфик.
А зайчишка пожалел Мишутку.
– Сейчас позову их сюда, и будем вместе купаться-кувыркаться!

Гиппопо зовут Вася

- В ответ на зайчишкины слова Пуфик насмешливо улыбнулся.
– Так он тебя и послушается.
– А почему бы ему и не послушаться? Я ведь очень-преочень вежливо позову, – зайка Петя приложил лапки ко рту и крикнул:

*Вася, толстый Гиппопо,
Ты не стой так далеко.
Подходи поближе к нам,
Я конфетку тебе дам!*

- И что случилось дальше?
Гиппопо медленно пошёл к берегу!
А малыш на его спине так и запрыгал – очень хотел конфетку!
Зайчишка достал из кармана две конфетки в красных бумажках, поднял повыше и попросил:

*Ну-ка, шире рот открой!
Быстро песенку нам спой!*

- И Гиппопошка широко распахнул рот, – а он у него был совсем большой! – и весело запел:

*Лимпопо, Лимпопо,
Тут не очень глубоко.
Будем вместе мы купаться,
Кувыркаться и плескаться!*

- Пуфик очень удивился.
– Откуда узнал, что его зовут Вася?
– Секрет, – важно ответил зайка Петя. – Но так и быть, скажу: Африка – страна чудес, я сам не понимаю, откуда узнал его имя. Просто знаю, и всё. Он Вася, а малыш – Василёк.

Гиппопо медленно шел к берегу, ему очень не хотелось вылезать из воды. Ведь бегемоты её так любят, спасаются в ней от жары. Едят водоросли со дна реки и только иногда выходят на берег за свежей травкой. Древние греки называли их гиппопотамами – речными лошадьми, хотя на лошадей они совсем не похожи. А весит бегемот четыре тысячи килограммов – вот какой большой!

Вася подошел к берегу, и Василёк получил обе конфетки – мигом проглотил вместе с бумажками! – а потом Мишутка и Зайчишка забрались на широкую Васину спину и стали, словно с горки, спускаться в реку. А бедный Пуфик только печально глядел на них, он не любил воду.

Накупались друзья досыта, и тут Вася спросил:
– Не знаете ли вы доброго доктора Айболита? Он когда-то у нас лечил больных зверят, ставил градусники и давал вкусное лекарство.

– Знаем, конечно, – ответили хором зайчишка, Мишутка и Пуфик, они не раз видели по телевизору интересный мультик. А зайка Петя тоже спросил:

- Сейчас у вас никто не болеет?
– Нет, – ответил Вася. – Все здоровы, но как там, в лесу, обезьянки, не знаю.

Зайка Петя задумался, а потом важно сказал:

– Нам надо это обязательно узнать, вдруг нужна помощь. Мы сейчас же пойдём к ним.

– Вот дорога, которая ведёт к обезьянкам, – Вася кивнул, друзья обернулись и увидели совсем рядом море высокой травы, – до четырёх метров высотой! – это была саванна, африканская степь. Среди травы тянулась дорожка, её протоптали слоны, когда шли к реке пить.

– Тогда вперёд! – крикнул зайчишка. – До свиданья, Вася и Василёк, мы скоро вернёмся! – и пошёл, попрыгал по дорожке, друзья за ним. И Сорока тоже полетела.

Мишутка захотел новый нос

– Вот это да! Просто чудо-чудеса! Какое дерево! – сказал зайка Петя. И правда, дерево было удивительное: огромный толстенный ствол, на ветках редкие большие листья. Это баобаб – великан саванны: окружность ствола до сорока метров, а древесина такая плотная, что не горит. Баобаб живёт пять тысяч лет!

– Мне так жарко, – жалобно сказал Мишутка, – хорошо бы найти речку и искупаться...

Пуфик насмешливо взглянул на него.

– Об этом забудь, тут в воде полно голодных крокодилов, они глотают глухых медвежат целиком, вместе с визгом.

Но Мишка-медвежуха совсем не испугался.

– Я много раз видел очень интересный мультик, как крокодил вытянул любопытному слонёнку нос, и тот стал длинным хоботом. Я хочу такой же! – это он вспомнил мультфильм, снятый по сказке замечательного писателя Киплинга.

Зайка Петя очень удивился.

– Ты точно перегрелся на солнце. Зачем тебе такой нос?

– Я бы доставал им мёд! Засунул в дупло – и бери!

Сорока запрыгала, замахала крыльями:

– Подумай, что болтаешь! Будешь совсем смешным!

Но Мишутка заупрямился:

– Хочу новый нос! Ах, если бы близко был крокодил...

Тут такое случилось, никогда не догадаться. Ведь Африка – страна чудес.

В огромном стволе баобаба открылась дверь!

И из неё вышел крокодил! Настоящий! Большой и страшный!

– Я тут! – громко сказал он. – Кому надо вытянуть нос?

Сорока мигом залетела на дерево, зайчишка и Пуфик замерли, не знали, что делать, Мишка-медвежуха стоял неподвижно, открыв рот.

Крокодил облизнулся.

– Слонёнок очень доволен таким новым носом... – и своей зубастой пастью схватил Мишутку за носик.

– Ой-ой-ой! – завопил тот. – Не надо, я пошутил!

Но крокодилы шуток не понимают, он тащил и тащил.

Зайка Петя и Пуфик скорее вцепились медвежонку в лапы и тянули назад, но бесполезно: крокодил, конечно, был сильнее. Бедный Мишутка только стонал, ещё минута – и его носик превратится в длинный хобот!

Волшебный пистолетик

И вот тут-то зайка Петя поднял лапку, и в ней оказался маленький зелёный пистолетик. И выстрелил в крокодила!

Раздался негромкий хлопок, и тот сразу выпустил нос. Ведь пистолетик был не простым, а волшебным, мог мигом превратить кого хочешь из злого в самого доброго.

– Здравствуйте, меня зовут Том, – очень вежливо сказал крокодил. – Извините, я не хотел сделать больно.

Друзья испуганно глядели на Мишуткин нос – он стал немножко длиннее, превратился в маленький хоботок. Было непривычно и не очень красиво.

– Мы же тебе говорили, – грустно произнёс зайчишка. – А ты нас не послушал. Никогда не надо связываться с крокодилами.

Конечно, он был прав, но Мишутке от этого не легче.

– Ой-ой! Мой носик! – плакал он. – Не хочу! Отдайте старый!

– Извините, – повторил крокодил Том. – Я хоть и стал сейчас самым добрым крокодилком, но это не могу сделать. Моя специальность – вытягивать носы, а не уменьшать их. – И он исчез в дереве, закрыл за собой дверь.

– Откуда у тебя пистолетик? – спросил Пуфик. – Где взял?

Зайка Петя спрятал пистолетик в карман.

– Он волшебный, такие ниоткуда не берутся, а появляются сами по себе. В нём всего три патрона, теперь уже только два.

Мишка-медвежуха всё сидел и лапами проверял нос, не стал ли он меньше?

– Вот к чему приводит непослушание, – сердито заметил Пуфик. – Теперь всегда будешь ходить так!

А Сорока закричала:

– Мама тебя не узнает с этим носом и не пустит домой!

В ответ на её слова Мишутка громко-громко завопил, да так, что было слышно на пол-Африки:

– Помогите! Спасите! Верните мой носик!

И на его крик из густой травы вышел тот самый любопытный слонёнок из мультика. Это ему когда-то другой крокодил вытянул нос в большой хобот. Вышел и весело сказал:

– Нечего реветь! Хобот – это очень удобно, но у тебя он слишком короткий, давай попросим крокодила его ещё вытянуть.

Тут Сорока вдруг затрепала:

– Петя! Дай ему скорее в глаз! Пусть не болтает!

Слоненок страшно удивился, так, что даже сел и широко открыл рот. Ведь ему никто никогда не давал в глаз, и он не знал, что это такое. Но догадывался, ничего хорошего не будет.

Дверь в баобабе вдруг распахнулась, и крокодил высунул голову.

– Я всегда готов помочь, вытяну нос хоть на целый километр!

– Нет! – заплакал Мишка-медвежуха. – Отдай мой старый носик! Крокодил закрыл дверь, а слонёнок покачал головой.

– Как хочешь, сейчас сделаю тебе массаж, вдруг поможет.

И схватил своим хоботом Мишуткин хоботок и начал сжимать и крутить. Медвежонок тут так завопил, что слонёнок сразу бросил его нос и даже чуть не убежал.

Все увидели – нос ярко-красный! Горел, как фонарь!

– Кр-р-асота! – крикнула Сорока. – Просто лампочка!

– Дайте скорее воды! И побольше! – догадался зайка Петя. Крокодил Том быстро вынес ведро с водой, и Мишутка сунул туда свой хоботок. Вода сразу закипела, и, когда вытащил, стал его бедный носишко маленьким, как и раньше!

– Ура! Ура! – закричали зайчишка, Пуфик и Сорока, а слонёнок сказал:

– Ну и хорошо, ходи со старым носом, раз нравится. А я побежал, у меня важное дело – ищу Бармалея, он где-то тут прячется, надо выгнать его из Африки. Из-за него дети боятся к нам приезжать.

Слонёнок убежал, исчез в густой траве, а друзья только собрались идти дальше, как вдруг...

Вот и Бармалей!

Вдруг услышали громкий противный крик:

Я кровожадный!

Я беспощадный!

Я злой разбойник

Бармалей!

И он сам выскочил из-за деревьев!

Друзья замерли – таким он был страшным и ужасным!

Чёрные короткие волосы на голове торчали вверх, как иголки у ёжика Пыха! Ведь Бармалей никогда – с самого рождения! – не причёсывался! Из рта вылезали длинные жёлтые зубы, он их не чистил ни разу и даже не знал, что существует зубная паста! А в руке у него был огромный кинжал, размахивал им и вопил:

Карабас! Карабас!

Пообедаю сейчас!

Пуфик распушил хвост и запрыгнул на дерево, Сорока – следом. Мишка-медвежуха так быстро кинулся в траву, как никогда ещё не бегал, а зайка Петя...

А зайка Петя спрятался за широким стволом баобаба. Бармалей кинулся туда.

– Попался! Стой на месте! А то хуже будет!

Зайчишка, конечно, ждать не стал и поскакал вокруг дерева. Злодей-разбойник за ним, зайка Петя от него.

Так они обежали вокруг дерева несколько раз, Бармалей запыхался, а зайчишке хоть бы что – готов так бегать хоть целый день, обернулся и высунул язык.

– Не догонишь! Слишком толстый!

Расхвастался, и был наказан: злодей повернулся, побежал навстречу, схватил его за уши и поднял.

– Вот и обед!

– Я тебе покажу обед! – Пуфик спрыгнул с дерева и укусил за руку, изо всех сил!

– Ай-ай! – Бармалей бросил добычу, и зайчишка вместе с котёнком исчезли в траве.

– Всё равно всех поймаю! – завопил разбойник от обиды, ведь такой вкусный обед выскочил у него прямо изо рта.

Тут дверь открылась, и вышел крокодил, щёлкнул зубами.

– Ты своим криком меня разбудил! Пошёл вон!

Бармалей был храбрым только против маленьких детей и ужасно испугался. Кинулся бежать и тоже исчез в траве, как и не было его.

Нельзя верить крокодилам

– Большое спасибо, уважаемый Том, – очень вежливо сказал зайка Петя. – Вы самый добрый крокодил во всей Африке и помогите нам узнать, здоровы ли обезьянки. Очень вас просим, пожалуйста...

– Да, я самый добрый крокодил, сам себе удивляюсь, – Том улыбнулся. – Садитесь на меня, и поплывём к вашим обезьянкам. Но, скажу по секрету, они очень вкусные с тушёной морковкой и укропом.

Друзья скорее забрались на его широкую спину и поплыли по реке. И тут Бармалей выскочил из травы и замахал кинжалом.

– Всё равно от меня не уйдёте!

– Его давно надо выгнать отсюда, – рассердился Том. – Из-за него дети боятся нашей прекрасной Африки. Но ведь он просто болтун и хвостун, никого никогда не съел и не съест.

Мишутка тяжело вздохнул.

– Давно пора, как запоёт свою ужасную песенку про обед и какого-то Карабаса, мне сразу нехорошо...

А зайка Петя весело продолжил:

– Мы его и не боимся! Мы сами выгоним разбойника из Африки! Станем его искать и найдём!

Так они плыли и плыли, может, час, а может, и больше, реке всё не было конца. И вдруг крокодил так забил своим огромным хвостом по воде, что друзья чуть не свалились, и повернул к берегу.

Широко распахнул свой рот, полный острых-преострых зубов, и громко сказал:

– Слезайте живо, я чувствую, моя доброта кончается, а я ещё не обедал... – и он облизнулся большим, как лопата, языком. Снова очень внимательно поглядел на пассажиров и опять облизнулся. Друзья увидели, что язык у него стал длиннее, а зубы – крупнее.

Зайчишка так перепугался, даже лапки задрожали, скорее схватил Пуфика и прыгнул в воду, Мишутка за ним, Сорока улетела первой. А бывший самый добрый крокодил посмотрел на них, тяжело вздохнул – ведь он остался без обеда. И поплыл обратно.

– Вот так-то, – грустно произнёс зайка Петя, когда друзья сидели на берегу. – Запомните хорошенько, нельзя верить крокодилам, даже самым добрым. И я очень сомневаюсь, что такие вообще есть.

Очень одинокая кошка

Африканская степь – саванна – кончилась. Стояли высокие деревья, по их стволам толстые зелёные лианы, как верёвки, тянулись к жаркому солнцу. Друзья шли и шли по бесконечной дорожке.

– Встретим кого-нибудь и спросим, куда она ведёт, – сказал зайчишка. И только это произнёс, на дорожку вышла кошка.

Чёрная-чёрная, без единого светлого пятнышка!

На длинных ногах, хвост высоко торчал вверх, и его кончик загибался крючком.

– Какая она красивая! – прошептал Пуфик. Сорока очень не любила кошек и громко каркнула:

– Тр-р-р! Живо отвечай, где тут обезьяны?

Кошка словно ничего не слышала, медленно переходила дорогу, ещё секунда – и навсегда исчезнет среди деревьев.

Зайка Петя скорее негромко сказал:

– Уважаемая очень красивая чёрная кошка! – Он всегда старался быть вежливым, хорошо знал: ничего не обходится так дешево и не ценится так дорого, как вежливость.

Кошка остановилась, повернула голову и взглянула на него. Зайчишка продолжал:

– Мы вам будем благодарны, если сообщите, где можно найти обезьянок...

Чёрная кошка ответила еле слышно:

– Если бы ты был поумнее, то знал бы, что я всегда гуляю сама по себе, и мне нет никакого дела до каких-то обезьян... Много-много лет тому назад, когда люди жили в пещерах, древняя женщина заманивала туда жить мою прапрабабушку – Дикую кошку. Конечно, она отказалась, и с тех пор мы, кошки, ходим, где вздумается.

Тут Пуфик набрался смелости и спросил:

– Но если вы гуляете сами по себе, то всегда одна?

– Да, я всегда одна, и это мне нравится...

Сорока слушала-слушала и не выдержала:

– Ты дур-ра! Просто дур-ра!

Кошка на неё и не взглянула, высоко поднимая лапки, медленно перешла дорожку и исчезла за деревьями.

Это, конечно, была не простая кошка, а та самая – из сказки писателя Киплинга, которая так и называется: «Кошка, гуляющая сама по себе». И сказка, и мультик по ней очень интересные.

– Это так плохо, быть всегда одной, мне её жалко, она такая несчастная, – грустно сказал Мишка-медвежуха, и с ним никто не стал спорить.

Нашли нору Бармалея?

Жарко! Мишка-медвежуха и Пуфик отдыхают в тенёчке, все лапки вверх, Сорока за деревом лежит-спит. А зайке Пете валяться некогда, решил поискать Бармалея. Где он живёт? Наверное, в земле, в глубокой норе.

Идёт, смотрит по сторонам, палкой землю ковыряет, кустики раздвигает, никакой норы не видно. Искал-искал, стало скучно, и запел, постарался погромче:

*Бармалей! Бармалей!
Вылезай поскорей!
Не боимся мы злодея,
Всё равно тебя сильнеей!*

Вот какой он герой – ничего не боится!

Пел-пел и вдруг увидел: за деревом в земле яма-нора! Большая, как раз для Бармалея! Подошел поближе, наклонился, прислушался, всё тихо, ни звука, только пахнет противно. Неужели нашёл? Вот здорово!

Долго не думал, засунул палку в нору и стал вертеть-тыкать и приговаривать:

– Вылезай, злодей! Добрался я до тебя! – А в норе... В норе что-то стукнуло-брякнуло!

И тут зайчишка испугался. Да так, что душа в пятки. Ведь одно дело песенки петь да разбойника звать, и совсем другое, когда он на тебя может выскочить! Рванулся изо всех сил и понёсся прочь, бежит, не оглядывается, только лапки мелькают да ушки болтаются. Так быстро скакал, что все рекорды побил! Скорее к друзьям, вместе ничего не страшно.

Отбежал подальше и только тогда остановился, оглянулся – никто за ним не гонится. Пошёл уже спокойно, хотя хвостик всё ещё дрожит. Увидел друзей и весело закричал:

– Хватит дрыхнуть! Идём, я нашёл Бармалея!

Возле норы они замерли, всё тихо.

– Может, вовсе и не его нора, – недовольно произнёс Пуфик. – Тут кто хочешь может жить.

Мишка-медвежуха сразу согласился.

– Пошли отсюда, мне здесь совсем не нравится.

– Как это пошли? Надо проверить, я сейчас спущусь туда, – сказал сердито зайка Петя.

– Вот Бармалей тебе обрадуется, не успеешь моргнуть, как схватит, – продолжал котёнок. – В этой чёрной яме нам с ним не справиться, надо ловить его в лесу.

Зайчишка молча подошёл к норе, заглянул туда и прислушался. И тут вдруг....

Вдруг друзья услышали какой-то тихий звук: словно звоночек зазвенел. Было так неожиданно и странно, что они мигом кинулись в кусты.

А из норы вылез ёжик! Очень большой, даже огромный!

И это был совсем не ёжик!

Его иголки не коротенькие, а длинные, лежали на спине и боках, а не торчали вверх. И ещё у него оказался хвост и на нём тоже иглы!

Сорока громко завопила:

– Бер-регись! Это непонятно-неизвестно что!

– Он вовсе не ёжик, а какая-то другая зверюга, – сказал Пуфик. – Злая и наверняка опасная.

Вот так ёжик!

Но Мишутка возразил:

– А иголки? Они ведь бывают только у ёжиков!

– Спасайтесь! – снова затрещала Сорока и взлетела на дерево.

Зайка Петя засмеялся:

– Ха-ха! Он просто много ел, вот и вырос таким! Сейчас я у него узнаю, куда ведёт дорожка! – сказал и побежал.

Ёжик и не думал сворачиваться-прятаться, молчал и глядел на них. Зайчишка тогда остановился.

– Вы пока не ходите, я один с ним поговорю, – сел и лапки сложил на груди.

– Привет, очень непонятный ёжик! Как тебя зовут? Давай будем дружить!

Но тот ничего не ответил, повернулся спиной, все иголки у него поднялись и распушились, он стал похож на большой куст без листочков...

Мишка-медвежуха скорее кинулся к другу, закричал:

– Уходи! Смотри, какие у него страшные иглы! – и схватил зайку Петю за лапку, чтобы оттащить.

Но было уже поздно – зверюга взмахнула хвостом! И длинные иголки, как стрелы, полетели прямо в них! Едва Мишутка успел загородить зайчишку, и все они попали в его густую и мокрую шерстку и застряли там. Но несколько штук досталось и зайке Пете.

Друзья хором испуганно завопили:

– Ой-ой-ой!

– Ай-ай-ай!

А непонятная зверюга мигом исчезла, как и не было её.

– Нельзя соваться к незнакомым, это тебе не котёнок, – сердито сказал Пуфик и начал выбирать из Мишуткиной шерсти иголки.

– Допрыгался, дурачок! – Сорока выдернула из зайки Пети три иголки-стрелы.

– Я хотел только спросить, а он сразу колоться, – обиженно произнёс зайчишка. – Это вовсе никакой не ёжик!

Конечно, друзья встретили не ёжика, а дикобраза, жителя тёплых стран. И ещё не самого крупного. У некоторых из них длина тела может достигать семидесяти, а хвоста – двадцати пяти сантиметров. К таким «ёжикам» лучше близко не подходить. И в то же время они относятся к отряду грызунов, питаются разными корешками. Совсем не такие, как зайчишкин знакомый ёжик Пых, тот съест мышку и облизнётся, хочет ещё.

Кто самый вкусный

Идут друзья по дорожке, смеются-разговаривают, и вдруг...

Вдруг из-за каждого дерева сразу выскочили чёрные люди-негры. И в одну минутку все были связаны и лежали на земле. Только Сороке удалось взлететь на пальму.

Пленников окружили непонятно кто. Негры смеялись от радости, только блестели белые зубы, ведь поймали такой большой обед!

– Это людоеды-звероеды! – догадался Пуфик. – Они могут нас съесть!

– Не сомневайтесь, съедим обязательно! – закричали те хором и засмеялись ещё веселее. – Вот этого мохнатого и толстого первым! Он самый вкусный!

– Я совсем не вкусный... – тихо пискнул Мишутка. Но его никто не слышал, пленников потащили в деревню.

А там на широкой улице стоял большой котёл! Под ним весело горел огромный костёр, ветки трещали, и искры летели во все стороны. Вода в котле уже кипела. Все жители деревни прыгали вокруг и громко пели:

Мы конфеток не хотим!

Шоколад мы не едим!

А едим мы всех хвостатых,

Всех мохнатых

И пузатых!

Приходите в гости к нам,

Мы вам сделаем ам-ам!

Зайка Петя скорее жалобно крикнул:

– Нас не надо есть! Мы хорошие! Всегда слушаемся маму!

Вождь племени, самый старший и самый толстый, погрозил ему пальцем.

– Не ври! Если бы вы слушались маму, то не были бы тут, а сидели дома. Ведь дедушка Корней Чуковский предупредил: не ходите, дети, в Африку гулять.

И с этими словами он взял большой нож, разрезал верёвки на лапах Мишки-медвежухи и поднял его, чтобы бросить в котёл.

Сорока стала колдуном

Но тут вдруг молодой негр сказал громко:

– Не торопись, погляди на них – они совсем не похожи на вкусных обезьянок, которых мы так любим варёными, жареными и копчёными. Если мы съедим такого мохнатого, то вдруг обростём тоже шерстью?

Людоеды-звероеды слушали, открыв рты. А он поднял Пуфика за хвост:

– Гляди, какой у него противный хвостик! Если у нас вырастут такие же? – котёнок же сразу вывернулся и зубами цапнул негра за руку.

Все так испугались, что даже отодвинулись от котла подальше, а молодой негр бросил Пуфика, схватил зайчишку за уши и тоже поднял.

– А если у нас будут такие же длинные уши? Вам это понравится?

Тут зайка Петя скорее громко закричал:

– Да-да-да! Обязательно! Если съедите нас, то сразу у всех вырастет шерсть! Хвосты и длинные уши!

– Не хотим! Не надо! – хором завопили все.

Старый вождь замахал руками.

– Мы так давно не ели горячего вкусного супчика! Это очень вредно для желудка! Надо сварить из них такой жирный суп! – и он опять поднял Мишутку, ещё секунда, и кинет его в котёл.

Но тут Сорока сорвалась с дерева и, подражая голосу крокодила Тома, крикнула изо всех сил:

– Р-р-разорву! Ноги-руки выр-рву! – и клюнула вождя в лоб!

– Ой! – тот бросил Мишку-медвежущку и упал на землю, головой почти в костёр.

Людоеды-звероеды задрожали от страха.

– Чёрный попугай! Колдун! – и бросились бежать. Вождь племени боялся встать и пополз за ними. Да так быстро, что догнал и даже перегнал.

Сорока скорее кинулась к зайке Пете и сняла верёвки с лап, а Мишутка развязал Пуфика. Пленники были свободными. Все негры спрятались в своих домиках и нос боялись высунуть.

Но рано друзья радовались. Сверху, с деревьев, на них слетели – свалились попугай! Целая огромная туча разноцветных птиц! Красных, зелёных и синих, и все горланили-надрывались:

– Чёрный попугай!

– Чёрный попугай!

Путешественники прижались к земле, не решались поднять головы. Ведь у попугаев очень твёрдые и острые клювы – могут запросто заклевать насмерть.

Через минуту стая разом взлетела и унеслась куда-то. Зайчишка первым вскочил и увидел...

Сороки не было! Попугай её утащили!

Превратился в кенгуру

– Надо спасти Сороку! – закричал зайка Петя, вынул из кармана свой волшебный пистолетик. – Не пугайтесь, сейчас что-то будет! – и выстрелил себе в лапку.

И сразу превратился в огромного кенгуру! От зайца у него остались только длинные уши и короткий хвост, зато на животе появилась большая сумка.

– Ой! – испугался Мишутка, а Пуфик громко зашипел. Но заяц-кенгуру не стал с ними разговаривать, схватил и сунул в сумку. И огромными прыжками понёсся следом за попугаями.

Мишка-медвежуха и котёнок сидели-тряслись в сумке, боялись даже рот открыть, чтобы язык не прикусить, ведь это так больно.

Скакал-скакал заяц-кенгуру, торопился и вдруг...

Вдруг снова стал маленьким!

Сумка сразу исчезла, и Мишутка вместе с Пуфиком шлёпнулись на землю.

– Почему ты опять уменьшился? – недовольно спросил Мишка-медвежуха.

– Волшебство кончилось, теперь в пистолетике остался только один патрон, – ответил зайчишка.

– Вот и выстрели ещё раз, и снова поскачем, – предложил котёнок.

Зайка Петя покачал головой и вздохнул.

– Нельзя, последний патрон нам может очень и очень пригодиться. Дальше пойдём пешком. – И друзья опять двинулись по дорожке, но очень скоро увидели: в кустах сидела и глядела на них обезьянка!

Мишутку подстригли

Они зашли в лес и оказались на большой полянке. Там было полно обезьян! Настоящее их царство! Прыгали с дерева на дерево, качались на лианах, как на верёвках, гонялись друг за другом и даже визжали-дрались. Все весёлые и здоровые, никто не болел.

Обезьянки были самые разные: большие и маленькие, с тёмной и светлой шерстью, с длинными и короткими хвостами. Ведь всего их насчитывается сто шестьдесят видов, самые маленькие – игрунки, только семь-десять сантиметров в длину, самые большие – до двух метров.

Хозяева с интересом смотрели на гостей, но не подходили близко, только один малыш с длинным хвостом подбежал, сунул Мишутке банан и скорее умчался.

– Тут все здоровые, и это очень хорошо, – сказал довольно зайка Петя. – Теперь идём быстрее искать Сороку.

Мишка-медвежуха лапкой вытер лоб и щёки, на землю даже закапала вода, так сильно вспотел.

– Очень жарко, я весь мокрый... – грустно сказал он. – Знал бы, не проился в эту Африку...

Друзья собрались уходить, как увидели удивительную картину: на ящичке сидела обезьянка с белой простышкой на груди, а другая... Другая стригла её маленькой специальной машинкой!

– Вот это да! – произнёс Пуфик. – Тут целая парикмахерская! Иди, попроси, чтобы и тебя постригли, будет не так жарко.

Как раз обезьянка соскочила с ящичка и убежала. Мишутка нерешительно подошёл к парикмахеру. Та сначала удивлённо посмотрела, потом лапой показала на ящик. Он сел, и его начали стричь.

Шерсть у Мишки-медвежухи была густая, да ещё и мокрая, машинка сразу стала застревать, и он заверещал:

– Ой-ой! Что ты делаешь? Шиплет же! – И попытался встать. Но его стукнули по голове – и замолчал. Больше и не вскакивал, понял, что бесполезно, только тихо постанывал.

А обезьянка стригла и стригла, голову и грудь, живот и спину, даже попку. Но вот закончила, сдёрнула простынку, одной лапой подняла его за шиворот, другой так шлёпнула, что тот покотился кубарем. И убежала!

Друзья так и ахнули – Мишутка весь полосатый! Выстриженный мех рядом с нетронутым! Это было очень смешно, он походил на зебру! Просто смехотушка-смехота, их друг стал полосатиком!

Пуфик громко засмеялся, а зайчишка поспешил успокоить несчастного:

– Не расстраивайся. Зато теперь тебе будет не так жарко, а мех скоро отрастёт.

Хотели укоротить ушки

Как только обезьянки увидели полосатого Мишку-медвежущку, что началось! Половина их от смеха свалилась с деревьев, лежали и держались за животики! А другая – штук сто или даже больше! – кинулась к гостям. Дёргали-щипали бедного Мишутку за шёрстку и кричали:

– Надо её всю убрать! Должен быть гладким!

Схватили Пуфика за хвост и подняли!

– Очень короткий! Надо его удлинить! Как станешь лазить по деревьям?

А одна, самая наглая, поймала зайку Петю за ушки и завопила:

– Такие длинные! Мешают прыгать! Мы их укоротим!

Неизвестно, чем бы это всё кончилось, если бы обезьянки не подрались. Началась такая свалка, что было совершенно непонятно, кто с кем воюет. В воздухе только мелькали лапы и хвосты.

Друзья скорее бежать, Пуфик поджал хвостик, зайчишка опустил ушки, спрятались за большим деревом – еле ноги унесли.

– Какие, оказывается, они хулиганы! – сердито сказал зайка Петя. – Не понравились мои прекрасные ушки!

– И мой замечательный хвостик! – поддержал котёнок. – Его так дергали, что он стал длиннее!

А Мишка-медвежущка ничего не говорил, только тяжело вздыхал. Ему всё равно было очень жарко.

– Ладно, не горюй! – сказал зайчишка и запел:

Шерсть свою не жалеи!

И гляди веселей!

Она скоро отрастёт,

Ещё станешь красивой!

Друзья вышли на дорожку и вдруг...

Вдруг услышали: кто-то бежит-несётся им навстречу! Конечно, сразу спрятались – залегли в кусты. Мало ли кто может бежать, вдруг страшный тигр!

Это был Бармалей!

Он мчался, как паровоз!

Пыхтел и гудел! От него даже шёл дым, как из трубы!

Зайка Петя выскочил из кустов.

– Стой! Ты нам и нужен!

Но куда там – злодей его и не заметил. А на дорожку выбежал слонёнок. Поднял хобот и затрубил громко-громко:

– Всё равно поймаю и выгоню из Африки! – Потом обернулся к друзьям: – Я думал, вы уже дома. Возвращайтесь скорее, с ним я сам справлюсь. – И умчался.

В царстве попугаев

Они шли и шли, а попугаев всё не было и не было. И, наконец, заметили в высоких деревьях разноцветных птиц. Приблизились и поняли: попали, куда хотели, в царство попугаев.

Сотни, а может быть, и тысячи их сидело на ветках, но Сороки не было видно. Где же она?

– Прячут вверху, – сказал Пуфик. – Вон там есть навесы, подождём, как улетят, я залезу и посмотрю.

Но зайка Петя ждать не захотел.

– Сейчас как стукну по дереву, сразу улетят! – и поднял большую палку. Котёнок испугался.

– Не надо! А если кинутся на нас? Гляди, сколько их, заклюют насмерть.

– Авось не кинутся, – легкомысленно заявил зайчишка и...

– Бах! – стукнул изо всех сил. Пуфик сразу прижался к земле, а Мишутка закрыл лапами глаза.

Это, конечно, зайка Петя поступил неправильно, ведь на «авось» надежды нет, и друзьям просто повезло, что попугаи с громким криком исчезли.

– Вот каков я молодец! Ждать ничего не надо! – он погладил себя по голове, а Пуфик грустно произнёс:

– Хвастаться очень нехорошо, – и пошёл к дереву, самому большому. Быстро залез и увидел на навесе клетку из толстых веток, она была украшена разноцветными ленточками, ясно, что для Сороки. Оглянулся: на других деревьях птиц не было. Посмотрел вниз, зайчишка и Мишутка задрали головы и ждали.

– Тут никого нет, клетка пустая, подожду, – и перебрался на соседнее дерево, спрятался в густых листьях.

Спасли Сороку

Попугаи скоро вернулись и расселись по веткам, а Сорока сразу запрыгнула на навес. Котенок вдруг увидел, что у неё появилось несколько красных перьев! Неужели превращается в попугая?

Большой зелёный вожак стаи распахнул дверцу клетки и клювом затолкнул туда Сороку.

– Как ты мне надоел! – затрещала она.

«Сорока в плену, надо её спасти», – подумал Пуфик, дождался, когда вроде бы все попугаи отвернулись, тихонько пробрался к клетке и открыл дверцу. Сорока мигом выскочила и улетела.

Но котёнка увидели, раздался громкий крик:

– Маленькая обезьяна с коротким хвостом украла колдуна!

И вся стая накинулась на него. Пуфик скорее распустил коготочки и полетел вниз. Как хорошо, что у него есть замечательный хвостик, он вытянулся как руль, котёнок упал на все свои четыре лапки и совсем не ушибся. Для того у кошек и придуманы хвостики! И это очень правильно!

А попугаи ринулись всей стаей на зайку Петю и Мишку-медвежущку. И кричали громко:

– Заклюём насмерть! Нет пощады ушастым и бесхвостым обезьянам!

Нельзя было терять ни секунды, зайчишка выхватил свой волшебный пистолетик и выстрелил. Это был последний патрон, как хорошо, что он сохранился!

Попугай сразу замолчали, закрыли клювы и расселись на ветках, а пистолетик из лапки исчез.

– Зачем вы пришли к нам? – спросил толстый зелёный вожак стаи.

– Чёрный попугай – наш друг, вы силой держите его в клетке, – ответил зайка Петя.

Тут несколько попугаев закричали:

– Он колдун! Приносит нам удачу!

Вожак замахал крыльями и тоже крикнул:

– Тихо! Мы не можем удерживать колдуна силой. Пусть сам решает, остаётся или нет.

Сорока сразу выскочила из-за Мишутки, там пряталась.

– Чего захотели! Не останусь, вы мне надоели. Если будете мешать, всех превращу в жуков!

Вся стая жалобно застонала, замахала крыльями, а зайчишка громко прошептал:

– Бежим скорее, пока волшебная сила пистолетика не кончилась. – И друзья понеслись со всех лап-ног, спрятались за кустами, но никто не пытался их задержать. Сорока летела и рассказывала, хвасталась:

– Как хорошо я там жила! Меня кормили с утра до вечера разными вкусными червячками и жуками, пила только нектар. И три раза в день купалась в холодной водичке!

– Ах! – перебил Мишка-медвежуха. – Мне бы хоть разок так искупаться...

Зайка Петя поглядел на них и засмеялся:

– Подумай, что говоришь, глупая птица! Неужели хочешь жить в клетке? Променять свободу на червячков?

Сорока в ответ затрещала ещё громче:

– Нет! Дома всегда лучше! Хотя вы все мне тоже надоели!

А Пуфик молчал-молчал и сказал грустно:

– Домой... Очень хочу домой...

Тут зайчишка подпрыгнул высоко-высоко и запел громко-громко:

Попугай-попугайчики!

Хитрее вас зайчики!

Не сердитесь на нас,

Мы дадим вам ананас!

Пуфик засмеялся:

– Где его возьмёшь? Зачем зря обещать?

– В Африке всё есть! – весело ответил зайка Петя. – Надо только поискать!

– Верно, вот он! – закричал Мишутка, все оглянулись и увидели: под пальмой лежал огромный ананас!

Он был большой, с тёмно-зелёной рубчатой шкуркой, и очень походил на того самого крокодила, который, хоть и недолго, но был самым добрым крокодилком во всей Африке.

– Попугай, это вам! – снова весело крикнул зайчишка.

Ешьте, кусайте,

Только клювы не ломайте!

Остаться в Африке навсегда

Мишутка сел на невысокий холмик, вытер со лба пот.

– Всё! Хватит с меня этой парилки! Больше не могу! Слононок сам поймает и выгонит отсюда Бармалея! Он такой сильный!

– Прравильно! – сразу затрещала Сорока. – Скорее домой!

Зайчишка не стал спорить, ему самому так хотелось скорее вернуться, ведь и слонёнок велел...

– Ладно, согласен, возвращаемся. Садимся, закрываем глаза и думаем о доме.

И они уселись рядышком, закрыли глаза и стали вспоминать-думать о самом дорогом. Было тихо, ветерок не шумел в листьях, не кричали птицы, и зайка Петя осторожно открыл глазки – сейчас он увидит любимую полянку, зелёные ёлочки и сосёночки....

Но нет – здесь всё так же стояли высокие пальмы! Значит... значит, они остались в Африке! Не вернулись домой!

– Мама! Мамочка! – рядом завопил Мишутка. – Где ты? – упал на траву и заплакал горько-горько.

А Пуфик... Котёнок решил его подразнить и сказал спокойно:

– Реви – не реви, теперь мы остались в Африке навсегда!

Сорока даже подпрыгнула:

– Ещё чего! Оставайся сам, если хочешь! А меня живо отправляйте домой!

Зайчишка молча смотрел то на друзей, то вокруг, не знал, что и сказать. Не мог поверить, что им не вернуться.

Мишка-медвежухка лежал на спине, махал лапами и рыдал:

– Я соскучился по маминым пирожкам!

– Пирожок! Тоже хочу пирожок! – гаркнула Сорока.

Пуфик насмешливо глядел на них.

– О пирожках забудьте! Станете теперь есть только бананы! Я придумал: чтобы попасть домой, надо организовать цирк!

Зайка Петя очень удивился:

– Какой цирк? О чём ты?

– Пойдём к реке Лимпопо и станем ждать корабль, который увезёт нас. Вместо платы за билеты начнём давать представления. Мишутке наденем на шею цепь, будет кувыркаться и сосать лапу. А Сорока прыгать вокруг и махать хвостом...

Такие слова спокойно слушать Сорока, конечно, не могла и страшно рассердилась.

– Сам прыгай и махай хвостом! Пока я его не оторвала! Вы меня обманули! Заманили! Верните немедленно! Ничего не знаю!

Зайчишка рассердился ещё больше.

– Пуфик! Сейчас же перестань их дразнить и замолчи! Пошли к реке, ведь мы из дома попали туда, наверное, и вернуться можно только с того самого места!

У Мишки-медвежухки слёзки на глазах сразу высохли.

– Тогда чего ждём? Бежим скорее! – вскочил и первым потопал по дорожке.

Поймали злодея!

И друзья за ним следом. Прошли совсем немного, и зайка Петя остановился.

– Всё-таки жалко, что мы не поймали Бармалея...

– Зачем он нам нужен? – возразил Мишутка. – Поскорее бы попасть домой, а его слонёнок выгонит...

А Пуфик добавил:

– Испугался нас и прячется где-нибудь в норе или убежал на другой конец Африки.

Сорока слушала-слушала их и закричала во всё своё сорочье горло:

Бармалей! Бармалей!

Убирайся поскорей!

– Правильно! – сказал зайчишка и запел:

Гадкий, гадкий Бармалей!

Не пугай ты детей!

Не боимся мы тебя,

Бармалея мы сильнее!

И тут...

Тут вдруг сверху...

С дерева на них свалилась сетка!

Большая и прочная!

Друзья упали на землю, и зайка Петя сразу крикнул:

– Не шевелиться! Лежать тихо, а то запутаемся!

Все сразу поджали лапки и замерли. А с дерева спрыгнул Бармалей!

Спрыгнул и радостно завопил:

Карабас! Карабас!

Пообедаю сейчас!

Волосы на голове у него торчали, как щётка! Длинные жёлтые зубы блестели!

Хотя друзья и помнили слова крокодила Тома, что он никого никогда не съел, всё равно было очень страшно. Они лежали под сеткой и боялись пошевелиться. Бармалей прыгал вокруг на своих коротких ножках – и криках! – смеялся от радости и махал руками. Он прыгал, а зайка Петя очень осторожно и медленно высунул из-под края сетки сначала одну лапку, потом другую и вылез весь. А за ним за брюхе выползла Сорока! И сразу завопила:

– Я тебе покажу, лохматик! – бросилась на Бармалея, вцепилась ему в волосы и...

И взлетела вместе с ними!

На злодее был парик!

Страшный и ужасный разбойник оказался лысым!

Его голова блестела на солнышке, как гладкий белый шар!

На ней не было ни одного волоска! Даже самого маленького!

– Лысик! Он лысик! – в восторге заорала Сорока.

– Ай! – Бармалей шлёпнулся на траву и руками скорее закрыл голову.

– Лысик-лысик Бармалей! – сразу подхватил зайчишка и сдёрнул сетку с Мишутки и Пуфика. И набросил на злодея! Вот ведь какой молодец! Тот и понять ничего не успел, как оказался пойманным!

Стал махать руками и ногами, совсем запутался, громко орал и ругался. Зайка Петя, Мишка-медвежуха и котёнок быстро завернули его в сетку.

– Попался, который кусался! – зайчишка даже пнул Бармалея. – Теперь не станешь пугать детей!

– Р-р-р! – зарычал тот от злости, открыл рот и хотел укусить его лапку.
Тут Мишутка тоже пнул злодея ниже спины.

– Не смей кусаться!

– Р-р... – снова начал было злодей, но от рычания у него изо рта выскочили зубы! Лежали на траве длинные и жёлтые, вставная пластмассовая челюсть!

Бармалей скорее схватил её и засунул обратно в рот, но кричать и рычать уже боялся, только злобно сверкал глазами. Пуфик смотрел-смотрел на него и задумчиво произнёс:

– Может, и глаза у него тоже не настоящие?

– Сейчас проверим! – Мишка-медвежуха с удовольствием стукнул злодея по затылку. – Гляди, сейчас тоже выскочат!

Стукнул так сильно, что тот сунулся носом в землю, но глаза остались, где были.

А зайка Петя весело запел:

*Мы поймали Бармалея!
И злодея мы сильнее!
Гадкий лысик Бармалей...*

И Мишутка подхватил:

*И беззубый,
И безглазый...*

Пуфик возразил:

– Глаза у него пока на месте!

Мишка-медвежуха махнул лапкой.

– Стукну ещё разок, и выскочат! – и продолжал петь.

*И беззубый,
И безглазый,
Убирайся поскорей!*

Тут и Сорока подключилась:

*Из Африки! Из Африки!
И не пугай детей!*

Зайчишка серьёзно произнёс:

– Надо его скорее отдать, – приложил лапки ко рту и позвал: – Слонёнок!
Иди быстрее сюда! Мы поймали Бармалея!

Вот и дома

Очень обрадовался слонёнок, когда увидел злодея в сетке.

– Вы, ребята, молодцы! Как сумели его так запутать?

Зайка Петя важно сказал:

– Запросто! От нас не спрячешься.

А Пуфик насмешливо добавил:

– Сначала он всех чуть этой сеткой не заловил, едва спаслись. И нечего тут хвастаться.

Мишка-медвежуха тоже не промолчал:

– Не только лысый, у него и зубов нету, челюсть выпала.

И Сорока, Сорока скорее закричала:

– Дай ему по затылку сильнее, глаза стеклянные тоже вылетят!

Слонёнок хоботом поднял Бармалея.

– Сейчас отправим его из Африки. Унесём к реке Лимпопо, посадим в лодку, и пусть плывёт. Какой-нибудь корабль подберёт и увезёт далеко, в другую страну. Тогда поуменеет, не будет пугать детей.

Зайчишка обрадовался, да так, что даже подпрыгнул.

– Нам тоже надо к Лимпопо! Пошли скорее!

Друзья сидели на спине у слонёнка и были очень довольны, ведь такое не каждому удаётся. Сорока летела рядом и кричала громко:

– Поехали! Поехали!

Бармалей в сетке только злобно шипел, но говорить боялся: вдруг зубы потеряет.

На берегу реки Лимпопо всё было, как прежде: стоял по уши в воде бегемот Вася, увидел знакомых, высунул свою огромную голову и заулыбался. А Василёк у него на спине запрыгал от радости и замахал лапками, чуть не свалился.

– Привет! – крикнул им зайчишка. – Это мы пришли! И до следующей встречи, нам пора домой!

Они положили Бармалея в лодку и оттолкнули от берега, та медленно поплыла.

– Вот и всё, – довольно сказал слонёнок. – Спасибо вам, мы избавились от злодея. Говорите всем: нет больше в Африке Бармалея. Пусть приходят сюда к нам в гости!

Прощался с друзьями и убежал, а они сели рядом и зажмурились крепко-крепко. Все молчали, даже Сорока. Что-то будет, получится ли вернуться...

– Сидим тихо! – скомандовал зайчишка. – Думаем о нашей полянке, о наших ёлочках...

Через минутку открыл один глазик и увидел...

Ура! Любимую полянку! Сидели на своей скамейке, вверху светило родное солнышко, не огненно-жаркое, а тёплое и ласковое, словно гладило ладошкой по голове.

– Дома! – закричал рядом Мишутка. – Наконец-то дома! – Он теперь был не пёстро-полосатым, а, как и раньше, одинаково ровно мохнатым.

– Вернулись! – сказал Пуфик. – А я уже боялся, что останемся там.

Сорока запрыгала и затрещала:

– Дур-рачки! Зачем придумали эту Африку! Сами не знаете!

И вот что интересно: они пробыли там долго, а здесь, дома, прошло всего несколько минут, их никто и не потерял.

Потом друзья отправились в гости к Мишке-медвежухе, на горячие пирожки с малиной. Зайка Петя шёл впереди, громко пел:

*Маленькие дети!
Миленькие дети!
Приходите смело
В Африку гулять!
Там на чёрной Лимпопо
Живёт Вася-гиппо!
Очень добрый бегемот,
Широко открывает рот
Сразу песенку споёт!
И не бойтесь Бармалея,
Нету, нету там злодея!
Мы его прогнали!*

– Теперь больше ни в какую Африку меня даже бочкой мёда не заманишь, дома лучше! – сказал Мишутка. И все с ним согласились.

Вот какое удивительное путешествие совершили они в волшебную страну своих любимых сказок и мультфильмов!

Марина СИЛИНА

ОДИНОЧЕСТВО

В дремучей темноте скиталось и маялось Одиночество. Тосковало и завывало с февральским ветром в печных и вентиляционных трубах, скулило в будке вместе с собакой на цепи, драло горло с ополоумевшим котом – искало того, кто ему обрадуется. Но никто ему не был рад: ветер, услышавший чужое подвыванье, стихал, а в одиночку выть даже и Одиночеству несподручно. Собака, радостно звеня цепью, набрасывалась на косточку, положенную ей в миску заботливым хозяином. К коту на крышу выходила большая красивая кошка, и они горланили свои песни уже вдвоём.

Одиночество никому не приносило радости. Было оно бесполом и возраста не имело. Подходило как мужчине, так и женщине. Как взрослому, так и ребёнку. Поэтому, разочаровавшись в поисках своего счастья среди животных, Одиночество пошло «в люди». Бродило по улицам, пытаясь отыскать пристанище в чьей-нибудь душе. Прижимаясь то к мужчинам, то к женщинам, пыталось угадать их мысли: будут ли они ему рады? Пробовало погрустить рядом с маленькой девочкой, которая ждала кого-то у окна, вздыхала, чуть не плача. И дождалась! Папа и мама пришли за ней в садик вместе. Сообщили девочке радостную весть, и от грусти у неё и следа не осталось. «В цирк! В цирк!» – радостно кричала малышка и, взяв родителей за руки, беззаботно прыгала между ними, как весёлый мячик! Одиночество было спокойным и добрым существом, поэтому только тихо порадовалось за девочку. Оно долго тащилось за ними по пятам, но, дойдя до цирка, устало приземлилось на широких ступенях.

Никто не обращал на него внимания. И тогда, отчаявшись, полетело Одиночество с попутным ветром куда глаза глядят. Изредка останавливалось, прислушиваясь к голосам, к мыслям людей. Задумавшись, незаметно оказалось на листочке, чудом сохранившемся на дереве.

А листочек, будто дождавшись его, спикировал вниз. Ветер подхватил их обоих и стремительно понёс вперёд. «Я лечу! – орало Одиночество во всё горло. – У меня крылья за спиной!»

Но ветер, разозлившись на него за такую самоуверенность, отбросил его как можно дальше, а листок впечатал со всей силой в снег.

Пролетая над человеком, Одиночество слышало слова, слетевшие с его губ:

– Вот и я такой же одинокий и никому ненужный, как этот листок...

– И я! И я! И мне одиноко! – пыталось догнать человека Одиночество, но мстительный ветер отшвыривал его назад. Спасло огромное дерево во дворе дома, куда зашёл человек.

Когда ветер стих, поднялось Одиночество туда, на пятый этаж, где только что в окне загорелся свет, и притулилось на карнизе за окном, размышляя: «Войти? Не войти?»

Человек понуро сидел в кресле, нервно курил сигарету, кашлял, отбрасывал её, затем начинал новую и снова отбрасывал. Потом долго сидел неподвижно, бессмысленно глядя куда-то в пустоту.

Вдруг какая-то перемена произошла с ним: лицо посветлело, глаза засияли особым радостным светом, – человек схватил бумагу, ручку и начал что-то лихорадочно записывать.

«Вот и здесь я оказалось лишним», – печально подумало Одиночество, отстраняясь от окна.

– Ошибаешься! Я нуждаюсь в тебе! – эти слова, не столько услышанные, сколько внутренне почувствованные, заставили радостно затрепетать. Рядом волнующе и притягательно ощущалось чьё-то присутствие.

– Ты кто? И зачем я тебе? – всё ещё не веря услышанному, осторожно спросило Одиночество.

– Я – Вдохновение! А без тебя и я порою не в силах помочь ему!

– Кому?

– Поэту! Ему нужны мы оба! Да-да! – с этими словами Вдохновение легко подхватило Одиночество и впорхнуло в комнату.

На полу валялось много бумаги, а человек продолжал что-то беспрерывно писать.

Изредка он вскакивал, ходил с волнением по комнате, что-то бормоча, затем радостно восклицал, снова садился в кресло, снова писал. Но вот поэт поставил жирную точку, отбросил ручку и бумагу и с блаженной улыбкой откинулся на спинку кресла.

– Смотри, что мы можем сделать вместе! А в одиночку мне не пробиться к нему! – прошептало тихо Вдохновение. – Летим дальше!

– Почему? Мы ему не нужны?

– Мы к нему ещё вернёмся: пусть он отдохнёт. Мы нужны и другим людям!

Взявшись за руки, они полетели над городом, и уже никакой ветер не мог разбить их порознь.

За один только вечер Одиночество и Вдохновение побывали во многих домах: у музыканта и художника, у студента, пишущего дипломную работу, и у повара, приготовившего новое блюдо! Помогли учительнице в составлении плана на урок, и механику, который вдруг сразу обнаружил причину поломки машины!

Пришли они на помощь и к швее. Сидя над отрезом ткани, она не могла придумать, что из него сшить. Рядом суетились дочки, не давая ей сосредоточиться. Но, как только Вдохновение с Одиночеством приблизились к ней, девочек неожиданно подхватил на руки отец и вышел с ними в соседнюю комнату. А женщина, ощутив присутствие Вдохновения, быстро набросала на бумаге нужный фасон и уверенно начала кроить ткань.

Вдохновение расцеловало Одиночество, а оно засияло от непривычной нежности. Испытали они и гордость друг другом, когда буквально через двадцать минут увидели молодую женщину в новом, наскоро собранном платье. В комнату влетели малышки, за ними – их отец, и остановились. Счастье, любовь и восторг читались в восхищённых глазах.

– Летим! Летим дальше! Дальше! Как хорошо быть кому-то нужным! – нетерпеливо кричало Одиночество, а Вдохновение вторило ему радостным эхом.

В объятиях тёплого ветра они неслись над землёй навстречу новой и, оказывается, непостижимо интересной, замечательной жизни!

2013 г.

СКАЗКА О ЛЕТНЕМ ВЕТРЕ

В одном маленьком городе жил-был ветер. Он всегда был ласковый и нежный и даже зимой умудрялся дунуть теплом в лица прохожих. Не любили его за это злые леденящие ветры. Зато летом он чувствовал себя настоящим хозяином и наслаждался своим правом, как мог. Нежно и мягко обволакивая деревья, шелестел их листвой, нашёптывая про далёкие страны, напивался сам свежестью и прохладой и уносился в ночь, влетал в раскрытые настежь окна домов, даря людям аромат летней ночи, убаюкивал детей, принося им розовые сны. Люди были рады ему всегда, а он старался вовремя пригнать тучку одну-другую, полить вовремя цветы, деревья, воздух влагой летнего дождя напитать. Легко справлялся ветер со своими обязанностями, но однажды...

Однажды он, виды видавший ветер, был крайне удивлён тем, что люди среди лета привезли саженцы, хрупкие и беззащитные, посадили их в землю и уехали. Поначалу школьники бегали – поливали их, но самую малость. Машина приходила пару раз, обдавая маленькие деревья тёплой водой перед восходом солнца. На том поливка закончилась. А в городе начались засуха и нестерпимая жара. Трава, скошенная за несколько дней до начала жары, забыла, что она – трава: высохшая до желтизны, она тихо грустила на газонах, придавая улицам жалкий, выцветший и унылый вид.

Пролетая над центральной площадью, ветер давно заметил саженцы. После посадки в землю первые два дня деревца трепетали нежными листочками, приветствуя ветерок. А потом им стало тяжело: корни искали влагу, но земля была сухая. Ветер не в силах был помочь им: сам, ослабевший от жары, он перемещал с места на место только зной палящего солнца, поэтому и уединился в тени пятиэтажных домов, поднимаясь из своего укрытия ночью.

Повезло лишь молоденькому клёну с его пятипалыми листочками, будто детскими ладонями. По вечерам его поливала старательная девчушка с длинной русой косой. Трогая его листочки, будто здороваясь, она загадочно улыбалась, и клён был ей благодарен за каждую каплю воды. За ночь его корни полностью впитывали в себя влагу. Именно поэтому он так быстро породнился с землёй. Мысленно он потом не раз вспоминал и благодарил свою спасительницу, которая вовремя помогла ему.

Окончательно окрепнув и оглядевшись вокруг, клён заметил тоненькую берёзку, шелестящую засыхающими от зноя листьями. Ему было бы гораздо веселее, если бы и берёзка вот так же весело, как и он, зазеленела рядом. Но увы... Тот, кто посадил это хрупкое деревце, тут же напрочь забыл о его существовании. Вот и решил клён сам для себя: его спасли добрые руки, и он должен кого-то спасти. И стал он заслонять своей кудрявой кроной её корни. Нежно и трепетно тянул к ней свои листочки-ладошки. Видя, как чахнет и погибает берёзка, просил ветер пригнать какую-нибудь тучку, пытался дотянуться своими веточками до прохожих. «Пожалейте», – шелестело деревце. Но прохожие шли мимо по своим делам. Кто-то, изредка кидая взгляд, проговаривал: «Надо же! Высадили же! В такую жару?!» А маленькая берёзка засыхала: её листочки в форме сердечек стали безжизненными, как и трава вокруг.

Слабый задумчивый ветерок, прилетающий к ним по вечерам, боялся даже дунуть на полусухие листочки. Под утро выпадала роса, и всем было понятно, что и сегодня дождя не будет. Тогда клён с помощью ветерка стряхивал росу со своей кудрявой головы на берёзку, и, хотя её это не спасало,

она благодарно склонялась в ответ. И клён понимал, что его соседка жива, что не убила её жара.

Так прошло недели две. За это время от постоянной заботы о подружке клён подтянулся – подрос, крона его раскудрявилась, и он с радостью заметил, что и тень от него стала больше. Тогда с ещё большим старанием и вдохновением старался он защитить корни своей соседки от палящих лучей полуденного солнца.

Ветер не раз пытался пригнать хотя бы одну тучку в город. Напрасно. В самый последний момент она неожиданно уворачивалась, сбегала. От зноя и он, в конце концов, обессилел и затих в тени домов, только бы не видеть погибающие маленькие саженцы.

А дождь пришёл совсем неожиданно, когда его уже никто не ждал. Сначала слабой моросящей поступью вошёл он в город ранним утром, но его капли, высыхая в воздухе, не долетали до земли. Дождь прибавил свой шаг: всё живое непроизвольно сделало глубокий вдох. Тогда, будто расщедрившись, решил поиграть с цветами, которые даже лепестки свои не свернули, – так были ему рады. А он потанцевал на клумбах, чуточку сбрызнул колючую траву на газонах да и собрался было уйти.

Только ветер, внимательно наблюдавший за дождиком, помешал ему, вернее сказать, помешал уйти долгожданной тучке, которая чудом забрела сюда из-за реки. Откуда у него и силы взялись, но только развернул её назад в город. Загрохотала, заурчала она недовольно, разобиделась, разревелась по-настоящему. Крупные капли застучали по тротуарам, по крышам домов. Тут же, откуда ни возмись, будто на подкрепление плаксе, примчались две огромные тучи. Стали они спрашивать подружку, отчего плачет она так горько. Стала она жаловаться на ветра-проказника.

Рассвирепели тучи, стали ветер искать. Да только он-то знал, где ему укрыться: были у него потайные места. Тучи разворачиваются, толкают друг друга, ещё больше гремят и злятся, ещё больше проливают воды – уже не дождь, а ливень разразился над городом. Что тут началось! Земля знай влагу впитывает, деревья, большие и маленькие, чуть не в ладоши хлопают своими листочками. Трава приободрилась: колючки её размочило дождём. А люди-то! Люди! Бегут кто куда: врассыпную. Что люди? Машины по дорогам не едут – плывут. Вот ведь как бывает!

Увидел ветер, что творится на улицах, вылетел из своего укрытия и стал прогонять грохочущую семейку из города. Да, не тут-то было! Тучищи лохматые решили прижать его со всех сторон. Только кто же воздух-то может сжать? Ветер между тучами проскальзывает, а они ударяются друг об друга, молнии высекают, стонут, режут. Так два часа гоняли тучи ветер. Или ветер тучи гонял? Казалось, никогда это не кончится. Но первой успокоилась тучка-малышка: лицом посветлела-повеселела. И тучи лохматые попритихли, легче стали: вода-то почти вся на город ливнем вылилась из них. Тут и ветер смог их, наконец-то, прогнать из города.

А как прогнал, тут же к друзьям своим прилетел: клёну да берёзке. Живы ли? Не поломало ли их нежные стволы ливнем? Нет! И здесь клён берёзке опорой стал: сломаться ей, хрупкой, не дал, пышной кроною защитил. Обрадовался ветер, полетел над городом, обласкал деревья и цветы. Расправились они умытые дождём, стряхнули с себя лишние капли воды. Выглянуло солнце, и радуга широким ярким семицветным мостом над всем городом раскинулась.

От радости ветер по ней прокатился и стал вдруг зелёно-красно-фиолетовым. На крыше дома посидел, ногами цветными поболтал. Вниз к

прохожим спустился, какому-то малышу жёлтый воздушный шарик в зелёный цвет перекрасил, волосы девчонкам причесал, лёгкие прядки дыбом поднял. Ветер же! Что тут скажешь? Никакой другой ветер на такое не способен, только летний...

А друзья его, маленькие саженцы, выжили. Зазеленела на газонах трава, да такая сочная и мягкая выросла, что ветер полюбил лежать на ней, сказки молоденьким деревцам рассказывать про море и дальние страны.

2013 г.

ПЕНЬ

Раскидистые ветви деревьев в полупоклоне над тротуаром касались друг друга, образуя настоящую арку, которая летом всегда спасала прохожих от жары и ослепительно-яркого солнца, в холодные дни – от ветра, а зимой – ещё и от снега и колючего холода.

Но когда сюда приходила весна, начиналось настоящее блаженство! Улица за несколько дней превращалась в цветущий сад! Яблони-невесты в праздничных платьях стояли вдоль центральной улицы, дружно переплетаясь ветвями над тротуарами, демонстрируя любимым горожанам свой самый лучший наряд! Отстояв в нём чуть больше недели, они сыпали свой цвет на головы прохожих. А те, поднимая вверх лица, с грустью отмечали, что вот и в этот раз не насладились, как следует, цветением весны, и твёрдо обещали себе исправиться на будущий год. Яблони будто верили им, понимая кивали и, склоняясь, продолжали сыпать вслед вечно спешащим людям нежные розовато-белые лепестки...

За яблоней тут же зацветала яркая, солнечная акация, навевая свой аромат, неповторимый и загадочный. Чуть позже она выдавала развлечение для ребятишек, которые срывали только что появившиеся после цветения стручки, делая из них свистки, издававшие то ли свист, то ли писк, знакомый всем взрослым с детства.

– Надо же, – говорили они, – уже и акация отцвела...

Акация и потом, в июле, старалась обратить на себя внимание треском созревающих стручков и осыпающихся семян. Бывало, слышит прохожий этот треск, вроде и испугается поначалу. Оглянется в недоумении, потом только до него дойдёт: «Акация созрела!»

А липы?! Стройные красавицы: все как на подбор изящные, гладкоствольные и высокие. Они росли почти в самом начале улицы. Их медовый запах привлекал к себе не только множество пчёл. Особо чувствительные прохожие резко прерывали свой постоянный бег, останавливались, будто удивлённые приятной новостью, и произвольно делали несколько шагов назад: туда, где слабый июльский ветерок напоминал им о лете, даря один из самых сладостных, самых нежных его ароматов.

Не за горами была и осень. Какие краски находила она для своих любимцев! Где ещё так щедро могла применить свои способности, как не на деревьях?! Расцветивала каждый листочек по-особому: от нежного золота до тёмно-вишнёвого цвета – все краски были в её распоряжении!

Потом приходил листопад. И листья сыпались, сыпались на землю, укрывая собой тротуары, дороги ярким ковром. Догоняя прохожих, летели им под ноги. Люди грустно и задумчиво шуршали разноцветием, будто пытаясь найти под ним солнечное лето, присаживались на скамейки, ещё согретые тёплым солнцем. Вынимали из волос, снимали с одежды зацепив-

шихся маленьких бесстрашных паучков и пускали пикировать их дальше по тёплому воздуху бабьего лета.

Приходила зима. Казалось бы, скучное и унылое время года? Нет же! И тут деревья не были обижены матушкой-зимой! Не только снежки и санки детишкам! Накануне – оттепель. Ребята в снегу валяются, в снежки играют, за деревья прячутся! Сколько раз такие снежки попадали и в деревья...

– Бац! Бабах!

– Что это?

Смех, визг, веселье, а наутро деревья склоняются в подмороженном за ночь воздухе в роскошном наряде инея – все ослепительно красивые. Где ещё найти такой вот наряд!? Разве что невеста или яблоневый сад могут претендовать на первенство! Но сколько надо невест! А яблонь? А тут каждая веточка, каждая уснувшая маленькая почка, каждый оставшийся зимовать на ветке листочек не остался без внимания зимы. Да что деревья? Травинки-былинки – и те, словно королевы в зимней сказке!

– Ой! Да, что же это такое? – пень, стоящий рядом с тротуаром, открыл, наконец-то, глаза и ахнул. Да, действительно, была зима, была оттепель, дети играли в снежки! Но где деревья? Родные и такие до боли знакомые: он их только что видел! Видел?

– Да-да, – грустно размышлял он, получив без особой радости очередной снежок. – А то, что я видел – стало быть, снова сон...

– Смотрите! Смотрите! Ёжик плачет! – воскликнула маленькая девочка, и ватага ребятишек тут же окружила пень плотной стеной.

– Да, не-е-ет. Это снег тает, – разочарованно протянул курносый кареглазый мальчишка.

– А о каком они еже-то? – разволновался пень, – Это они обо мне, что ли?

Тут подошла учительница, и дети пошли дальше. А пень стал вспоминать: что же произошло? Куда делись деревья? И вспомнил! Вспомнил, как срубили их уже давно: весны три или четыре с тех пор миновало...

Вспомнил, как с утра до вечера, надсажаясь, визжали истошно пилы, как от них, въедливых, со всех деревьев в феврале падали на землю огромные ветви. Они падали, а прохожие боялись даже наступить на них, как на живых, потому что у многих из спиленных ветвей почему-то полопались почки, и маленькие клейкие нежные листочки яркими зелёными пятнышками пестрели на снегу, будто, проснувшись, спрашивали всё тех же прохожих: «Что это с нами?» Над ними стояли деревья, вернее, то, что осталось от них: голые стволы. Из их открытых ран сочился, стекал и капал-капал на землю последний сок. И зима не бралась морозить эти последние слёзы...

Вспомнил пень, как пришли потом трактора, выкорчёвывая остатки деревьев с корнями. Но когда дошла очередь и до него, рабочие ушли на обед. Остался один молодой человек. Был он на все руки мастер. Вот и решил, видимо, забавы ради показать своё искусство. Пока все отдыхали, он выпилил ежа! Да-да! И даже пипочку на носу! Забавную такую! Все ещё смеялись! Тогда же и подкрасили её в чёрный цвет. Тут один из рабочих сказал:

– А что, в этом что-то есть! Можно оставить, как память о том, какие здесь деревья огромные росли!

И оставили...

...С тех самых пор так и грустит одиноко ёж-пень на центральной улице, как живой свидетель прошлого, как память о городе-парке.

2014 г.

ДЕСЯТАЯ МУЗА

Наталья СЕЗЕВА

«Деревенские бывальщины» Михаила Захарова

«Бывалка, бывальщина, былица, былина, былль – что было, случилось, рассказ не вымышленный, а правдивый; старина; иногда вымысел, но быточный, несказочный. Бывальщину слушать лучше сказки»

Владимир Даль

«Я привык претворять в образы, в поэзию все, что меня радует, печалит и мучит. Все мои произведения – фрагменты одной большой исповеди»

И.В. Гете

В октябре – ноябре 2015 года в Тюменском музее изобразительных искусств была организована персональная выставка Михаила Захарова «По небу лодка плыла. Легенды и были седого Иртыша». В экспозицию вошли живописные и графические произведения последних лет. Наряду с пейзажами и портретами впервые в полном объеме были показаны тематические картины из серий «Брошенная деревня» и «Деревенские бывальщины». В ткань выставочного пространства вводились, органично дополняя друг друга, предметы сибирского крестьянского быта: лодка-долбенка и самодельные приспособления для ловли рыбы и птиц, пестротканые половики, берестяные туеса, корзины, короба, корчаги, домотканые вышитые полотенца, резные и расписные прялки из фондов ГАУК ТО «Музейный комплекс им. И.Я. Слоцова» и Уватского краеведческого музея «Легенды седого Иртыша». Выставочный проект посвящался двум юбилейным датам – 90-летию Уватского района и 70-летию со дня рождения художника.

Наиболее полно на выставке был представлен новый цикл работ Михаила Захарова – картины-притчи, картины-были, картины-воспоминания. Все они носят исповедальный характер, написаны на основе воспоминаний детства. Собственно, любое искусство есть всегда в той или иной мере «поиски утраченного времени». «С годами, видимо, острее возникает потребность возвращаться в прошлое, – пишет в своей автобиографической повести «Ягин Яр» художник. – И где-то бродит память в потемках времени, уже как бы на ощупь прикасаясь к дорогим образам и не узнавая их. И лица, и события едва угадываются через пленку тех осенних дождей, из того окна в далекое прошлое». Влечет «колодец времени» Михаила Захарова. Его «Деревенские бывальщины» – мозаика разных сюжетов, словно бы вставленных в одну раму. Альбом воспоминаний? Первое, самое сокровенное и личное – детство в отчем доме, в родной деревне Березовка на берегу реки Выя, одной из многочисленных притоков Иртыша, затерявшейся среди болот, озер, таежных лесов...

Детство художника прошло в заповедном озерном, речном Уватском крае, в глухой сибирской деревне Березовка, «в окружении еще почти нетронутого уклада бревенчатого крестьянского дома, наполненного рукотворными предметами народного быта». Это во многом и определило, по мысли художника, «его видение окружающего мира». Впечатления детских лет, столь важные для любого художника, для Захарова имели несравнимое ни с чем значение.

Они навсегда сохранились в памяти художника, слившись с глубоким, проникновенным чувством природы. Спустя десятилетия, эти образы обрели свободу, присущую воспоминаниям и вообще духовному миру, но сохранили поразительную жизненность и точность деталей, а в их непосредственности и чистоте как бы продолжало жить детство. «Картины написаны за последние пять лет, а задуманы давно, некоторым эскизам – лет по двадцать, – делится своими мыслями художник. – У меня много незаконченных работ. Я просто открываю папку, вспоминаю – и пишу. Не писать не могу...». Его память обладает способностью рождать из своих глубин поразительно яркие образы. Во всей колоритности «ожили» отчий дом, мир, в котором прошло его детство, который был скреплен родственными связями и хранил традиционный сибирский уклад. В серии картин-воспоминаний художник воссоздал «портрет» (образ) сибирской природы Уватского края во всем своем многообразии. Обширные пространства озер и рек, песчаные дюны, хвойные таежные леса, нескончаемые просторы болот и островки земли, покрытые, как мягким ковром, мхом, пушицей и усыпанные северными ягодами, населяют животные, птицы и множество духов. На этом фоне главные «герои» картин художника охотятся, «гоят» рыбу, плывут в лодке-долбленке по реке, собирают на островках, устланных густым ковром мха и пушицы, таежные ягоды: чернику, бруснику, морошку, клюкву. Быт предстает во всей своей достоверности. Населяет свою волшебную землю автор не только людьми, но и другими многочисленными обитателями тайги: тетеревами, гагарами, свиристелями, дятлами, глухарями, чайками, утками... Образный язык художник подробен и описателен... Из века в век, из поколения в поколение жизнь жителей глухой сибирской деревни протекала в ритме дыхания реки и ее притоков, а также в гармонии с лесом, тайгой и ее обитателями. Поэтому не случайно художник обращается к традиционным сюжетам рыбной ловли или охоты на медведя. Эти жанровые сцены ассоциативно несут в себе важность ритуала. На фоне зубчатого пихтового леса, гор, холмов, луга с пасущейся лошадкой фигуры людей полны жизни и вместе с тем существуют как бы вне конкретного времени и пространства. В картинах «Лучение рыбы» (2014) и «Иван да Никон добыли медведя» (2013) художник парадоксальным образом трансформировал иконные и лубочные сюжеты и мотивы.

Из своего детства, проведенного в сибирской деревне, в среде охотников и рыбаков, художник вынес не просто любовь к животным, птицам, рыбам. Захаровские коровы, медведи, петухи, лошади, собаки, кошки, рыбы, птицы в своей жизненности и одновременно мифологичности кажутся прямым продолжением народной традиции.

Стихия народного искусства, дух русского изобразительного фольклора с его фантастическими зверями и узорами пробудила в Захарове дремавший дар сказочника (известно, что дед Федор по материнской линии «был мастер сказки «сказывать»). Между сказочными и «натурными» (реальными) картинами художника нет резкого рубежа: быль и небыль сливаются. Некое волшебство присутствует и там, где взяты простые мотивы, увиденные в природе, в далеком детстве. Сказка возникает из знакомого и повседневного. Можно вспомнить и имена художников, чье творчество было связано с фольклорной традицией, – Н. Пиросмани, А. Руссо, Е. Честякова, М. Шагал... Но, пожалуй, основное, что объединяет Михаила Захарова с создателем народной картины, заключается в самих принципах творчества, в понимании задач искусства и его отношении к реальности. Оба идут не от увиденного простым зрением натурального мотива, а от внутреннего переживания и представления о мире, непосредственно выражая пластическими средствами

свои чувства и мысли. Отсюда – экспрессивность пластического языка, нераздельность в создаваемом образе изобразительного и выразительного начал, воссоздание не только видимого, но и «мыслимого».

Работы художника несут в себе мощный порыв к обновлению не только сюжетного репертуара, но и образно-пластического языка живописи. Все они отличаются декоративностью решения и своеобразием колорита – яркого, праздничного, нарядного. Не случайно они вызывают в памяти ассоциации с пестроткаными деревенскими половиками, лубком, народной иконой... Для них характерны также плоскостность, упрощенная ритмичность, активное использование локальных цветов, обобщенность форм и, наконец, простота технических приемов.

В творчестве Михаила Захарова Уватский край – удивительная страна, с неповторимым обликом, отличающим его от всех иных мест на земле. Его обширные пространства озер и рек, песчаные дюны, хвойные таежные леса, нескончаемые просторы болот и островки земли, покрытые, как мягким ковром, мхом, пушицей и усыпанные северными ягодами, населяют животные, птицы и множество духов.

На выставке впервые была показана новая серия художника «Брошенная деревня» (2015 год). В процессе работы над ней он использовал большой графический материал последних двух десятилетий из «дорожного альбома»: рисунки, наброски, зарисовки, исполненные им с натуры в окрестностях старинных уватских деревень – Лебаут, Мишино, Ивановка, Сафьянка, Алымка, Островная... Серые избы с провалившимися крышами и пустующими глазницами окон «в ожерелье обветшавшей изгороди», сараи, амбары, бани, заросшие лопухами, лебедой, осотом, крапивой... Утрачен уют обжитости, явственно проступает временность, пронзительно звенит щемящая нота неустроенности. «Обведешь взглядом брошенную деревню – как после нейтронной бомбы! Черные провалы окон, белесые зубья когда-то добротных заборов... Нет деревни, осталась вечность», – с горечью пишет М. Захаров. Композиции замкнуты в себе, они требуют неспешного вхождения зрителя в изображаемый мир.

В наши дни Уватский край сохраняет свою неповторимую ауру, обусловленную во многом разнообразием природных видов и пространственных планов. По-прежнему несут свои воды суровый Иртыш и его притоки Туртас и Выя, затерявшиеся среди болот, озер, таежных лесов, – реки детства художника. Однако перестала существовать замечательная панорама деревень и сел по берегам Иртыша: Шандар, Лебаут, Мишино, Ивановка, Сафьянка, Алымка, Островная... Стерта с лица земли, как и многие другие, родная деревня Березовка. В серии живописных и графических произведений Михаил Захаров воскресил их душу. В настоящее время эти работы представляют не только художественную, но и историческую ценность. В свете этого кажется глубоко оправданной роль памяти в искусстве как силы, способной в какой-то мере противостоять тем тотальным разрушениям, которые принес с собой XX век.

Французский художник Э. Делакруа очень точно заметил, что настоящее произведение искусства – это не что иное, как «мост, переброшенный от души художника к душе зрителя» и лишь тогда действительно, когда мы подготовлены к его восприятию: «... взволновать можно только такого человека, который одарен воображением и способностью чувствовать». Творчество Михаила Захарова – одного из самых самобытных сибирских художников – сегодня находится в высшем состоянии зрелости и продолжает при этом оставаться в пространстве удивления перед тайнами природы и человека.

КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Константин КРАВЦОВ

ПЕВЕЦ ИЗБЯНОЙ ИНДИИ

Сага о Николае Клюеве

«Певец олонечкой избы», – такой он увидел свою эпитафию в последнем из известных нам стихотворений, написанном в 1937 году, незадолго до того, как был убит выстрелом из нагана на огороженном для расстрельных рвов участке заброшенного польского кладбища, примыкавшего к томской тюрьме. Убит за свои песни, а точнее – плачи, аналогичные древнерусскому «Слову о погибели русской земли». Что же касается «избы», то она была для Николая Клюева не просто избой, а символом Небесного Иерусалима, «церкви невидимой – Святой Руси». *На дне всех миров, океанов и гор / Цветет, как душа, адамантовый бор, / Дорога к нему с Соловков на Тибет, / Через сердце избы, где кончается свет.* Изба была для него «святилищем земли», центром духовного универсума, противостоящего «смердному каменному аду» города. В сущности, это то же самое новозаветное, из Апокалипсиса, противопоставление Града Небесного – Вавилону-блуднице; изба – святилище и, как всякое святилище, врата горнего мира, соединяющего все религиозно-культурные традиции во Христе; она – «Белая Индия», легендарное Беловодье староверов – земля божественной правды. Эта правда и открывается в грезах певца и вместе с тем – посвященного, «посвященного из народа», как именовали Клюева. *Индийская земля, Египет, Палестина – / Как олово в сосуд, отлились в наши сны. / Мы братья облакам, и савана холстина – / Наш верный поводырь в обитель тишины.*

Для Клюева, как и для исконно-русской сакральной географии, Русь не территория, где обитают русские, не русское государство, а, как и Церковь, весь богозданный мир, включающий всю историю, всю культуру человечества: *Русь течет к Великой Пирамиде, / В Вавилон, в сады Семирамиды; / Есть в избе, в сверчковой панихиде / Стены Плача, Жертвенник Обиды.* И следом – призыв: *О познайте, братья и друзья, / Божьих ризниц куколи и митры – / Окунутся солнце, радуг дуги / В ваши книги, в струны и палитры.* Само искусство мыслится только на религиозной основе, как и соединение всех времен и народов в Царстве Христовом, через причастность к которому только и раскрывается глубинное единство всего и вся – райский праязык, разделенный, расколотый при вавилонском столпотворении. И изба – знак воссоединения разрозненного, утраченного знания. Потому-то она с ее алтарем-печью и помещается в сердцевину мироздания вместо храма, олицетворяющего космос – весь видимый и невидимый мир. В ней (избе) сфокусировано все, и это – не прихоть автора, а следование древнейшей религиозно-культурной традиции, запечатленной, к слову сказать, в самом языке. Нелишне вспомнить, что старославянское «храм» – не что иное, как «дом». Для христианина – это дом Божий, идет ли речь о культовом здании или простом жилище. Но есть и еще один немаловажный аспект.

Откровение Иоанна Богослова, больше известное как Апокалипсис, заканчивается видением Небесного Иерусалима, о котором сказано, что храма в нем не будет, так как в городе Агнца в нем нет нужды – Сам Христос освещает его. Иными словами, клюевский «избяной рай» – это и изначальный Эдем, и Город-Невеста, сходящий с неба при завершении земной истории. Город, где нет разделения на сакральное и профанное – всё свято, всё одухотворено, всё воссоединено в Боге и пребывает в Нем. Иными словами, в крестьянской избе и окружающей ее природе поэт видит не столько то, что есть, сколько то, что было до грехопадения и что будет после Второго Пришествия. И потому каждая деталь крестьянского быта священна, как священна и единая с ним природа, которая тоже – прообраз рая и Царства Божьего.

Все эти интуиции до появления Ключева присутствовали в духовных стихах калик переходящих, лишь исподволь питая светскую поэзию вкупе с так называемым фольклором – осколками утраченного «тайного знания», носителем которого и сознавал себя Ключев. Знания, почерпнутого не из книг, а если из книг, то главным образом старопечатных, хранившихся, как святыня, в старообрядческих семьях. Знания, передающегося не только через текст, но, прежде всего, непосредственно от учителя к ученику. Таким первым учителем для Ключева была его мать, которая обучила его «грамоте, песенному складу и всякой словесной мудрости». В этих красочных описаниях Прасковья Дмитриевна предстает не столько земной женщиной, сколько Василисой Премудрой, а если глубже – женской ипостасью божества, богиней-матерью древнейших верований, рассыпанных в «устном народном творчестве», где христианские образы и мотивы причудливо сочетаются с язычеством.

«Родительница моя была садовая, а не лесная, по чину серафимовского православия. Отроковицей видение ей было: дуб малиновый, а на нем птица в женьчужном (так!) оплечье с ликом Пятницы Параскевы. С того часа прилепилась родительница моя ко всякой речи, в которой звон цветет знаменный, крюковой, скрытный, столбовой... Памятовала она несколько тысяч словесных гнезд стихами и полууставно; знала Лебедя и Розу из Шестокрыла, Новый Маргарит – перевод с языка черных христиан, песнь искупителя Петра III, о Христовых пришествиях из книги латынской удивительной, огненные письма пророка Аввакума, индийское Евангелие и много другого, что потайно осоляет народную душу – слово, сон, молитву, что осолило и меня до костей, до преисподних глубин моего духа и песни».

Вторым учителем была сама Россия, «проездить» по которой призывал писателей Гоголь. Проездить, конечно, не лишне, без этого ни о каком знании России не может идти и речи, но еще плодотворней – исходить ее вдоль и поперек странником-тайновидцем, каким и предстает Ключев в его автобиографических заметках. «Плавни Ледовитого океана, соловецкие дебри и леса Беломорья открыли мне нетленные клады народного духа: слова, песни и молитвы. Познал я, что невидимый народный Иерусалим – не сказка, а близкая и самая родимая подлинность, познал я, что кроме видимого устройства жизни русского народа как государства или вообще человеческого общества существует тайная, скрытая от гордых взоров иерархия, церковь невидимая – Святая Русь». Эта невидимая церковь противопоставляется видимой, синодальной, «никонианской»,

что и привлекало к Ключеву провозвестников «нового религиозного сознания»: богоискателей-мистиков и русских символистов. Александр Блок, например, буквально боготворил переписывавшегося с ним двадцатилетнего вытегорца: «Сестра моя, Христос среди нас. Это Николай Ключев», – писал он одной из своих корреспонденток. И понятно, что дело было не только и не столько в опубликованных и в символистском «Золотом руне», а после – в акмеистских «Гиперборее» и «Аполлоне» ключевских *песнях*, сколько в их «внутреннем огне – огне религиозного сознания», увиденного Брюсовым как их главная отличительная особенность.

«Назвать его «художником», «поэтом», «писателем», «певцом» – значит, сказать правду и неправду, – писал о Ключеве в 1911 году будущий протоиерей и священномученик Валентин Свенцицкий. – Правду – потому что он «художник», и «поэт», и «писатель», и «певец». Неправду – потому что он по своему содержанию бесконечно больше всех этих понятий. Даже наиболее идущее к нему слово «религиозный» в наше время всяческих подделок и лжи звучит безнадежно-бесцветно. «Песни» Николая Ключева – это *пророческий гимн Голгофе*. Так в результате и оказалось: Ключев в эпоху коллективизации, а затем – Большого Террора, не только вошел вместе с народом на Голгофу, но и оказался единственным поэтом, запечатлевшим ее в эпических поэмах-плачах, чем и подписал себе смертный приговор. «Разруха», «Соловки», «Погорельщина» – названия говорят сами за себя. Временем Николая Ключева был Серебряный век, и это, как говорится, многое объясняет. Многое, но не все.

Балаганный дед?

Большинству современников он запомнился неприятным лицедеем, преображавшемся лишь при чтении своих стихов. «Читал он чудесно, – вспоминал о чтении «Погорельщины» Семен Липкин. – Необыкновенная музыка сливалась с необыкновенной живописью. Каждая строка («*вирш*») жила и сама по себе, и была частью большого, охваченного злым пламенем мира. Сколько лет прошло, а не могу забыть». Незабываемое чтение покоряло и поэтов, чуждых ключевской поэтике. Всеволод Рождественский: «Если б Вы слышали, как он читает! Я ведь, в общем, не очень люблю такой род поэзии, но я каждый раз ухожу захваченным и потрясенным». Аналогичных отзывов множество. «Н. Ключев обладал чудесными талантами народных сказителей, – записал в 28-м году житель Полтавы М.Ф. Горайстов. – Говор, построение фразы, интонация, имитация звуков – все дополняло содержание читаемой им вещи, колорит и дух Севера. Вот он читает песню пряжи, сопровождая строчки подражанием жужжанию веретена – и мы перенеслись в бревенчатую светлицу с заиндевевшим окошечком, с завыванием ветра в трубе, со скрипучим от мороза стуком ставни, с коптящей лучиной, с певучим жужжанием веретена».

Артист. И не только при чтении стихов, но и «по жизни», а это уже раздражало. Например, Николая Заболоцкого, о визите которого в компании обэриутов рассказал в духе «Петербургских зим» Георгия Иванова участник встречи писатель Игорь Бехтерев.

«Входим и оказываемся не в комнате, не в кабинете широко известного горожанина, а в деревенской избе кулака-мироода с дубовыми скамьями, коваными сундуками, киотами с теплящимися лампадами, замыслова-

тыми райскими птицами и петухами, вышитыми на занавесях, скатертях, полотенцах. Навстречу к нам шел степенный, благостный бородач в посконной рубахе, молитвенно сложив руки. На скамье у окна сидел паренек, стриженный «горшком», в такой же посконной рубахе.

Всех обцеловав, Клюев сказал:

– Сейчас, любезные мои, отрока в булочную снарядим, самоварчик поставим...

Отрок удалился.

– Я про тебя понаслышан, Миколушка, – обратился он к Заболоцкому, – ясен свет каков, розовенький да в теле. До чего хорош, Миколка! – И уже хотел обнять Николая, но тот сладкоголосого хозяина отстранил.

– Простите, Николай Алексеевич, – сказал Заболоцкий, – вы мой тезка, и скажу напрямик.

– Сказывай, Миколка, от тебя и терновый венец приму.

– Венца с собой не захватил, а что думаю, скажу, уговор – не сердитесь. На кой черт вам весь этот маскарад? Я ведь к поэту пришел, к своему коллеге, а попал, не знаю куда, к балаганному деду. Вы же университет кончили, языки знаете, зачем же дурака валять...

Введенский и Хармс переглянулись.

– Прощай чаек, – шепнул мне Даниил. Действительно, с хозяином произошло необыкновенное. Семидесятилетний дед превратился в средних лет человека (ему и было менее сорока) с колючим, холодным взглядом.

– Вы кого ко мне привели, Даниил Иваныч и Александр Иваныч? Дома я или в гостях? Волен я вести себя, как мне заблагорассудится?

От оканья и благости следа не осталось.

– Хочу – псалом спою, а захочу – французскую шансонетку. – И, сказав, продемонстрировал знание канкана».

Кстати, насчет университета. Заполняя весной 1925 года анкету Всероссийского Союза поэтов, в графе образование Клюев накарябал «нищее» – именно так, через «с». То ли очередное юродство, то ли и в самом деле безграмотность того, чьи «университеты» – не в горьковском смысле, а в буквальном – ограничивались церковно-приходской школой в родном селе Мукачево и двумя годами училища в Вытегре. При том, что рядившийся всю жизнь в «мужика» Клюев нередко изумлял собеседников-соотрапезников чтением на память, по-немецки, не только Рильке или Гейне, но и целых абзацев из Гегеля и Канта. В чем же была необходимость выставлять себя «балаганным дедом»? Самозащита? *Хитрец и двоедушный плут – Вот Боговидящему кличка*, – писал Клюев об отношении к нему, им же и провоцируемым. Будь он аскетом-подвижником, такое поведение можно было бы назвать юродством, но «религиозный огонь» поэта несколько иной и более того – подозрительный с точки зрения строгой православной науки о борьбе со страстями, резко отрицательно относящейся к любому виду воображения. Так что понимать под боговидением, которое в случае Клюева явно не просто фигура речи? Как понимал его он сам?

Будучи знаком со святоотеческой литературой, он не мог не знать, что подлинное, а не иллюзорное боговидение – высшая и последняя ступень молитвенно-аскетического подвига, на которую восходили лишь немногие из *отцов-пустынников*, не говоря уже о мирянах. В то же время (и об этом кроме Брюсова и Свенцицкого говорят и другие, а прежде всего – сами стихи, проза и письма Клюева), религиозность его не ограничивалась

демонстрацией нарочито крестьянского внешнего вида, быта и простонародного елейного красноречия как в жизни, так и в творчестве. Она была присуща ему изначально и, судя по всему, усиливалась с годами, особенно – после разочарования в революции и при осознании советской власти как власти сатанинской, уничтожающей вместе с храмами, монастырями, традиционным деревенским укладом и миллионами людей саму память о святой Руси.

Клюев, как и всякий поэт, не был подвижником, но, судя по воспоминаниям, искренне хотел им стать, ставя безвестное *пустынническое житие* выше художнического. Да и в самом своем творчестве видел *святое ремесло* сродни писанию икон. Надписывая П.Н. Медведеву свой последний прижизненный сборник, он пояснял его название «Имба и Поле» так: «Имба и Поле как по духу, так и по наружной раскраске имеет много схожести с иконописью – целомудрие и чистота красок рождает в моем смирении такое сопоставление. В книге нет плоти как неизбежной пищи для могильного червя, но есть плоть серафическая, явственная в русской природе и неуязвимая смертью, так как и сама смерть лишь тридневное успение. Имба и Поле – щит, выкованный ангелами из драгоценной руды молитвы за тварь стелящую. Им обороняется моя душа от беса-мещанина, царящего в воздухе. Блаженна страна, поля которой доселе прорастают цветами веры и сердца милующего».

Последние слова отсылают к святому Исааку Сирину – не только известнейшему святому древности, но и автору аскетических трактатов, говорившему в одном из своих *слов* о сердце милующем и страдающем о всякой *твари*, включая демонов. К слову, знакомству с трудами преподобного Мар-Исаака братьев Киреевских Россия обязана возникновением того уникального, отличного от западной философии, направления, что получило насмешливое название «славянофильства». Дело, между тем, вовсе не в «славянах» и не в фольклоре, а в той досконально проработанной в восточно-христианском богословии антропологии, которая раскрывала принципиально иную, чем на Западе, модель человека и человеческого бытия, целью которого являлся «теозис» («обожение»).

Клюев нередко пользовался этим термином и глубоко чувствовал *красоту* иночества, что и естественно при его, пусть сумбурной, путанной, с элементами языческого «магизма», часто нарочито-показной, но при этом и искренней, глубокой вере, соединенной с «эзотерическим», из раскольнических книг и песен матери, из народной, включая сектантство, *знанием*. Среди его записей есть, например, такая: «Не литератором модным хотелось бы мне стать, а послушником у какого-нибудь Исаака Сириянина, чтоб повязка на моих бедрах да глиняный кувшин были единственным имуществом моим, чтоб тело мое, смуглое и молчаливое, как песок пустыни, целовал шафрановый ветер Месопотамии».

Сказано слишком цветисто для всерьез тянущегося к «пустынническому житию», но таков уж Клюев – единственный из русских поэтов, кто, будучи кровно связан с природой и еще не уничтоженной «прогрессом», еще богобоязненной деревней, воспитывал себя не только и не столько на светской литературе, но и на старообрядческих книгах, древних иконах и Святых Отцах. С учетом всего этого можно сказать, что он действительно считал себя боговидцем, но в том смысле, в каком является им иконописец и церковный гимнограф, а также – летописец, занятый в соответствии с

эстетическим каноном своего времени пресловутым «плетением словес». Отсюда-то и трудно воспринимаемая пестрота клюевской «техники письма». Он – поэт для немногих, если не для единиц. Или дело здесь не только в его полном диалектизме и архаизмах специфическом языке.

«Я боюсь, что умрет от радости дух мой»

Начнем «от печки» (совершенно реальной, а не аллегорической в случае Клюева). О детстве, отрочестве, юности поэта, помимо созданной им самим легенды, биографам известно всего-ничего, но твердо установлено, что он родился 10 (22) октября 1884 года в одной из деревенок Коштугской волости Вытегорского уезда в крестьянской семье (отец – Алексей Тимофеевич – был урядником, затем солдатом, дослужившимся до фельдфебеля, после – сидельцем в винной лавке, мать – одевавшаяся по-монашески, но отличавшейся приветливым нравом «былинщицей» и «песельницей»). Вскоре семья переезжает в деревню Желвачево, где проходит детство будущего поэта, а дальше – дальше начинается написанный им апокриф, который выдает за чистую монету в своей антологии «Строфы века» Евгений Евтушенко. Согласно ему Клюев-де происходил из «крестьян-сектантов» (на самом деле – из православной, со старообрядческими корнями, семьи), в юности жил в Соловецком монастыре, ездил по поручению секты хлыстов в Индию, Персию».

По поводу «хождения за три моря» близко знававший поэта искусствовед Н.И. Архипов говорит со всей определенностью: «Клюев никогда не был ни в Персии, ни в Индии, ни в Китае, хотя и держался так, словно был». Нет также никаких сведений ни о Соловецком монастыре, ни о хлыстах. Скорей всего, все было намного прозаичней: Желвачево – десяток дворов на реке Андоме в 36-ти километрах на север от Вытегры, затем эта самая Вытегра, где Николай довершает свое образование и начинает ездить на заработки в Петербург с вытегорцами, сбывающими в столице рыбу или звериные шкурки. Но это лишь полуправда, лишь внешняя сторона дела, лишь «истина факта», этот унылый «фетишизм атеистов», говоря словами одного немецкого мыслителя. Бесспорно одно: юность Клюева была полна религиозных и художественных исканий, о чем он сам сказал так: *Я тосковал о райских кринах, / О берегах иной земли, / Где в светло-дремлющих заливах / Блуждают сонно корабли.* Не просто по иным берегам, а по берегам *иной земли, по райским кринам*, украшавшим заставки древних книг и бывших для отрока, а затем юноши никак не менее реальными, чем обычные цветы. Впрочем, можно ли сказать о цветах, что они – обычны? Не те ли это «крины», при взгляде на которые видишь, насколько они прекрасней соломонных риз, и думаешь о тщете всего земного, не стоящего того, чтобы принимать его слишком всерьез? Отсюда и мечта об иночестве – о Соловецком монастыре, неприступной крепости старообрядцев во времена раскола, взятой лишь благодаря предательству одного из монахов.

«В Соловках я жил по два раза, – пишет Клюев в очерке «Гагарья судьбина». – Долго жил в избушке у озера, питался чем Бог послал: черникой, рыжиками; в мердушку плотицы попадут – уху сварю, похлебаю; лебеди дикие под самое оконце подплывали, из рук хлебные корочки брали. (...) Вериги я на себе тогда носил девятифунтовые, по

числу 9 небес. (...) Без 400 земных поклонов дня не кончал. (...) Люди приходили ко мне, пахло от них миром мирским, нудой житейской. (...) Кланялись мне в ноги, руки целовали, а я плакал, глядя на них, на их плен черный, и каждому давал по сосновой шишке на память о лебединой Соловецкой земле». Был ли Ключев послушником, да и бывал ли вообще в Соловках – неясно, но, кроме прозы, есть еще и стихи, продиктованные тем же чувством с уже намечающимся уходом юного богомольца «в мир»: *Природы радостный причастник, / На облака молюся я. / На мне иноческий подрясник / И монастырская скуфья. / Обету строгому не верен, / Ушел я в поле к лознякам, / Чтоб поглядеть, как мир безмерен, / Как луч скользит по облакам...*

Уйти вслед за этим скользящим лучом, не храня верность «строгому обету», но не просто сбежать, а покинуть монастырский остров по благословению свыше, преподанное не через какого-нибудь, а именно афонского старца – именно таким должно быть житие не просто поэта, а посвященного: «Раз под листопад пришел ко мне старец с Афона в сединах и ризах преподобнических, стал укором укорять меня, что не на правом я пути, что мне нужно во Христа облечься, Христовым хлебом стать и самому Христом быть (примкнуть к хлыстам («христам»)). Поведал мне про дальние персидские земли, где серафимы с человеками брашно делят, и – многие другие тайны бабидов и христов персидских, духовидцев, пророков и братьев Розы и Креста на Руси».

Необыкновенный, как видение, гость снимает с соловецкого послушника вериги и бросает «в озерный омут», нательный крест заменяется на «образок из черного агата» с вырезанным на нем черным треугольником и непонятными надписями, а рубашка – на вынутые из котомки «портки и кафтанец легонький, и белую скуфейку». Тем же вечером старец и новообращенный отбывают на пароходе в Онегу, где в «хорошем крашеном доме» приезжих встречают «братья-голуби». Став писцом (царем Давидом) и добравшись до Самары, поэт чудом избегает уготованного ему «крещения» (оскопления) и дальше, странствуя уже с другими «разными тайными людьми», оказывается и на Кавказе, и в Ясной Поляне у Толстого, проходит с севера на юг всю страну: «от норвежских берегов до Усть-Цильмы, от Соловков до персидских оазисов знакомы мне журавлиные пути...».

Был ли Ключев как-то связан с хлыстами, а если связан, то как – также неясно, но эпитафии из хлыстовских радельных песен указывают на знакомство поэта с определенными источниками. Впрочем, это придет позже – в его первой, вышедшей в 1911 году, поэтической книге «Сосен перезвон» преобладают мотивы, в которых нет ничего специфически сектантского. Примечательно и то, что эпитафией к ней были выбраны тютчевские строки: «Не то, что мните вы, природа». И это при том, что представленные стихи были не только и не столько о природе, сколько о людях, и «пейзан» в них не меньше, чем заводских рабочих с их несчастной долей и революционным страстотерпчеством. К слову, до того, как стать поэтом, Ключев принял самое активное участие в революционных событиях 1905 года и одной лишь «революционной агитацией и пропагандой» среди крестьян дело не ограничилось: поэт принимал участие и в доставке из Финляндии в Петербург оружия, за что был арестован и провел полгода в первом в своей жизни «остроге». Но вернемся к эпитафии

фу, в котором – ключ к пониманию не только первой книги Ключева, а и всей его поэзии.

Вспомним: далее у Тютчева – противопоставление духовного, свойственного всем религиям восприятия природы и – позитивистского, утвердившегося в XIX веке на правах истины в последней инстанции: природа, напоминает Тютчев, *Не слепок, не бездушный лик – / В ней есть душа, в ней есть свобода, / В ней есть любовь, в ней есть язык*. Подразумевается, что это душу и свободу, этот язык и раскрывает олоонецкий крестьянин в своей книге, где лирика и религиозная образность проникнута революционным пафосом. И это неслучайно. Потому-то Ключев, как писал критик В. Львов-Рогачевский, и «переплетает революционное с религиозным, сливает Голгофу с эшафотом, мученичество с мятежом», что для него, старообрядца в душе, одно логически следует из другого. И, кстати, о таком парадоксальном сочетании жертвенной революционности с православием (раскольники, не забудем, были православными) думал еще Достоевский: Алеша Карамазов, по замыслу писателя, должен был оказаться террористом, умирающим на эшафоте. Таков с некоторыми оговорками и «лирический герой» Ключева – целующий землю инок и революционер, но вместе с тем еще и «пахарь», *работник Господа свободный на ниве жизни и труда*.

Смерть для него, грозящего вырвать, как «терн негодный», всех обидчиков народа – брачный венец: *Не забудь за далью мрачной, / Средь волнующих забот, / Что взошел я новобрачно / По заре на эшафот*. И он действительно взойдет на него, когда все поменяется и «борцы за народное дело» станут палачами не только таких же, в прошлом, «пламенных революционеров», но и народа; взойдет несломленным, что случалось исключительно редко в застенках НКВД, особенно – в 37-м году. Ключев не только никого не оговорил, но и на вопрос следствия, «что вы можете заявить правдиво об организации» (придуманном на скорую руку «Союзе спасения России») ответил: «Больше показаний давать не желаю».

Он – «работник Господа», то есть – «раб Божий», но – свободный, не теряющий достоинства. Вот вам и «балаганый дед». «Сознавая, что все кончено, Ключев не унижается, не вымалывает себе снисхождения, – комментирует этот эпизод К.М. Азадовский. – Строивший свою жизнь в «игровой» эстетике, он – в свой последний час – не желает участвовать в позорном спектакле. Понимает: единственный достойный разговор с палачами, с нелюдью – молчание». Это подлинное величие духа перед лицом смерти (которого не проявили, увы, наиболее близкие Ключеву последние «новокрестьянские поэты» Сергей Клычков и Павел Васильев) существенно дополняет, если не меняет общеизвестные представления об олонецком «сказителе». Говоря же о его революционности, важно учесть, что для него, старовера, пусть и крещеного в «никонианской» церкви, она была на глубине все тем же народным протестом против духовного тоталитаризма патриарха Никона и всего установившегося в России с петровскими реформами порядка вещей, пафосом восстания против «европеизации», которая и привела к красным флагам в носящей имя не столько апостола, сколько «первого большевика» *Северной столице*, доводя до логического конца глубочайший разрыв между «образованным слоем» и народом.

Декабристы, народовольцы, марксисты, прикуривающий от церковной лампы студент, бросающийся с кулаками на делающего ему замеча-

ние священника – могло ли не произойти всего этого, если первым языком новорожденных в дворянских семьях был не русский, а французский? Солженицын прав: русская катастрофа 17-го года была закономерным продолжением раскола XVII века, этой расщепившей религиозно-культурную идентичность шизофрении. С пресловутым окном в Европу она стала роковой – непрерывно дующий в него «ветер перемен» смел православное царство и не мог не смести в свое время и возникшей на его развалинах «красной империи».

Сын, брат, жених и супруг

Говоря о поэте, невозможно оставить совсем без внимания тему так называемой «личной жизни», зачастую глубоко связанной с жизнью творческой и отражающейся в ней, претворяясь в стихи. И здесь относительно Клюева возникает деликатный момент – из тех, которые раньше стыдливо обходили молчанием, а именно – «нетрадиционная ориентация», как стали называть не так давно то, что раньше называли «содомским грехом» – грехом не только «смертным», но и «вопиющим к Небу об отмщении», согласно классификации святителя Игнатия (Брянчанинова).

Как сочетается он с религиозностью, священническим и даже епископским служением – загадка, над которой едва ли стоит ломать голову: об этом знают лишь сами подверженные этой «немощи». Можно лишь сказать, что в случае же Клюева (как и в случае Михаила Кузмина, например) помянутое сочетание нашло художественное выражение наряду с выражением религиозного чувства, в искренности которого не приходится сомневаться. И что это выражение – впервые в русской литературе! – напрямую связано с провозглашенным Серебряным веком «новым религиозным сознанием», с его попытками соединить христианство с язычеством, оккультизмом, сектантством – с чем угодно. И Клюев был, конечно же, не только «китежанином», но вместе с тем и представителем этого духовно более чем сомнительного новшества, что, в общем-то, естественно: живя во времени, художник подвержен всем его соблазнам и нередко – «болезням». «Внутренний огонь» при этом не мог не оборачиваться «огнем гееннским», также нашедшим выражение в клюевских стихах: Например: *Неугасимое пламя, / Неусыпающий червь... / В адском, погибельном храме / Вьется из грешников вервь. / В совокупленьи гееннском / Корчится с отрком бес...*

Напоминают они популярные в Средневековье живописные «страшилки», невозможные в Новое время, когда ад перестал быть духовной реальностью, остро переживавшейся в «темные века»! Связь с ними была «актуальна» для Клюева, как, может быть, ни для какого другого поэта, с тех пор как светская литература вытеснила церковную. И насколько для него – по крайней мере, временами – была мучительная эта тема, видно хотя бы из приведенных стихов. Но не будем в нее вдаваться – скажем лишь о пожизненной, полной драматизма и, разумеется, не сводимой к одному лишь гомосексуализму, как его ни понимай, любви поэта – любви к Сергею Есенину. И здесь сразу нужно оговорить, что «Сереженька» не был «партнером» своего поэтического наставника. Об этом пишет друживший с молодым рязанским поэтом в те годы (годы совместных выступлений с Клюевым) В.С. Чернявский: «Ни одной минуты я не думал,

что эротическое отношение к нему <Есенину> Клюева в смысле внешнего его проявления могло встретить в Сергее что-либо, кроме резкого отпора, когда духовная нежность и благостная ласковость перешли в плоскость физиологии. С совершенно искренним и здоровым отвращением говорил об этом Сергей, не скрывая, что ему пришлось физически уклоняться от настойчивых притязаний «Николая» и припугнуть его большим скандалом и разрывом, невыгодным для их поэтического дела».

Начавшись со знакомства в 1915 году, «дело» (совместные выступления и публикации «нарочитых пейзажей», как назвал неразлучную двоицу Горький) продлится не слишком долго: пути поэтов разойдутся в 1918 году, когда Есенин, обиженный за присвоенный не ему, а Клюеву Ивановым-Разумником титул «первого глубинно-народного поэта», назовет новые стихи старшего собрата «мышинным писком», а самого автора – «только изографом, но не открывателем». После он будет отзываться о Клюеве едко-иронично («Уайльд в лаптях», «ладожский дьячок»), но за считанные дни до смерти признается непосредственно связанному с темной историей в «Англетере» В.И. Эрлиху: «Как был он моим учителем, так и останется... Люблю я его». Клюев же оставит среди своих бумаг такую запись: «В последний вечер перед смертью Есенин сказал: «Ведь все твои стихи знаю наизусть, вот даже в последнем моем стихотворении есть твое: «Деревья съехались, как всадники». Об отношении же к младшему собрату самого Клюева лучше всего говорят его многочисленные стихи, адресованные рязанскому Лелю.

Как мать «олонецкого Лонгфелло» была для него не столько земной женщиной, сколько небожительницей, сказочным персонажем, так и «белый цвет Сережа, с Китоврасом схожий» воспринимался им с благоговейным восхищением как посланец из иного мира: *Он пришелец дальний, / Серафим опальный, / Руки – свитки крыл. / Как к причастью звоны, / Мамины иконы / Я его любил.*

Есенин для Клюева – «прекраснейший из сынов крещеного царства», «сын», «брат», «жених» и даже «супруг»; вместе они – одно целое: *Мы, как Саул, искать ослиц / Пошли в родные буераки, / И набрали на блеск столиц, / На ад, пылающий во мраке.* Из ада необходимо бежать, бежать вдвоем, о чем только и мечтает Клюев: *О, только б странствовать вдвоем, / От Соловков и до Калуги.* Но странствовать было не суждено: *Ты отдалился от меня... Отдаление, впрочем, не разрушает внутреннего единения: Супруги мы... В живых веках / Заколосится наше семя.* Но были и другие стихи, была и «Бесовская басня про Есенина» – воспоминание о совместной поездке из Петрограда в Москву осенью 23-го года, интересная, кроме прочего, еще и как образец клюевского стиля:

«Налаял мне Есенин, что в Москве он княжит, что пир у него беспереводный и что мне в Москву ехать надо. Чугунка – переправа не паромная, не лодейная; схвачен человек железом, и влачит человека железная сила по 600 верст за ночь. Путина от Питера до Москвы – ночная, пьяная, лакал Есенин винище до рассветок, бутылок около него за ночь накопилось, битых стаканов, объедков мясных и всякого утробного смрада – помойной яме на зависть. Проезжающих Есенин матерял, грозил им Гепеу, а одному старику, уветливому, благому, из стакана в бороду плеснул; дескать, он, Есенин, знаменитее всех в России, потому может дрызгать, лаять и матерять всякого.

Первая мука минула. Се вторая мука. В дрожках извозчичьих Есенин по Москве ехал стоймя, за меня, сидячего, одной рукой держась, а другой шляпой проходящим махал и всякие срамные слова орал, покуль не подъехали мы к огромному дому с вырванными с петель деревянными воротами. На седьмом этаже есенинский рай: темный нужник с грудями битых винных бутылок, с духом вертепным по боковым покоям. Встретили нас в нужнике девки, штук пять или шесть, все без лика женского, бессовестные. Одна, в розовых чулках и в зеленом шелковом платье, есенинской насадкой оказалась. В ее комнате страх меня объял от публичной кровати, от резинового круга под кроватью, от развешанных на окне рыбьих чехольчиков, что за ночь накопились и годными на следующую ночь оказались.

Зеленая девка стала угощать, меня – кофеем с колбасой, а Есенина – мадерой. С дальней путины да переполоха спитесь крепко. Прикурнул и я, грешный, где-то в углу за ширмами. И снилась мне колокольная смерть. Будто кто-то злющий и головастый чугунным пестом в колокол ухнул (а колокол такой распрекрасный, валдайского литья, одушевленного). Рыкнул колокол от песта, аки лев, край от него в бездну низвергся, и грохот медный всю вселенную всколыбнул. Вскочил я с постели, в костях моих трус и в ушах рык львиный, под потолком лампа горит полуночным усталым светом, и не колокол громом истекает, а у девок в номерах лютая драка, караул, матерщина и храп. Это мой песенный братец над своей половиной раскуражился. Треснул зеркало об пол и сам голый, окровавленный по коридору бегаёт, в руках по бутылке. А половина его в разодранной и залитой кровью сорочке в черном окне повисла, стекла кулаками бьет и караул ревет. Взяла меня оторопь, за окном еще шесть этажей, низринется девка, одним вонючим гробом на земле станет больше...».

Был ли Ключев и в самом деле лицедеем, каким он многим запомнился? Из приведенного отрывка видно, что в нем без зазора сочетались, поочередно проявляя себя в зависимости от ситуации, язвительная беспощадность и органичное для определенного типа религиозности «смирнословие», которое едва ли было маской. «Лапотный Янус», назвал его в своей заметке Троцкий, говоря об обращенности Ключева одним своим ликом в прошлое, другим – к революции и открываемому ей будущему. Важно, однако, то, что Янус при всей своей двуликости – единое целое, поворачивающееся то той, то другой стороной. И такая двойственность для него нормальна – такова уж его природа, принимаемая им как данность, которую не изменишь. И вот из этого-то «сора» и растут, «не ведая стыда», стихи, обеспечивая их автору бессмертие в культуре народа, к которому он принадлежит. Бессмертие, не в последнюю, а то и в первую очередь зависящее от глубины этой укорененности. Впрочем, иногда она может уходить слишком глубоко, как в случае Ключева, который уж слишком народен для того, чтобы быть всенародно любимым поэтом, каким остается и, скорей всего, останется Есенин. Но вернемся к их любви-ненависти – достаточно уникальной истории, сопоставимой разве что с дружбой-враждой Верлена и Рембо.

Эта связь не прервалась после загадочного (глубокая рана во весь лоб, запечатленная на фотографиях и посмертной маске) самоубийства – Ключев постоянно был внутренне обращен к Есенину вплоть до своей смерти в томской тюрьме, о чем еще будет идти речь. Что же до

трагедии в «Англетере», то он безоговорочно поверил официальной версии – слишком многое говорило о том, что именно таким и должен был быть конец его отступившегося не только от него, Клюева, но и, по его убеждению, от своего подлинного призвания русского поэта. За несколько лет до случившегося, обличая бывшего собрата за богохульство в его революционных поэмах, Клюев: «от оклеветанных Голгоф – тропа к иудиным осинам». И вот...

«Выслушал спокойно (наружно). «Этого и нужно было ждать». За-молкли, – пишет П.Н. Медведев, принесший ошеломляющее известье. – Клюев поднялся, вынул из комода свечу, зажег у божницы и начал молиться за упокой души. Сел. Не выдержал – заплакал. «Я говорил Сереженьке и писал к нему: брось эту жизнь. Собакой у твоего порога лягу. Ветру не дам на тебя дохнуть. Рабом твоим буду. Не поверил – зависть, мол, к литературной славе. Обещал 10 лет не брать пера в руки. Не поверил – обманываю. А слава вот к чему приводит».

Гражданская панихида проходила вечером 29 декабря в помещении Всероссийского Союза писателей на Фонтанке. «Когда у гроба стоял Николай Клюев, по его щекам текли слезы», – вспоминает очевидец Н. Браун. Потом, когда стали опускать крышку, что-то долго шептал, склонившись над телом, давая *последнее целование*, шел за гробом до Московского вокзала...

Пройдет тридцать лет. Летом 56-го студенты Томского коммунально-строительного техникума, во время практики, копая котлован под фундамент будущего здания на площадке между заброшенным кладбищем и тюрьмой, наткнутся на человеческие останки. Вызовут ректора, которым по странной иронии судьбы окажется арестовывавший Клюева бывший опер Томского горотдела НКВД Георгий Иванович Горбенко и который прибудет в сопровождении «трех солидных мужчин». Среди трупов, как сообщит в своей заметке в 1990 году некто И.Г. Морозов, один из студентов, окажется черный чемодан, что при попытке извлечь его рассыплется от ветхости. «В чемодане были, – расскажет Морозов, – беспорядочно скомканный черный шевиотовый костюм, нижнее белье, завернутые в клеенку книжечка и фотография и две бутылки водки. <...> Книга была из плохой желтой бумаги. Стихи неизвестного мне поэта. На фото огрудно были два человека в пальто и зимних шапках, молодой и старый». Случившаяся поблизости старушка «с коровой на веревке» вспомнит при этом, что в томскую тюрьму свозили арестантов со всей Западной Сибири. «Тюрьма была переполнена, и этапников до ночи держали во дворе под пулеметными вышками. К основной зоне к ограде кладбища примыкала вторая зона, где днем уголовники-малосрочники рыли глубокие ямы. Ночью новоприбывших выводили небольшими группами и расстреливали из наганов. Сваливали кучей, с узлами, мешками и чемоданами и зарывали». А в начале 70-х Морозов купит трехтомник Есенина и увидит точно такую же фотографию, «как и в могиле». На ней будут Есенин и Клюев.

«Кто еще мог взять с собой в томскую тюрьму стихи и фотографию Есенина! – комментирует Азадовский. – Смотреть в любимое, дорогое лицо – единственное и последнее утешение смертника».

Огненное безумие с апологией «огненного восхищения»

Кем никогда не был Ключев, так это советским поэтом. При том, что он истово (или неистово?) славил революцию и председателя Совнаркома, в чем после, в «Песне о Великой Матери», горько раскаивался:

*Увы... волшебный журавель
Издых в октябрьскую метель!
Его лодыжкой в запал
Я книжку «Ленин» намарал,
В ней мошкара и жуть болота.
От птичьей желчи и помета
Слезами отмываюсь я,
И не сковать по мне гвоздя,
Чтобы повесить стыд на двери!..
В художнике, как в лицемере,
Гнездятся тысячи личин,
Но в кедре много ль сердцевин
С несметною пучиной игол? –
Таков и я!..*

Тысячи личин, но сердцевина – одна...

Кроме книжки «Ленин», были и другие, например, изданный Петросоветом в 19-м году «Медный кит», где революционные гимны представляли собой пародии на общеизвестные церковные песнопения: «Революцию и мать свет в песнях возвеличим (вместо «Богородицу»). До какой степени Ключев уверовал в спасительность для России «октябрьской метели» и последовавшим за ней кровавым шабашом гражданской войны, говорит хотя бы его заявление «красный убийца потира святых». Святых Христа, привидевшегося Блоку во главе держащей революционный шаг и убивающей кого ни попадя матросни.

Совпадение, надо сказать, закономерное, указывающее на один источник «бесовидения в метель», как писал о поэме «12» о. Павел Флоренский, проводя параллель с другой, пушкинской, метелью, где бесы опознаются именно как бесы. Но поэтам нечасто свойственны *трезвение* и *различение духов*, скорей – наоборот. И чувственное выдает себя за сверхчувственное, за откровение свыше, захватывая «певца» целиком, проявляясь не только в «песнях», но и в нешуточной «гражданской активности». Так Ключев в Вытегре, куда он перебирался после смерти отца в феврале 1918 года из села Рубцово, не только вступает в РКП(б), но и становится почетным председателем ее уездной ячейки; не только прославляет «коммуну» («Боже, коммуно храни») в стихах («красный рык», с поразительной точностью будет назван один из циклов), но и выступает с речами. Например, обращается к отъезжающим на фронт красноармейцам с «задушевым братским пророческим словом», которое производит «потрясающее впечатление». Но случаются и недоразумения: он ходит в церковь и его объяснения этой странности чисто эстетическими соображениями не встречают понимания на партсобрании. А кроме того – он собирает по деревням иконы и старопечатные книги, что также подозрительно. Отношение «товарищей» к поэту меняется, и в 20-м его исключают из партии.

Меняются умонастроения и самого поэта. Ленин? *Мы верим в братьев многоочитых, / А Ленин – в железо и в красный ум.* Революция? Образ «нового неба и новой земли», с которой она связывалась ранее, еще владеет Клюевым, но умоисступления уже нет. В цикле «Львиный хлеб» (1922 год) он пишет: *Поле, усеянное костями, / Черепами с беззубою зевотой, / И над ним, гремящий маховиками, / Безыменный и безликий кто-то.* Поле, усеянное костями – это видение пророка Иезекииля: кости сухие в нем срastaются, облекаются плотью и животворимые Духом; то же самое происходит и у Клюева, но интонация при этом не торжественно-пророческая, а тихая, как сквозная, без птиц, синева северной весны:

*На камне могильном старуха-свобода
Из саванов вяжет крошечные сети.
Над мертвою степью безликое что-то
Родило безумие, тьму, пустоту...
Глядь, в черепе утлом осиные соты,
И кости ветвятся, как верба в цвету.
Светила слезятся запястьем перловым,
Ручей норовит облобзаться с лозой,
И Бог зеленеет побегом ветловым
Под новую твердь, над красной землей.*

Нет гимнов большевизму и в написанных в том же году поэмах «Четвертый Рим» (мужицкое братство, якобы пришедшее в 17-м году на смену Третьему Риму) и «Мать-суббота», где «ангел простых человеческих дел» благословляет «причащение Космическим Христом через видимый хлеб», как объясняет Клюев «сердце этой поэмы». Здесь же возникает и образ России как дня между Страстной Пятницей и Воскресением, то есть той же субботы: *Это – Суббота у смертной черты. / Это – Суббота опосле Креста... / Кровью рудеют России уста, / Камень привален, и плачущий Петр / В ночи всемирной стоит у ворот...*

Одержимость красной утопией проходит – поэт возвращается на круги своя, что и отмечает приглядывающий за поэтами «демон революции». «Если отнять у Клюева его крестьянство, то его душа не то что окажется неприкаянной, а от нее вообще ничего не останется, – пишет в «Правде» (статья «Внеоктябрьская литература»), пробавляясь время от времени литературной критикой, Троцкий.

Встречный вопрос: много ли останется от Льва Давидовича, если отнять у него его трибуну и бронепоезд – его «мировую революцию», то бишь его «троцкизм»? Но о том, что крестьянская изба для Клюева – нечто большее, чем принадлежность «классу» (каковая, по Троцкому, и определяет искусство), уже говорилось. В чем прав речистый главком Красной армии, говоря о специфической революционности поэта-мужика, так это в том, что она для него – меньше всего «классовая борьба» и прочие марксистские догмы. «Для других – республика, а для Клюева – Русь; для иных – социализм, а для него – Китеж-град. И он обещает через революцию рай, но рай этот только увеличенное и приукрашенное мужицкое царство; пшеничный, медвяный рай: птица певчая на узорчатом крыльце и солнце, светящееся в яшмах и алмазах».

Берестяной сири, махровый представитель кулачества

«Клюев, – писал слышавший в русской речи «чужеземных арф родник» Мандельштам, – пришелец с величавого Олонца, где русский быт и русская мужицкая речь покоятся в эллинской важности и простоте. Клюев народен потому, что в нем сживается ямбический дух Боратынского с вещим напевом неграмотного олонецкого сказителя». Этих двух поэтов-мучеников связывало не только акмеистское прошлое (Клюев некоторое время был близок к «цеху поэтов»): Мандельштам бывал частым гостем у «пришельца с величавого Олонца», когда тот, обменяв жилплощадь с ленинградской на московскую, поселился в Гранатовом переулке. Нередко захаживал к такому же, как он, «отщепенцу в народной семье» в Дом Герцена на Тверском и Клюев. И, коль скоро зашла речь об акмеистах, нельзя не упомянуть и о трепетном отношении олонецкого поэта к стихам Ахматовой, а ее – к его.

Из воспоминаний В.А. Баталина: «Однажды я прочел ему <Клюеву> стихи Ахматовой: *Вечерние часы перед столом / Непорочно белая страница, / Мимоза пахнет Ниццей и теплом, / В луче луны летит большая птица.* Растроганно, со слезой, он сказал: «Красота-то какая! Сидит она, красавица наша русская, в тереме за хрустальным оконцем и дозорит Русь... Неповторимо прекрасно!..». К слову, из посвященных Ахматовой клюевских строк возникнет один из эпиграфов ко второй части «Поэмы без героя». Вот эти строки: *Ахматова – жасминный куст, / Обожженный асфальтом серым, / Тропу утратила ль к пещерам, / Где Данте шел и воздух густ...* «Жасминный куст»... Стихи Н. Клюева. «Лучшее, что сказано о моих стихах», – пометит Ахматова в записной книжке в 1961 году. Известно также об отношении «нашей русской красавицы» к клюевской «Погорельщине», прочитанной тогда же, в конце двадцатых. Ее, вспоминает бывавший в «подводной келье» в Гранатовом вместе с Мандельштамом С. Липкин, «в беседе со мной Ахматова назвала великой, была овеяна клюевской давней мечтой о «Белой Индии». Этот, по оплошному выражению Есенина, «ладожский дьячок» (а Твардовский даже отказывал ему в поэтическом даре) мыслил крупно, смело, всемирно». Что не могло ни привести к травле и ее логическому завершению в виде «высшей меры социальной защиты» – «вышке», как называлось это в народе.

«Первым звоночком» был арест Клюева в Вытегре в июле 23-го года. Причины его неясны, но, видимо, ничего серьезного за сказочником-песнописцем не обнаружилось: этапированного в Петроград арестанта вскоре выпустили. И здесь начинается новая страница клюевской биографии: в опостылевшую ему «глухую Вытегру» с ее «жижей обыденности», к «гнойному вытегорскому житию» он больше не возвращается – сначала едет вместе с Есениным в Москву, затем, осенью 24-го, обосновывается в Ленинграде на переименованной в улицу Герцена Большой Морской, 45. «Кивот в полстены – с драгоценного письма новгородскими и строгоновскими иконами. Цветные огоньки лампад. Дубовый, плотницкого дела стол – и такие же лавки по стенам. На столе – книги. Тут и старописные «Смарагды», и «Винограды», и старопечатные, и новейшие увражи, и тоненькие книжечки самоновейшей поэзии, – вспоминал новую «клетушку-комнатушку» Клюева историк литературы Б.А. Филиппов, впоследствии эмигрант. – Клюев рассказывает нам, как он странствовал по

монастырям Севера: «Стыдно, Борис, не побывать в Кирилловом да в Ферапонтовом. А какие там фрески Дионисия! Побывай, голубь, пока не порушена древняя святыня... А путь каков из монастыря в монастырь! Каналом узким-преузким – чуть пароход за берега не цепляет... И красота, и небо – такое далекое и нежное... Красив, ох, как красив наш Север!».

Последний раз поэт видит его в августе 24-го. «От тихих Богородичных вод, с ясных, богатых нищетой берегов, от чаек, гагар и рыбьего солнца – поклон вам, дорогие мои! – пишет он Архиповым. – Вот уже три недели живу как во сне, переходя и возносясь от жизни к жизни. Глубоко-молчаливо и веще кругом. Так бывает после великой родительской панихиды... Что-то драгоценное и невозвратное похоронено деревней – оттого глубокое утро почило на всем – на хомуте, корове, избе и ребенке. <...> Господи, как священно-прекрасна Россия и как жалки и ничтожны все слова и представления о ней, каких наслушался я в эту зиму в Питере! Особенно меня поразило и наполнило острой жалостью последнее свидание с Есениным, его скрежет зубный на Премудрость и Свет. <...> Но и Есенин с его искусством, и я со своими стихами так малы и низко-презренны перед правдой прозрачной, непроглядно-всебытной, живой и прекрасной. Был у преподобного Макария – поставил свечу перед чудным его образом – поплакал за вас и за себя, сегодня ухажу в Андомскую гору к Спасу – чтоб поклониться Золотому Спасову лику – Онегу, его глубинным святыням и снам».

Эти святыни и сны, однако, раздражают все больше рупоров омерзительной для собиравшихся в Гранатовом «разрешенной литературы». Вслед за статьей Троцкого и книгой Василия Князева «Ржаные апостолы: Клюев и клюевщина» в литературной критике начинает складываться то отношение к «новокрестьянским поэтам» (все они будут расстреляны), которое задал Князев. «Клюевщина, – писал он, – страшная сила». Страшная, потому что это – «идейно-обоснованная и идейно-порожденная тяга к богу, внутренняя, корневая потребность в его бытии». А и в самом деле – что может быть опасней большевизма, этой теории и практики «воинствующего безбожия», чем эта потребность и эта тяга – не «слепая», а зрячая, продуманная, но не абстрактная, а полная внутреннего огня, обоснованная не только идейно, но и художественно? Клюевщину, – продолжает Князев, – придется выкорчевывать многие десятки лет» и понятно, что без помощи НКВД в этом непростом деле не обойтись. Но тогда, в начале 20-х, между Красным и Большим террором, этими двумя волнами геноцида по отношению к носителям «коренной потребности», Клюев еще не теряет надежды «вписаться» в советскую литературу и лишь горестно вздыхает в письме Есенину (28 января 1922 года), что, мол, «порывая с нами, Советская власть порывает с самым нежным, с самым глубоким в народе».

Он пишет бодрые стихи о первомайском Ленинграде, но приговор «ржаным апостолам» уже вынесен: публикации Клюева появляются все реже, нападки становятся все чаще. Особенно – после появления в ленинградской «Звезде» поэмы «Деревня», на что тут же отреагировал «комсомольский поэт» А. Безыменский, углядевший «за стилизованным юродством глубоко реакционную идею». Дальше – больше: Л.И. Тимофеев (впоследствии – член-корреспондент АН СССР) увидит в «Плаче о Сергее Есенине» и той же «Деревне» уже «совершенно откровенные антисоветские декларации озверелого кулака». «Озверение» у Клюева,

оплакивающего свою «избянную Индию» («самое подлинное, самое любимое, без чего не может быть русского художника»), нарастает от поэмы к поэме. Все они, «добытые оперативным путем» кураторами литературы из ведомства Ягоды (женатого на сестре председателя «МАССОЛИТа» Авербаха, любовника приемной дочери Горького), после ареста Клюева в 34-м году будут предъявлены ему в следственном изоляторе на Лубянке. Но это будет после, а пока – артподготовка в виде следующих одна за другой разгромных статей.

Масла в огонь подливает вышедшая в мае 28-го последняя прижизненная книга Клюева «Изба и Поле» (сокращенное цензурой на 90 (!) страниц избранное) – один из критиков тут же указывает на «националистический душок с явной примесью церковно-мистических аллегорий». «Монашки и Миколы, – вторит другой, – лампадки и заутренние звоны, ангелы и богородицы ползут из его стихов, как насекомые из неопрятной постели». Не собираются терпеть вопиющую антисанитарию и «крестьянские писатели», постановившие на своем первом Всероссийском съезде в июне 1929 года «развернуть активную творческую борьбу против кулацкой идеологии в литературе». «Что такое Клюев? – обращается к залу один из докладчиков, церковный староста, баптист от литературы, начетчик, то есть типичный, самый махровый представитель деревенского кулачества».

Участь поэта предрешена. Тем более что и сам он прет на рожон, отвечая 20 января 1932 года на предложение правления Союза писателей публично себя высечь («подвергнуть самокритике последние свои произведения») в присущей ему манере: «Если средиземные арфы живут в веках, если песни бедной, занесенной снегом Норвегии на крыльях полярных чаек разносятся по всему миру, то справедливо ли будет взять на финку берестяного сирина Скифии, единственная вина которого – его многопестрые колдовские свирели. Я принимаю и финку, и пулемет, если они служат сирину-искусству».

Вряд ли у «берестяного сирина» были иллюзии относительно своего будущего, к тому же предсказанного жившим в Глебовом овраге на окраине Саратова монахом-прозорливцем:

– Молись, раб Божий, молись раб Божий, – вздохнул тот, когда Клюев посетил его в своем последнем путешествии по России в 29-м году. – Не взойдет и трех раз солнце, как будешь в казенном доме.

Небо в лохмотьях

В «казенном доме» (Лубянской тюрьме), куда поэта доставили 2 февраля 34-го года, из вопросов оперуполномоченного 4-го отделения секретно-политического отдела ОГПУ Н.Х. Шиварова и ответов Клюева, частично оставленных в оригинале, частично отредактированных и переведенных на понятной советской власти язык, был составлен уникальный в своем роде протокол.

«Вопрос. Каковы ваши взгляды на советскую действительность и ваше отношение к политике Коммунистической партии и Советской власти?»

Ответ: «Мои взгляды на советскую действительность и мое отношение к политике Коммунистической партии и Советской власти определяются моими реакционными религиозно-философскими воззрениями. Происходя из старинного старообрядческого рода, идущего по линии матери

от протопопа Аввакума, я воспитан на древнерусской культуре Корсуня, Киева и Новгорода и впитал в себя любовь к древней, допетровской Руси, певцом которой я являюсь. Осуществляемое при диктатуре пролетариата строительство социализма в СССР окончательно разрушило мою мечту о Древней Руси. Отсюда мое враждебное отношение к политике Компартии и Советской власти, направленной к социалистическому переустройству страны. Практические мероприятия, осуществляющие эту политику, я рассматриваю как насилие государства над народом, истекающим кровью и огненной болью.

Вопрос: Какое выражение находят ваши взгляды в вашей литературной деятельности?

Ответ: Мои взгляды нашли исчерпывающее выражение в моем творчестве. Конкретизировать этот ответ могу следующими разъяснениями. Мой взгляд, что Октябрьская революция повергла страну в пучину страданий и бедствий и сделала ее самой несчастной в мире, я выразил в стихотворении «Есть демоны чумы, проказы и холеры...», в котором я говорю:

*Вы умерли, святые грады,
Без фимиама и лампады
До нестареющих пролеть.
Плачь, русская земля, на свете
Несчастней нет твоих сынов,
И адамантовый засов
У врат лечебницы небесной
Для них задвинут в срок безвестный...*

Я считаю, что политика индустриализации разрушает основу и красоту русской народной жизни, причем это разрушение сопровождается страданиями и гибелью миллионов русских людей. Это я выразил в своей «Песне Гамаюна», в которой говорю:

*Нам вести душу обожгли,
Что больше нет родной земли,
Что зыбь Арала в мертвой тине,
Замолк Грицько на Украине,
И Север – лебедь ледяной –
Истек бездомною волной,
Оповещающая корабли,
Что больше нет родной земли.*

Более отчетливо и конкретно я выразил эту мысль в стихотворении о Беломорско-Балтийском канале, в котором я говорю:

*То Китеж новый и незримый,
То Беломорский смерть-канал,
Его Акимушка копал,
С Ветлуги Пров да тетка Фекла.
Великороссия промокла
Под красным ливнем до костей
И слезы скрыла от людей,
От глаз чужих в глухие топи.*

Окончательно рушит основы и красоту той русской народной жизни, певцом которой я был, проводимая Коммунистической партией коллек-

тивизация. Я воспринимаю коллективизацию с мистическим ужасом, как бесовское наваждение. Такое восприятие выражено в стихотворении, в котором я говорю:

*Скрипит иудина осина
И плещет вороном зобатым,
Доволен лакомством богатым,
О ржавый череп чистя нос,
Он трубит в темь: колхоз, колхоз!
И, подвязав воловий хвост,
На верезг мерзостной свирели
Повылез черт из адской щели, –
Он весь мозоль, парха и гной,
В багровом саване, змеей
По смрадным бедрам опоясан...*

Мой взгляд на коллективизацию как на процесс, разрушающий русскую деревню и гибельный для русского народа, я выразил в своей поэме «Погорельщина», в которой картины людоедства я заканчиваю следующими стихами:

*Так погибал Великий Сиг,
Заставкою из древних книг,
Где Стратилатом на коне
Душа России, вся в огне,
Летит по граду, чьи врата
Под знаком чаши и креста»*

Для «вышки» достаточно, но на дворе еще 34-й, а не 37-й, разнарядки столько-то тысяч расстрелять, столько-то законопатить на десять лет в лагеря еще не спущены, и Ключев отделяется относительно легко: 5 лет в «исправтрудлагере с заменой высылкой в г. Колпашево (Зап. Сибирь) на тот же срок».

«Это чудом сохранившееся в океанских переворотах сухое место посреди тысячеверстных болот и залитой водой тайги, – пишет оттуда поэт художнику Анатолию Кравченко. – Кругом нет лица человеческого, одно зрелище – это груды страшных движущихся лохмотьев этапов. Свежий человек, глядя на них, не поверил бы, что это люди. (...) Сплю я на голых досках под тяжелым от тюремной грязи одеялом, которое чудом сохранилось от воров и шалманов, – остальное все украли еще в первые дни этапов. Мне отвели комнату в только что срубленном баракообразном доме, и за это слезное спасибо, в большинстве же ссыльные живут в землянках, вырытых своими руками, никаких квартир за деньги в Колпашеве не существует, как почти нет и коренных жителей. 90% населения – ссыльные китайцы, сарты, грузины, цыгане, киргизы, россияне же очень мало – выбора на людей нет. Все потрясающе несчастны и необщительны, совершенно одичав от нищеты и лютой судьбы. Убийства и самоубийства здесь никого не трогают. Я сам, еще недавно укрепляющий людей в их горе, уже четыре раза ходил к водовороту на реке Оби, но глубина небесная и потоки слез удерживают меня от горького решения».

Из письма Сергею Клычкову: «Я сгорел на своей «Погорельщине», как некогда сгорел мой прадед протопоп Аввакум на костре пустозерском. Кровь моя волей или неволей связует две эпохи: озаренную смолистыми

кострами и запалами самосожжений эпоху царя Феодора Алексеевича и нашу, такую юную и потому многого не знающую. Я сослан в Нарым, в поселок Колпашев на верную и мучительную смерть. Она, дырявая и свирепая, стоит уже за моими плечами. (...) Поселок Колпашев – это бугор глины, усеянный почерневшими от бед и непогодий избами, дотуга набитыми ссыльными. Есть нечего, продуктов нет, или они до смешного дороги. У меня никаких средств к жизни, милостыню же здесь подавать некому, ибо все одинаково рыщут, как волки, в погоне за жраньем. (...) Небо в лохмотьях, косые, налетающие с тысячеверстных болот дожди, немолчный ветер – это зовется здесь летом, затем свирепая 50-градусная зима, а я голый, даже без шапки, в чужих штанах, потому что все мое выкрали в общей камере шалманы».

«В Колпашеве он писал мало, – вспоминал встретившийся там с поэтом и впоследствии эмигрировавший писатель Р. Менский, – быт, тяжелая нужда убивали всякую возможность работы. Кроме того, у ссыльных несколько раз в году производились обыски. Отбирали книги, письма и тем более рукописи. Запись откровенных мыслей была исключена. В Колпашеве Н.А. была начата поэма «Нарым». Пока это были композиционно не слаженные отдельные строфы. Записаны они были на разных клочках бумаги (от желтых кульков, на оберточной бумаге). Видимо, поэму он записывал только на время, пока не выучит наизусть, а затем уничтожал записи. Написанное он читал некоторым ссыльным».

«Моя муза, чувствую, – пишет Клюев Кравченко, – не выпускает из своих тонких перстов своей славянской свирели. Я написал, хотя и сквозь кровавые слезы, но звучащую и пламенную поэму. (...) Это самое искреннейшее и высоко звучащее мое произведение. Оно написано не для гонорара и не с ветра, а оправдано и куплено ценой крови и страдания».

По-видимому, речь идет о поэме «Кремль», продиктованной тем же, что мандельштамовская «Ода Сталину», стремлением не только примириться с происходящим, но и воспеть его, доказав великому кормчему свою покаянную преданность. «Прости иль умереть вели!» – кричит последняя строка этого последнего клюевского гимна уже не избянной, а советской России, последнего цветистого полотна раскаивающегося «жреца избы», «деда», *что утонул в слезах, неведом, / И стал ручьем, где пихта мочит / Зеленый плат и хвост сорочий. Чуть выше: Его друзья – плаун да ягель, / И лишь тунгус в унылой саге, / Как вживе, заговорит с дедом. Что же он скажет? А вот что: Береза плачет бурой раной, / Что порассек топор коварный, / Слеза прозрачнее ребячьей, / Но так и дерево не плачет, / Как плакал дед в тайге у нас / Озёрами оленьих глаз! Дедушка, не плачь...*

Возымела ли какое-то действие отправленная в Ленинград поэма, написанная, когда больной старик, *впрягался он в обоз саней скрипучих, полный слёз*, сыграли ли роль писательские ходатайства о поэте (если таковые вообще имели место), или кому-то из плакальщиц, корреспонденток Клюева, удалось смягчить близкого к литературным кругам Ягду – вопрос открытый. Так или иначе, но Особое совещание при НКВД разрешило поэту «отбывать оставшийся срок наказания в г. Томске», где, ютясь по снятым углам, он продолжает писать, но это уже не столько стихи, сколько письма – письма русского Овидия, крестьянина от слова «крест». И в них измученный болезнями «средовек» (Клюеву чуть больше пятидесяти) предстает в новом качестве – духовного наставника. И здесь

перед нами уже несколько иной Ключев – не сладкоголосый «балаганный дед», а подвижник, если понимать под этим термином того, кто как умеет, но движется к Богу, а не замыкается в себе. И именно это движение и есть то, что по-гречески называется метанойей (переменой ума), а по-русски – покаянием.

Очищение

«Есть люди, изучающие Божье Слово с помощью науки и логики, вместо того чтобы принять в сердце истину, – пишет Ключев Н.Ф. Садовой. – Они подвергают критике Слово: так саддукеи препирались и спорили о рождении Мессии и прозевали его. Не будьте подобной сидящим за уставленным яствами столом и обсуждающим свойства предлагаемого им угощения, вместо того чтобы протянуть руку и есть! Многие обладают известным запасом знания. Они с презрением относятся к слишком простому учению и считают очищение от всякого греха нелепостью. Многие не очищаются от своих грехов, потому что слушают людей, которые сами не получили очищения. Так, например, человек, который сам не избавился от своей вспыльчивости, не может учить других, как от нее освободиться; человек не может быть лучше своего сердца и с убеждением говорить о том, чего сам не испытал. Бог не даст более того, чего мы от Него ожидаем. По вере вашей – будет вам. Значит, сколько веры – столько же и дарования».

Очищение, продолжает Ключев, возможно лишь через постоянное памятование о Христе, Который «прощает только тех грешников, которые ежедневно помнят о Нем и несут в себе Его образ, – которые живут Им». В этом случае очищение делается непрерывным: оно «совершается многократно, всякий день нашей жизни».

А вот о себе самом: «Дорогая Надежда Федоровна, драгоценное дитя Божие. Вы, осмысливая меня как личность, – чаще принимаете за меня подменного, лишь мое отражение в искушениях, которыми я, как никто, бываю окружен. Поясню это примером. В тихой поверхности реки ясно отражается растущее на берегу дерево. Бросим камень в воду: она заволнуется и исказится, и исчезнет в ней чистое отражение дерева. Но ведь это обман. Скоро успокоится вода. Ничего опасного не произошло. И не надо стараться доставать из-под воды упавший на дно камень: этим только сильнее замутишь воду. Умоляю Вас не заниматься этим. Прикосновение к нам раскаленных стрел Сатаны не есть еще бездна и грех (Ефес. 6, 16). Хотя они будут обжигать душу нашу и лишать нас покоя, вызывая те или иные мысли или сомнения, но если мы будем только спокойно наблюдать эти стрелы улетят обратно так же скоро, как прилетели. Наоборот, если мы углубимся в эти мысли, будем стараться понять, откуда они явились, – тогда горе нам. Только щитом веры отражаются все раскаленные стрелы врага. Вспомните мое спокойствие в молитве и при встрече с искушениями. Только слепой сердцем может мое спокойствие при встрече с грехом объяснить моим участием во грехе. Ведь Христос – мир наш (Ефес. 2, 15). Если какое-либо сомнение закрадется в сердце Ваше, читая это письмо, не старайтесь понять его причины. Предайте сомнение Ваше Христу и пребудьте в мире. Тогда исчезнет и смущение Ваше. «Что скажет Он Вам, то и сделайте» (Иоан. 2, 5). Не старайтесь все понять, но действуйте, ожидая всякий день избавления от греха. Так поступаю я. «Сие пишу вам, чтобы

вы не согрешали» (Иоан. 2, 1). Не смотрите на свою или чужую немощь, но взирайте на могущество Божие. Не смотрите на свою склонность ко греху, это дрожжи Адамовы, но всегда помните силу Христа, тогда Он и сохранит Вас. Так поступаю я – один из грешников, ради которых и пришел свет в мир».

Его расстреляют в конце октября 37-го года как «активного участника кадетско-монархической повстанческой организации», состоявшей из «духовенства и церковников» – епископа Ювеналия (Зиверта) и трех священников, один из которых – князь А.А. Ширинский-Шахматов – окажется бывшим штабс-капитаном царской армии. Через несколько месяцев в московскую квартиру Натальи Садомовой придут двое мужчин и, не представившись, сказав, что они проездом из Томска, сообщат: «Николай Алексеевич Ключев умер в томской тюрьме». В том же году в Москве будут расстреляны Сергей Клычков, Павел Васильев и около двадцати поэтов, в основном – молодых, но уже небезызвестных студентов или выпускников Литинститута. За «творческую близость к кулацкому поэту Есенину». С «ключевщиной», как и с «есенинщиной» будет покончено и *ничего не возродится ни под серпом, ни под орлом*, напишет в послевоенном Париже, полемизируя с приободрившимися эмигрантами, Георгий Иванов. Да и что такое возрождение? Не есть ли оно зачастую лишь искусственная реконструкция внешней оболочки того, что внутренне никак не связано с сегодняшним, уже совершенно иным днем, пусть и под тем же вытасченным из нафталина византийским *орлом*?

Тем же да не тем. И кажется несколько наивным вопрос Ивана Ильина: «Когда русским людям дан новый опыт подлинного зла, подлинного страдания и предчувствие грядущего величия, следовало бы ждать от русской поэзии настоящих песен и пророчеств – где же это все?». Как где? Там же, где и все песни и пророчества – в прошлом, когда они были еще возможны. И все же...

Дух дышит, где хочет – это касается не только места, но и времени. Дышит и животворит в том числе и то, что умерло, разложилось, от чего не осталось ничего, кроме сухих костей. Впрочем, и их наличие не обязательно для воскрешения – нового творения из ничего. И вот этим-то дыханием-веянием и заканчивается спасенная итальянском русистом «Погорельщина», что не потеряет своей «актуальности», как не потеряет ее – до появления *нового неба и новой земли, на которой обитает правда* – церковная панихида:

*Радонеж, Самара,
Пьяная гитара,
Свились в одно...
Мы на четвереньках,
Нам мычать да тренькать
В мутное окно!*

*За окном рябина,
Словно мать без сына
Тянет рук сучье.
И скульпт трезором
Мглица под забором –
Темное зверье.*

*Где ты, город-розан, –
Волжская береза,
Лебединый крик,
И, ордой иссечен,
Осиянно вечен,
Материнский Лик?!*

*Цветик мой дитячий,
Над тобой поплачет
Темень да трезор.
Может им под тыном
И пахнёт жасмином
От Саронских гор!*

Примечание: Саронские горы – это библейская святая земля; «нарцисс саронский» – так называет своего возлюбленного Суламита из Песни песней, прославляющей чувственную любовь, в чем иудейское богословие видит аллегорию взаимоотношений Бога и Израиля, а христианское – Христа и Церкви, Христа и каждой человеческой души.

Елена БОБКОВА, Хабиба ШАГБАНОВА

С ЛЮБОВЬЮ К МАЛОЙ РОДИНЕ

Драматическая судьба русской деревни в творчестве

Леонида Иванова

Литература всех народов всегда характеризуется обостренным вниманием к вопросам нравственности, к постановке и решению глобальных духовных проблем. Проблемы нравственности, связанные с сохранением духовных ценностей, традиций и жизненного уклада деревни, нашли отражение в деревенской прозе. Деревенская проза – направление в русской литературе 1960–1980-х годов, осмысляющее драматическую судьбу крестьянства, русской деревни в XX веке. Особое внимание уделялось вопросам нравственности, взаимоотношениям деревни и города, человека и природы. Отдельные произведения начали появляться уже в начале 1950-х годов (очерки Валентина Овечкина, Александра Яшина и др.), но только к середине 1960-х годов деревенская проза оформилась в особое направление.

Многие исследователи считают термин «деревенская проза» неуместным. Причин несколько: во-первых, в литературе тема деревни отражена не только в прозе, но и в поэзии (Н. Рубцов), драматургии (А. Вампилов) и музыке (В. Гаврилин); во-вторых, тема деревенской жизни – не единственная в произведениях даже самых известных писателей данного литературного направления; в-третьих, не все произведения о деревне относили к деревенской прозе. Таким образом, в основе отнесения произведений к данному кругу литературы лежит не только тематический принцип.

А.И. Солженицын в «Слове при вручении премии Солженицына Валентину Распутину» очень точно определил основное направление деревенской прозы и заслугу «писателей-деревенщиков»: «...суть их литературного переворота – возрождение традиционной нравственности, а сокрушенная вымирающая деревня была лишь естественной наглядной предметностью». Некоторые исследователи считают более приемлемым термин «онтологическая проза» («онтология» от греческого «он» – «сущее» и «logos» – «учение» – учение о вечном, неизменном, о главных ценностях бытия, о смысле жизни и смерти), предложенный Г. Белой и Е. Вертлибом.

Термин не прижился, тем не менее его можно встретить в современных научных трудах по данному вопросу. За десятилетия деревенская проза прошла несколько этапов развития, на каждом из которых в ней происходили внутренние изменения. Менялись характеры героя, место действия, отношение крестьян к труду, к собственности. В начале XX века во всех регионах страны определяющим направлением развития становится движение от аграрного общества к индустриальному.

Такие события в жизни страны не могли не вызвать отклика в литературе. В 50-е годы на первый план выходят проблемы социально-экономического характера. Характерная черта деревенской прозы этого периода – производственный сюжет, отражающий «спасение» деревни, борьбу с деревенским жизненным укладом, отсталостью. Главный герой – человек со стороны, чаще всего руководитель (председатели колхозов, секретари райкомов и обкомов, главные инженеры и агрономы и т.д.). Место действия, как правило, – не крестьянский дом, а контора. Таким образом, это литература о крестьянской жизни, но по существу почти «без крестьян».

Начиная с 60-х годов внимание переключается на сохранение всего ценного в традициях русской деревни: своеобразного национального уклада хозяйственной жизни, связи с природой, трудовых навыков, народной крестьянской морали. Тема противопоставления деревни и города, противостояния всему, что несет город, выражается не всегда открыто, чаще между строк, в образах персонажей, в диалогах.

Среди прозаиков современности, которых относят к жанру деревенской прозы, ведущее место занимают такие писатели, как Виктор Астафьев, Валентин Распутин, Александр Солженицын, Василий Шукшин, Федор Абрамов, Василий Белов, Борис Екимов и др. Большинство из них – родом из Сибири. Сибирь как «глобальная мифологема» природности и естественности доминирует в мировом социуме, влияя на характер миграционных процессов.

Именно писатели-сибиряки, начиная с конца 50-х годов, составили оппозицию городской культуре. Тема деревни в их произведениях «...опиралась на реальную историю освоения региона крестьянством, при котором Сибирь не знала крепостной зависимости и экономическая независимость способствовала формированию менталитета личностного сознания при сохранении ценностей родовых связей».

К концу 60-х годов в литературном творчестве этих писателей Сибирь представляется «хранительницей» национального духа. Эти идеи развивались применительно к новому литературному герою – «сибирскому крестьянину, сохранившему подлинные религиозные, этические, культурные ценности». Возникает «особый культурный герой – сибиряк». К особенностям характера коренного сибиряка традиционно относятся широкая душа, гостеприимство, вольнолюбие, желание и готовность прийти на помощь другим, предприимчивость и сноровка в работе, стойкость в тяжелых жизненных испытаниях.

В произведениях некоторых наших современников, в том числе наших земляков, можно наблюдать вышеперечисленные черты «деревенской прозы», что позволяет нам говорить о развитии деревенской прозы и в наше время. Так, известный тюменский писатель Леонид Иванов в своих произведениях изображает картины из жизни деревенских жителей. В 2009 году Леонид Иванов выпустил первый сборник очерков и рассказов «Первый парень на деревне», на следующий год – роман «Леший».

Автор знает о жизни деревни не понаслышке. Леонид Иванов родился в Вологодской глубинке, куда были сосланы его родители. С раннего детства, как и все его ровесники, привык к деревенскому труду. Много читал, пробовал писать рассказы, и совершенно случайно его талант был замечен журналистом районной газеты «Волна», в которую он в 17 лет был принят литературным сотрудником. Практически вся жизнь Леонида Иванова была связана с журналистикой.

В рассказах Л. Иванова можно проследить основные темы «лирической деревенской прозы»: прощание с деревней или встреча-прощание, незамысловатые картины сельской жизни, часто объединенные образом рассказчика. Тип характера главных героев его рассказов – коренные сельские жители, мудрые, добрые, не алчные, трудолюбивые, сочувствующие другим.

Традиционно в деревенской прозе выделяют этот тип в двух его вариантах, к тому же во многом противоположных: герои-праведники и герои-чудаки, несоответствующие стереотипам поведения. Жизнь у них складывается по-разному, а тип психологии один: доброта, совесть, честность,

честность. Такие свойства характеров главных героев оказывают влияние и на формы повествования. Именно они исключают острое сюжетное развитие, конфликтные ситуации. Часто переживания и размышления задают тон рассказу, подчиняют себе сюжет, отбор материала и характер его освещения. Поэтому форма некоторых его рассказов и повестей, как правило, не имеет четкого сюжета, композиционное построение достаточно расплывчато.

Центральное понятие в эстетике деревенской прозы – это Дом. Дом – это родина, место, где герой родился, провел детство, был счастлив. С какой любовью представляет себе свой будущий дом деревенский трудяга в рассказе «Мама, я иду»: «Дом получался на загляденье. Такие только в старину ставили, чтобы высокий подпол, половину которого под столярную мастерскую планировал, под хранение разного инвентаря да железок <...> Вторая часть подпола, знамо дело, – для владений жены. Там будет её вотчина. Пусть сама определяет, где яму под картошку, где полки для солений да варений...» [Там же].

В деревенских рассказах Л. Иванова часто можно встретить описание незамысловатой обстановки старых домов, возвращающих нас, читателей, к прошлому, к домам наших еще живых и уже умерших родителей, бабушек и дедушек, к той простоте и некой загадочности старинных вещей, которые так притягивали в детстве. Каждый предмет, каждая мелочь знакомы нам из детства и вызывают чувство умиления, возвращают в прошлое, будь то выцветшие фотографии, висящие в рамке над столом, старая кровать с панцирной сеткой или чайный сервиз за стеклом в шкафу.

При этом писатель обращается к проблеме связи с родной землей, с домом. Уехав из дома, герой рассказа «Пароходы пахнут огурцами» пронесит через всю жизнь воспоминания о том особенном запахе малосольных огурцов, пришедшем из прошлого, воплощающем в себе беззаботность детства в родном доме, маленькие радости от гостинцев. Когда же рушится связь с родной деревней, начинаются беды, возникает бездуховность, потребительский подход к жизни, захватывают жестокость и равнодушие города.

Еще одна эстетическая категория деревенской прозы – «гармония», образ цельного, гармонического мира, включающего в себя уклад общественной жизни (дружба, соседство, взаимопомощь), уклад семейной жизни (супружество, любовь, верность), уклад трудовой жизни (труд не ради наживы, а ради благополучия семьи). Сельские жители являются «носителями морали». Их еще не затронули те «новые» ценности, которые несет в себе город: жажда наживы, суета, нетерпимость. Их жизнь по-прежнему протекает размеренно, житейские хлопоты и трудности воспринимаются естественно, без трагичности. «В деревне ведь всё с основными работами связано. Главное – сев провести, корма заготовить да урожай убрать, а остальную надобность промеж этих страдных дней успеть» («Мама, я иду»). При этом тема труда, именно труда, не работы, не заработков, прослеживается во многих картинах деревенской жизни, созданных писателем.

А как трогательно изображаются отношения между супругами старого поколения деревни. Не всегда все было гладко, но им удалось пронести любовь и бережное отношение друг к другу через всю жизнь. После смерти супруги пенсионер Яков Павлович вспоминает: «На свадьбе у племянника моего мы с моей Наденькой-то познакомились. Так вот сразу ее заприметил, по душе пришлась. Потом вскоре поженились. Так смолоду характерами и сошлись, всю жизнь не ругивались крепко. Помаленьку, по мелочи, конечно, бывало, а серьезной ссоры – не-е-ет, не было» («До ста лет без старости»).

Как это часто бывает, после смерти одного из супругов второй «сгорает», уходит вслед за ним: «Тосковал Федор Андреич! Ой, тоскова-а-ал. Как Клавдию схоронил, так и затосковал. Оне ить душа в душу шестьдесят годков прожили и, поверишь ли, ни разу не ругивались. Да, тоскова-а-ал. Да и она, видать, там тоже по ёму тосковала, вот и забрала к себе. Ить как раз на сороковой день и забрала. Помянули, как полагается, на погост сходили, потом чаю попили, по рюмочке на помин души выпили. Утром прихожу, а Федор-то Андреич все сидит в красном углу, к стене привалившись. Видать, сразу опосля нас и помер, сердешный. Слава те, господи, не намаялся. Тоскова-а-ал дед-то» («Тоскова-а-ал»).

Интересно, иногда немного комично выражается любовь у более молодого поколения. В рассказе «Гостевали» Степан, сделав нехитрые расчеты, покупает водку на все время отъезда жены в санаторий, чтобы заглушить тоску, «ведь за все годы семейной жизни это была первая столь продолжительная разлука». А в рассказе «Проталина» заботливая жена, несмотря на недовольство, отправляется искать по всей деревне бутылку водки для мужа, болеющего с похмелья.

У жителей города совершенно другие ценности и заботы, их интересы чаще возвращаются вокруг благ материальных, и не всегда важно, каким путем они достанутся: друг шантажирует друга, желая получить его квартиру, подставляя при этом невинного человека («Пресс»), а молодой женщине в «лихие 90-е» приходится забыть о том, что она – «слабый пол», и взяться за оружие, чтобы защитить свой бизнес и обеспечить себе достойное существование («Супарень»).

В городе царят суета, движение вперед, стремление найти себя, что-то поменять в жизни, и в то же время чувствуется некая утомленность от всего этого, стремление вырваться из замкнутого круга. Так, женщина средних лет, устав от обыденности, отсутствия эмоций, заводит молодого любовника: «У нее все хорошо. Дома мир и благодать, любящий заботливый муж. Чего не хватает? Остроты ощущений? Ну, в общем-то – да... С годами всё как-то притупилось, стало привычным...» («Мамулька»), а немолодой актер провинциального театра пьет водку под деревом, не желая возвращаться домой и слушать длинный монолог жены о его никчемности, вечно недовольной тем, что «...у них добытчиком приходится быть ей, хрупкой женщине, которой хочется жить в нормально обустроенной квартире или еще лучше – загородном доме, ездить на хорошей машине, а не на подаренных её отцом “жигулях”, которые старше их замужней дочери, красиво одеваться, иметь дорогую косметику, чтобы не стесняться выходить на люди» («Котенок»).

Жители деревни не так избалованы, они умеют ценить то, что имеют. Какую радость в рассказе «Шумахер» испытывает Серега Сорокин, купив при помощи отца не новый, но собственный автомобиль: «Ой! А соседки-то! Соседки-то! Они же во все глаза глядеть будут: кто это на такой белой машине приехал? К кому это гости пожаловали? А Серега опустит стекло и будет приветливо махать всем рукой: мол, смотрите, это я, Сережка Сорокин, на своей машине еду».

Одна мысль о том, как он теперь будет проезжать по деревне мимо девчонок, доставляет ему такое удовольствие, которое, наверно, никогда не испытает житель города, для него новенький автомобиль – всего лишь показатель престижа, им уже никого не удивишь. Такая непосредственность, граничащая с детскостью, в поступках, казалось бы, взрослого, серьезного парня встречается и в других рассказах Иванова.

Языковая сторона рассказов характеризуется простотой повествования, обогащением литературного языка за счет живой разговорной речи. Используя выражения, принадлежащие к разным стилистическим рядам, автор создает контраст между книжной и разговорной речью, а также подчеркивает различие, индивидуальные особенности носителей этой речи. К характерным чертам языка деревенской прозы Леонида Иванова можно отнести широкое употребление разговорной лексики и просторечных, местных выражений, интенсивное использование экспрессивной лексики, богатство и красочность эпитетов.

В заключение хотелось бы процитировать слова Якова Павловича Вакуленко, героя рассказа «До ста лет без старости», старого, мудрого человека. В его словах достаточно ясно прослеживается отношение к происходящим событиям, противопоставление духовности и моральных устоев «старой» деревни бездуховности города: «...Я ведь нравочениев не читаю. Вы, молодые, никого теперь слушать не хотите. <...> Вообще раньше веселья больше было. На все праздники вечера проводили, песни пели, танцевали. А теперь что, за стол сядут, стопку за стопкой наливают, вот и все веселье. Не умеете вы теперь жизни радоваться. Все злые, ругаются. <...> А воровство возьми. Да у нас в Сибири даже в городах дома не запирали, если куда уходят. А теперь и в деревнях все на запорах, а в городе вообще страх посмотреть. Дома все в решетках, двери железные. Разве это дело, так жить, всего бояться?».

Таким образом, Леониду Иванову в своих произведениях удастся ярко передать многие реалии «старой» деревни: сохранившиеся традиции, сочетание веры и суеверий у стариков, непонятные, иногда забавные для горожан проблемы (например, процесс случки коровы с единственным быком на всю округу, которому целиком посвящен рассказ «Бантик для Геракла»), размеренный образ жизни, а также процесс столкновения деревни с новыми ценностями, «завозимыми» из города.

Людмила КОЗЛОВА

СИБИРЬ СОБОРНАЯ

О работе общественно-благотворительного Фонда «Возрождение Тобольска» в 2014 году

Сгущаются краски каждого дня, увеличивается давление финансового пресса, летят стрелы агрессии извне – по ощущениям 2014 год воспринимается как предгрозовой. Где-то в исторической памяти народа перекликаются с настоящим днём те давние – предвоенные настроения. А между тем продолжается нарастание информационного потока, который, удваиваясь каждые полтора года, кажется, стремится сделать качественный скачок – из состояния накопления информации перейти в состояние информационной войны. Всё-таки удивительное создание человек – любой продукт цивилизации умеет превратить в оружие, будь то металл, химическое соединение, просто еда или даже виртуальный мир.

Информационные пушки уже (по факту!) приравнены к реальным, стреляющим зарядами с ядерными боеголовками. И человек стремительно меняется в условиях жесточайшей информационной войны. Агрессивная информация вытесняет эмоциональное начало, и вот уже никого не потрясает гибель детей, женщин, стариков, картины сметённых с лица земли городов. Где-то в просторах Интернета можно найти фотографию столицы Ливии – Триполи, некогда фантастической красоты города, после авиабомбардировок. На месте города остались изрешечённые снарядами руины, напоминающие лунный пейзаж. Сейчас примерно так же выглядят некоторые кварталы городов в Новороссии. Это катастрофические итоги информационной войны.

Противопоставить разрушительному действию информации можно лишь информацию противоположного свойства. Так, общественно-благотворительный Фонд «Возрождение Тобольска» в 2014 году выдвигается на передовую фронта двадцать первого века. Книги, воссоздающие исторический и современный облик Сибири, вовлечение в творчество, в сотворчество и системное просвещение больших масс людей – это война за души людей, за землю русскую, за Россию.

В 2014 году как никогда обширной была издательская работа Фонда – вышли в свет и разошлись по бескрайним просторам России четыре тома альманаха «Тобольск и вся Сибирь», посвящённые истории и современной жизни сибирских городов – Кургана, Бийска, Тары, Якутска.

Все тома альманаха «Тобольск и вся Сибирь», изданные в 2014 году, продолжают традиции Фонда по воссозданию реальной истории сибирских городов, за многие годы «подправленной» пропагандистской машиной большевизма, рьяными создателями «нужных» концепций, «ревизией» архивов и другими инструментами искажения реальности.

Двадцать третий том альманаха открывается репродукцией картины современного художника Хорошаева В.М. «Вид города Кургана на реке Тобол в 1913 году». Курган под сибирским облачным небом смотрится празднично и торжественно. Купола храмов придают городу вид устремлённого в небо поселения покорителей Сибири. Но следующая фотография, шагнув через два десятилетия в 1934 год, приближает нас к окраинам за заставой Кургана. И мы видим, что не только праздник

в белокаменных храмах был в жизни горожан, но и будничная жизнь в деревянных домах, где и проживала большая часть населения. Многие из старинных домов пережили и рубеж двадцатого столетия, шагнув вместе с жильцами в двадцать первый век. Простые русские лица – много фотографий жителей Кургана конца 19-го – начала 20-го столетий. Это люди, на долю которых выпали Первая мировая война, революция 17-го года, гражданская война, репрессии, Великая Отечественная война. И тем полнее и благодатнее воспринимается современный город Курган, который смотрит на нас со многих страниц двадцать третьего тома альманаха. Тем более ценной видится история Царёва городища, которое, пережив века, превратилось в город с мощным экономическим и научным, транспортным и машиностроительным потенциалом – жемчужину Сибири и Зауралья.

Сибирский город Тара поселился в двадцать шестом томе альманаха «Тобольск и вся Сибирь». На первой странице юные лица – хоровод на проводах зимы. Далее – лето – тоже улыбки юных горожанок на фоне деревянного резного дома. Дети на празднике «Мы – дети солнца». Это потомки тех, кто пришёл когда-то по царёву Указу «на Тару реку Кучума царя истеснить, и соль устроить». Двадцать шестой том альманаха подробно и с любовью воссоздаёт историю Тары – города первопроходцев, который два столетия снабжал солью пол-Сибири и все окрестные поселения. Потрясают душу исторические рассказы о ссыльных, репрессированных, раскулаченных и репатриированных гражданах Отечества. Неоднозначна история России, а история Сибири и града Тарского наполнена не только героическими подвигами первопроходцев и строителей, но и трагическими страницами страшных потерь во времена коллективизации, репрессий, когда люди, собственным трудом строившие жизнь, в один миг оказывались выброшенными из общества с клеймом изгоя. Город Тара не избежал многого из того, что выпало на долю двадцатого века. Альманах «Тобольск и вся Сибирь» – многотомная сибирская энциклопедия, в которой историческая Правда поставлена во главу угла, поэтому таланты народов Сибири, их долготерпение, любовь к родной земле и, непременно, почитание Правды и Справедливости – всё это нашло место и в описании города Тары. Наверное, поэтому заканчивается альманах фотографиями ветерана Великой Отечественной войны, задумавшегося о прошлом, и мальчика и девочки, с улыбкой вглядывающихся в будущее.

В 2014 году вышел из печати и том альманаха, посвящённый Бийску, где рассказана история превращения города, некогда утопавшего в болоте, в современный наукоград. История, которая достоверно показывает, какими путями, какими человеческими усилиями рождается то, что мы называем Цивилизацией. От первых малых шагов – устного приказа Петра I подготовить текст грамоты кузнецкому воеводе стольнику Михаилу Овцыну с повелением соорудить укрепленный пункт у слияния Бии и Катуня, создания пожарного дела в Бийске, открытия женской прогимназии – к истории знаменитого Чуйского тракта, грандиозной стройке 50-60-х годов 20-го века, созданию оборонного комплекса и, наконец, преобразованию города в наукоград. В книге о Бийске фантастическая, но в то же время реалистическая история наукограда расцветена лицами людей, которые сейчас составляют славу города, Алтая и России. Книга освящена живым духом тех, кто жил и живёт в городе, считая его родным и единственным на земле. Издание книги «Бийск» в сибирской энциклопедической серии альманаха «Тобольск и вся Сибирь» – великолепный способ продолжения памяти того грандиозного государственного подвига

многих людей, которые сделали город форпостом современной технической науки. Этот проект, рождённый в СССР, сравним лишь с масштабом петровских преобразований России. Во многом благодаря строительству оборонного комплекса и исследовательским научным достижениям большого коллектива энтузиастов город продолжает жить и сейчас.

Своеобразна и колоритна история старинного города Якутска – центра сибирской алмазной долины. Девятнадцатый том альманаха «Тобольск и вся Сибирь» открывает «Зимняя дорога» – фотография бесконечной равнины, заваленной снегами, где торят дорогу к дому санные упряжки. Морозным дыханием Севера веет от этой картины. Дыхание веков ощущается и в знаменитых Шишкинских скалах, где в древних наскальных рисунках снова повторяется тот же сюжет – караван с повозками и всадниками в бескрайних просторах Якутии. Возраст наскальных росписей на правом берегу Лены в местности Шишкинская шаманка в 18 километрах ниже посёлка Качуг датируется десятью тысячами лет. Все они – главный символ сибирских петроглифов. Якутск – город с 380-летней историей. Якутск – это богатейшие запасы полезных ископаемых, крупнейшие в мире алмазные месторождения, своеобразные и многочисленные народные ремёсла и промыслы, это и величественная река Лена с фантастически живописными скальными берегами, неповторимая древняя культура шаманизма, но и устоявшиеся во времени православные традиции, хранимые и Никольским храмом, и Спасским монастырём, и укладом жизни горожан – потомков казаков-первопроходцев. Якутск – хранитель народного героического эпоса Олонхо, внесённого ЮНЕСКО в список шедевров устного нематериального наследия человечества. Одним из самых ярких материалов девятнадцатого тома является статья главы городского округа и города Якутска Айсена Николаева, в которой удивительным образом высвечена душа древнего северного города и душа народа: «Якутск – столица алмазного края – стоит на берегу самой большой сибирской реки Лены. Красавицей называют её поэты. Кормилицей величают жители приречных городов и сёл... Сильные духом люди живут в Якутском крае... Ход истории оценивают, неизбежно вспоминая имена людей, совершивших великие подвиги, научные открытия, победы, задающие тон развития цивилизации. Наше время будут вспоминать по нашим поступкам. Спросите себя: что сделали мы, каждый из нас, чтобы прославить свой город в глазах потомков?» Девятнадцатый том альманаха как раз и являет нам путь, который устремлён в будущее – путь духовной работы, великой работы содружества «Тобольск и вся Сибирь».

Среди изданий Фонда в 2014 году особняком стоит бесценный словарь-указатель «Изобразительное искусство Сибири XVII – начала XXI вв», куда вошли статьи о жизни и деятельности художников, искусствоведов, специалистов музейного дела, исследователей, художников-педагогов, коллекционеров, меценатов, общественных и государственных деятелей. На двух с половиной тысячах страниц читатели, исследователи, творческие люди найдут более пяти тысяч статей, написанных на основе двух тысяч первоисточников – письменных, архивных, документальных и электронных. Читая эту грандиозную книгу, видишь воочию, сколь огромен потенциал коллективного интеллекта, созидющего цивилизацию. Но не менее важны и усилия тех, кто, создав Словарь, сохранил память и плоды трудов великого числа творцов.

Любители поэзии получили из издательских анналов Фонда уникальный сборник из одиннадцати поэтических тетрадей Дмитрия Мизгулина.

Сложносоставной сборник даёт возможность читателю не спеша прочесть одну тетрадь за другой и оценить вот такую, очень удобную для пользования современную форму издания. Это яркий пример творческого издательского подхода к поэтической книге. Все одиннадцать тетрадей оформлены в едином «осеннем» стиле – приглушённые краски листопада сопровождают читателя от первой страницы сборника до последней, помещая его в пространство спокойного, глубокого раздумья, когда слово поэта становится главной нотой, резонирующей в душе. Поэтический вкус издателей непогрешим, ведь молитва в поэзии Дмитрия Мизгулина – это образ его мышления и способ духовного охранения самого дорогого, что может быть у человека – его Родины.

Прекрасным подарком коллегам и читателям стало фундаментальное издание «Двадцать лет вместе» – это итоговая книга, где в статьях, фотографиях, отзывах и документальных свидетельствах представлен весь путь Фонда за два десятилетия.

Человечество оставляет след в истории в виде материальных сооружений, изобретений, продвигающих технический прогресс, в виде живописи, скульптуры, но всё-таки долговечнее всех – слово, запечатленное в книге, которое один человек может изустно передать другому. Слово, которое витает в воздухе и внедряется в память многих поколений. Общественно-благотворительный фонд «Возрождение Тобольска» уже создал своё Слово, и оно на наших глазах становится легендой о людях, жизнь положивших на работу ради Будущего, причислив тем самым себя в Сибирское Воинство Духа. Вот именно эта Легенда и записана в издании «Двадцать лет вместе», где отмечены все основные вехи долгого пути гражданского Подвига, терпеливо совершаемого содружеством Фонда «Возрождение Тобольска».

Повседневная коллективная работа заполнила все дни 2014 года, ставшего достойным продолжением в создании живой настоящей Летописи Сибири, в которой неизбежно торжество Правды.

Бийск, Алтай

Юрий ГОЛУБЧИКОВ

ФИЛОСОФИЯ СИБИРИ*

Читая А.К. Омельчука, невольно думается: вот такой, наверное, книгой пространства, неразорванной на рельеф и людей, и должна быть география. Вот так должна она передавать облик страны и образ ее, запечатленный в ней в своем замысле и воплощении. Такой открывают нам Сибирь книги писателя и отечествоведа Тюмени Анатолия Константиновича Омельчука. Его богатое творческое наследие настоящего географа органично продолжает книга «Сибирь – сон Бога». Прекрасно иллюстрированная, в том числе и экспрессивно-лиричными зарисовками автора, она оставляет впечатление философской антологии бесед Анатолия Омельчука со столь же мудрыми сибиряками и сибиреведами. Среди них Валентин Распутин, Иннокентий Смоктуновский, Дмитрий Замятин, Сергей Шойгу, Юрий Неёлов, Барантой Бедюров, Фёдор Гиренок, Виталий Ларичев.

Напрасно автор переживает вначале, что название книги не передаст ее содержания. Они как раз очень даже созвучны своим единым восторгом перед Сибирью, значит, и перед Россией. Сибирь ведь – это и есть Россия. Когда вы пересекаете океан или хотя бы Босфор, то понимаете, что попадаете в другую часть света. Другие города, другие люди. В России этого нет. Урал «не только не разъединяет, а, наоборот, самым тесным образом связывает Доуральскую и Зауральскую Россию» – писал Петр Савицкий. Тундровая и таежная природные зоны одни и те же по обе стороны Урала. За исключением юго-западного угла страны, вся Россия и есть Сибирь, а наша северная столица и есть ее столица. Чем Европу тянуть до Владивостока, разумнее Сибирь до Осло растянуть.

Нет таких слов, которые могли бы выразить размах нашей Сибири. Она значительно обширнее такого материка, как Австралия. Контуром Сибири можно свободно накрыть три Индии или две Западные Европы. Даже США и Китай уступают по размерам нашей Сибири.

Сибирь даже больше современной России, фрагмента когда-то вырванного из целого. Мало кто ведает, что территория старинной Тобольской губернии превышала по площади современную РФ. Потому что включала вместе с Вятской волостью не только почти весь современный Казахстан, но еще и Аляску, самый нынче большой штат США. Было это в те времена, когда мы настоящих американцев (индейцев) в православие обращали и гордо именовали себя трансконтинентальной державой с Тобольской губернией, раскинувшейся на три материка (Европу, Азию, Северную Америку).

«Сибирь – сон Бога» прививает любовь к Сибири, а это лучшее, что можно сделать для конструирования будущего России. А любовь начинается с восхищения. Выясняется, нам есть чем гордиться. Это наши имперские атрибуты, которых мы как бы стесняемся, наше положение на перекрестке цивилизаций, великий русский язык, русская культура. «История Российской империи не позорна. Возможно, это лучшая империя в истории человечества», – пишет Анатолий Омельчук. Россия – геополитический продолжатель самых крупных в истории межконтинентальных империй: держав гуннов, Чингисхана, царей и Союза. Через Византию наша страна унаследовала наследие Древней Греции. Сама формула „Москва – третий

* Анатолий Омельчук. СИБИРЬ – СОН БОГА – Тюмень. ООО «Инфо-плюс», 2015, 408 с.

Рим» напоминает о верности России первоначальным канонам христианства. Она могла бы стать в этом отношении Меккой православия, к которому в мире пробуждается все больший интерес. Именно тут наибольшего накала достигает «поле мистеральных игр Бога» и связанное с ним мистическое «умозрение в красках» – от иконописи до Геннадия Райшева.

Испанцы гордятся своими воинственными конквистадорами. Англичане воспевают мужество своих мореплавателей. Создание же Народной Империи, которую создали русские землепроходцы в своем движении на восток, не стало базовым компонентом отечественной истории. Во всей всемирной истории невозможно указать другого подобного примера окончательного завоевания столь обширных пространств с таким сложным этническим составом, в столь короткий срок и таким ничтожным количеством людей. В то же время англоевропейцам для того, чтобы освоить территорию Северной Америки от Атлантического до Тихого океана, понадобилось около 350 лет. На границе Аляски и Канады русское племя встречается с англосаксонским. Две ветви европейцев, направившись в разные стороны почти из одного центра, вновь сошлись на другом конце земного шара. История их народов – есть история колонизаций.

Но если национальным триумфом американской истории стала своеобразная «фронтирность», сложилось целое направление исследований роли фронта в формировании нации и государства, то у нас нет какой-либо «землепроходческой» атрибутики, подобной ковбойской или золотоискательской, ни атрибутики «Дикого поля» как степной границы между Востоком и Западом, между мусульманской и христианской цивилизациями, не говоря уж о западном фронтире, утвердившемся в Черновцах, Львове и Риге. Мы как будто стесняемся своих колониальных завоеваний. Их история выпала из российской идеологии и географии. Книги Анатолия Омелячука делают все возможное для ее возрождения.

Некоторым московским умам Сибирь не нужна. Сырье, говорят они нам, многого не стоит, а стоит что-то стоящее, например, компьютеры или новые марки автомобилей. «Не лучше ли, – язвят мастера парадоксальных вопросов, – вместо северного завоза организовать вывоз северного населения». Ставится вопрос об ограничении прав государств, не способных распорядиться выпавшими на их долю природными богатствами «нашего дома – космического корабля Земля». Густозаселенные и цивилизованные страны, мол, имеют на них свои права. «Наши пространства – обуза и беда, без них мы бы давно уже были в самой Европе, стали бы полноценным членом сообщества цивилизованных стран». Оттого, наверное, россияне в своем большинстве не усматривают в потери пространства особой беды. «Живут же маленькие Нидерланды!» – восклицают они. Не потому ли столь легко, в одночасье, одну из величайших стран на земле удалось свергнуть в рамки начала XVII века?

Забывается, что пространство, по словам выдающегося географа-патриота Ю.К. Ефремова, природный ресурс высочайшей дороговизны, вместилище всех других ресурсов и богатств. В кульминационные моменты войн, называемые сражениями, дело чаще всего сводится именно к захвату известного пространства. Людей кладут насмерть за клочок любого пространства. И сегодня мы видим, как Украина, не раздумывая, разменивает своих граждан на донбасское пространство. Ее правители знают: людей можно будет заменить другими людьми, незаменимых людей нет, а вот пространство заменить будет нечем. Наши прадеды оставили нам великое достояние. Значительная часть их работы по обретению пространства могла быть проделана только однажды и в строго свое время. Только отдаем

мы, не нами добытое, за один день и бедственную «беловежскую» ночь.

«Сибирь – колыбель человечества», – твердо произносит вслед за последними археологическими открытиями Анатолий Омельчук – Нет, я не настаиваю. Пусть все остальное человечество меня не поддерживает... могу предположить, что это заблуждение. Но: хочу заблуждаться» (С. 27). Нет, автор не заблуждается. Описывая в беседах с сибирскими археологами Диринг-Юрях на Лене, Сундуки в Хакасии, Денисову пещеру на Алтае, Мальту у Байкала, он утверждает существенную роль Сибири в становлении человека и человечества.

Как о «вулкане народов» писал об южносибирских горах великий Н.В. Гоголь. Затем сибирскую историю надолго сковали представления о материковом оледенении. Для Севера и Сибири они очерчивали пределы в 10–12 тысяч лет. Замораживались археологические изыскания, где раз царило оледенение, то «незачем и нечего» искать. Дело в том, что в период, относимый к ледниковому, появился человек. А его появление эволюционное учение не мыслит без медленных и постепенных изменений природной среды обитания определенного вида обезьян. С этой доктриной хорошо согласуется учение о медленно наступавших и отступавших ледниках. Приспособления к холодеющему климату как раз и представляли те длительные отрезки времени, что позволяли паре или нескольким парам наиболее продвинутых обезьян обзавестись столь неожиданным для них потомством. А что, если бы человекообразных обезьян не оказалось? Остались наиболее близкими родственниками человека, допустим, кошки? Можно ли было бы тогда утверждать, что с наступлением ледникового периода какие-то кошки наловили себе мышек, чтобы из их шкурок пошить себе шубок. Те, что не пошили, вымерли, а те что пошили, – пошли в люди?

В зависимости от принимаемой концепции, оледенения или потопа, мы получаем две диаметрально противоположные картины человеческой истории, две антологии жизни. Если Сибирь охватывал ледник, то человек, безусловно, тропического происхождения и пришел из Африки. Его переходы хорошо передают красочные изображения на стенах естественно-научных музеев и биологических кабинетов. Сначала ходящие на четвереньках обезьяны встают на задние лапы, затем победоносно шествуют с тяжелым копьём на плече, превращаясь в человека, почему-то непременно в виде только мужчины белой расы, иногда даже в современном костюме с галстуком.

Но если ледника не было, если сибирские равнины заливал потоп, как об этом доносят все предания, то тогда, возможно, само человечество сохранилось в горах Южной Сибири и расселялось оттуда. Тогда и сам человек предстает чем-то вроде «падшего ангела». Значит, не закрыты для него пути к новым преобразованиям и возвышениям.

Многими своими возвышениями обязана человеческая мысль Сибири. На ее примере были смяты представления о древнем складкообразовании как о главном пути образования земного рельефа. Родилась неотектоника. Здесь биологическая наука выявила одно из самых эндемичных земных образований – озеро Байкал. Оно породило целый ряд новых представлений в биологии. С берегов Байкала берет начало российское социально-экологическое движение, очистительным смерчем сметшее многое из отжившего.

«Сибирь – сон Бога» продолжает дарить новые представления общечеловеческого звучания. Думается мне, что очень не скоро, когда нас уже не будет, напишут, что книги А.К. Омельчука родили родиноведение, науку замысловатую, сплетенную из диалогов и раздумий, и даже не науку во все, а вид творчества. И каких отсюда, от сибирских глубин, ждать новых обновлений, каких сновидений?!

Ханиса АЛИШИНА

ДВА ПИСАТЕЛЯ – ДВЕ ЗВЕЗДЫ

Анна Чудинова в статье «Лагунов как олицетворение литературы» рассказала о том, что в литературно-краеведческом центре на Первомайской прошла встреча тюменских писателей, литературоведов и журналистов, посвященная 90-летию Константина Яковлевича Лагунова. На вечере были Сергей Комаров, Николай Денисов, Виктор Строгальщиков, Александр Петрушин, Ольга Лагунова. Думаю, там мог бы быть и наш Булат Сулейманов (ему сейчас было бы всего 76).

В связи с юбилеем корифея Тюменской писательской организации вспомнились некоторые детали общения с выдающимися людьми эпохи. Константин Яковлевич Лагунов в 1994 г. дал мне рекомендацию для вступления в Союз журналистов, которым тогда руководил Виктор Строгальщиков. Жаль, не сохранила ксерокопию рекомендации с автографом... Твердой рукой размашистым почерком в моем присутствии маэстро начертил несколько объемных фраз обо мне. Закончив писать, вдруг заговорил о Булате... Смысл высказываний был очень позитивный, кажется, Константин Яковлевич постарался акцентировать моё внимание на том, что помог Булату получить квартиру... Человек, помогший страждущему решить жилищную проблему, равен богу!

Многие были в той квартире, в том числе я... Булат в 1990 году организовал в Тобольске научно-практическую конференцию «Сибирские татары: прошлое и будущее». Зачин был хороший, по крайней мере, отсчет популярной Всероссийской конференции «Сулеймановские чтения» я веду с той первой, тобольской конференции. Там он дал мне тюменский адрес, сказав, что подарит карту Сибири XVII в. Окрыленная, не откладывая дело в долгий ящик, я полетела добывать карту, преодолев смущение и страх. Сначала позвонила Булату, напомнив, что несколько дней назад он обещал подарить карту Сибири. Потом по бумажке нашла его двухкомнатную квартиру в девятиэтажном доме на высоком яру, где возле мостика улица Республики плавно перетекает в улицу Воровского, поднялась на пятый или шестой этаж, с волнением нажала на кнопку звонка. Булат встретил в дверях. Правая кисть руки была забинтована, сказал, что порезался. Тут же стал показывать квартиру, теперь я понимаю, это был предмет его гордости.

Сохранилось письмо от 1977 г. на имя секретаря обкома Лутошкина: «С августа 1976 г. я работаю по приглашению секретаря Тюменского отделения Союза писателей К.Я. Лагунова в областном бюро пропаганды художественной литературы. Живу прямо в бюро, потому что негде жить. Для писателя самое главное – жилье. Я прошу Вас помочь мне, кроме обкома никто не поможет».

Вот гостиная, на столе находится самое ценное – пишущая машинка, вот комната отдыха, на раскладушке посапывал какой-то мужчина, гость Булата, кухня, на двери которой красовался предвыборный плакат с портретом кандидата в депутаты Булата Сулейманова (когда и кем выдвигался, не знаю). В прихожей – маленький столик с телефоном, стул. Здесь я напомнила хозяину, что пришла за картой. Булат быстро вынес из дальней комнаты листы, которые оказались ксерокопией из книги Г.Ф. Миллера «История Сибири». Он величественно вручил их мне, обратив мое внимание

на то, что на всем пространстве Западной Сибири в ХУП в. красовалось слово “татары”, добавил, что эта карта – его козырь в дискуссиях с начальниками, сидящими в кабинетах... Разочарованию моему не было предела. Вежливо поблагодарив Б.В. Сулейманова, я вышла из его жилища.

Булата знали многие тюменцы, но немногие из них в письменном виде поделились своими воспоминаниями. К счастью, на татарском языке о нем написали знаменитая Сагида-апа Хайруллина и ее гражданский муж Анас Гаитов. Тюменские татары помнят и ценят Сагиду Хамидулловну за то, что она одной из первых начала проводить вечера на татарском языке, встречи с видными и талантливыми земляками наподобие телевизионных встреч Валентины Леонтьевой «От всей души».

Передаю слово С.Х. Хайруллиной¹. «К счастью, в журнале «Казан утлары» в 1983 г. напечатали подборку стихов Б. Сулейманова. «О-о-о, оказывается, и в Тюмени есть татарские поэты!» – воскликнула я и немедленно отправилась в Союз писателей, – пишет Сагида Хамидулловна. – Там меня встретила симпатичная русская женщина: «Да, есть такой поэт. Мы его очень любим. Он и на русском, и на татарском языке выступает. Приглашайте, не пожалеете», – сказала женщина и дала его телефон, по-моему, 1-04-80. В тот же день я позвонила и получила согласие: “Парам, парам, кайцан пулаты оцрашу?” [Пойду, пойду, во сколько будет встреча?] Вечер состоялся 20 июня 1984 г. в концертно-танцевальном зале”.

В этом эпизоде мне понравилось выражение русской незнакомки “Мы его очень любим”. Действительно, судя по сохранившимся высказываниям коллег, они любили, ценили, жалели Булата. Чтобы не быть голословной, приведу несколько авторитетных мнений. «Однажды ко мне в гости из медвежьей своей Супры нагрянул татарский поэт Булат Сулейманов. Человек весьма тяжелой судьбы и почти невыносимого характера. ...До петухов спорили о поэзии. Булат кипел, точно вода в чайнике. Стихи его широко печатали в престольной Казани. Он даже стал лауреатом одного из журналов. Однако в Тюмени такого поэта, как Сулейманов, вроде бы не существовало. Он, многое понимавший, не понимал, что признание к поэту приходит после его смерти. И ворчал, что в областном центре нет даже плохих переводчиков. Да и вообще ворчал – переворчать его мог только трактор – на всех и вся, потому что не видел впереди желанного просвета» (Борис Галязимов, член Союза российских писателей).

“Булата Сулейманова ждет большое будущее. Он ответственен перед сибирскими татарами и должен всегда помнить: сегодня в литературе он один представляет сибирских татар” (Сибгат Хаким, народный поэт Татарстана). «В любом обществе обязательно бывают люди, чья мысль опережает время, взгляды современников, которых понимаем с опозданием. Таким был мой земляк и друг, у кого я останавливался жить, будучи в Тюмени, сибирско-татарский поэт Булат Сулейманов, которому я посвятил в общем-то рядовой свой рассказ «Шамайка» в книге «Земляки». Он был именно таким в свое время – великим в мыслях и движении души и наивным, беспомощным в поступках повседневных, житейских» (Габдель Махмут, член Союза писателей РФ).

«Он был прежде всего поэтом, редким, потому что истинным. Легко ранимым. Обидчивым, но и отходчивым. Он был первым профессиональ-

¹ Все воспоминания, приведенные в тексте, переведены мною с татарского на русский язык (Х.А.).

ным поэтом своего народа – сибирских татар» (Александр Гришин, член Союза писателей РФ).

«Человек, на первый взгляд, сложный по характеру, он был эмоциональным, притягивал к себе. Энергия исходила из него самого и его изумительных стихов. Светлым, добрым остался в нашей памяти наш любимец, мой соплеменник – татарский поэт Булат Сулейманов» (Фарид Баязитов, член Союза журналистов РФ).

«Мало его переводили на русский язык. Но то, что читал в переводах, свидетельствует о таланте, о своеобразной восточной образности, афористичности» (Николай Денисов, ответственный секретарь Тюменского регионального отделения Союза писателей России).

«Уроженец Вагайского района Булат Сулейманов много лет жил в Тюмени, знал ее историю и хотел, чтобы к русской истории областной столицы добавили не менее длительный татарский период, когда она была столицей довольно просторного государства и называлась Чимги-Турой (Чинги-Турой, Цимги-Турой) и Тюменью» (доктор сельскохозяйственных наук, профессор А.С. Иваненко)...

Далее С.Х. Хайруллина рассказывает о визите к Булату Сулейманову. «В те годы вслед за сборником стихов “Таннар фонтаны” вышла его очередная книга “Ак метеор”. Я попросила для нашей библиотеки, в которой работала, хотя бы один сборник. Он тут же меня и Венеру Хайруллину пригласил к себе домой в гости. Весна, утро, тепло, тает снег. Мы с Венерой зашли в магазин, купили свежих огурцов, отправились в гости к Булату. Он был не один, имя того человека забыла, помню только, что он организовывал какой-то кооператив... В доме чисто, на полках множество книг. Увидев имена татарских авторов, я воскликнула: “Сколько новых книг, а у меня нет ни одной!” Он смеется: “Почаще в Казань надо ездить...” Сели пить чай, а хлеба-то нет... Так с шутками-прибаутками и угостились горячим чаем вприкуску с зелеными огурцами. К нашей великой радости, Булат на прощание подарил мне и Венере свои книги...”

Булат Сулейманов был знатоком истории родного народа. По воспоминаниям Сагиды Хайруллиной, во время встреч с татарским населением любил делиться своими знаниями о происхождении сибирских татар. Великий К.Я. Лагунов, в течение двух десятилетий возглавлявший писательскую организацию Тюменщины, поддерживал, с большим уважением относился к общественной просветительской деятельности молодого поэта. Вот слова самого Б.В. Сулейманова: “Константин Яковлевич говорил мне: “Булат, твое время пришло, действуй, я тебе помогу”.

9 мая 1988 г., пишет Сагида Хамидулловна, была организована встреча с К.Я. Лагуновым. «К назначенному времени пришли сам Булат, Гаитов Анас, Юсупова Нилюфэр, Ильясова Танзиля, Хакимов Фарит, Ташбулатов Булат, Курманова Кадрия, Ибрагимов Шакирчан, Тимергазиев Минсалим, Усманов Рихат. Эта встреча оставила глубокий след в сердцах пламенных патриотов, потому что Константин Яковлевич сказал незабываемые слова: «Вы как коренной народ можете организовать свою автономию, это ваше право!» Вот как высоко ставил наш народ великий русский писатель! Однако в 42 номере «Тюменской правды» от 18 февраля появилась публикация заслуженной учительницы Джамили Массагутовой, направленная против Булата, Анаса и Лагунова, со следующими словами: “Хотелось бы знать, какое отношение имеет уважаемый писатель к сибирским татарам?” Стыдно перед Константином Яковлевичем, говорят, она ему и домой звонила, ругала. В том же году Анас и Булат стали добиваться открытия

в Тобольском пединституте татарского отделения, но учительница вновь написала в газете: «Не надо нам никаких татарских учебных заведений, пусть едут учиться в Казань или Елабугу». Чего ждать от чужих, если свои так относятся?»

С великой благодарностью я вспоминаю в эти дни Константина Яковлевича. Я была очень удивлена и растеряна, когда, написав мне рекомендацию в Союз журналистов, он отложил ручку и с большим воодушевлением стал приглашать меня перейти к нему на организованную им кафедру журналистского мастерства: «Будешь вести курс о местных печатных средствах массовой информации. Работать некому... Я помогу тебе!» Я, кандидат наук, в 39 лет защитившая диссертацию в Казанском университете по специальности «тюркские языки», подумала, что это будет неправильно, ведь я же ТАТАРКА! Как я, татарка, буду учить русских студентов? (Душу жгли слова Геннадия Золотухина, который сказал мне, сидя в мягком кресле «Тюменской правды» на 10-м этаже Дома печати и показывая рукой в сторону окна: «Вон ваша Монголия! Не буду я печатать вашу статью в газете!» А Фарид Баязитов утешил: «Не плачь, я тебе дам рекомендацию в Союз журналистов, тогда никто не посмеет тебе отказать». Мне и без того было тяжело начинать новое дело на филологическом факультете университета, не было ни книг, ни программ, плюс сама никогда в жизни не училась в татарской школе, да еще и дети пришли со слабым знанием татарского языка...

Здесь я должна сделать лирическое отступление и сказать, что, наверное, я бы справилась. Это же родной университет. ТюмГУ я окончила дважды. На историческом факультете училась с такими известными в городе людьми, как Валерий Борисов, глава управы Центрального района, Юрий Пахотин, главный редактор «АиФ» в Западной Сибири», начальник областного ГАИ Павел Белослудцев, главный редактор журнала «Сибирское богатство» Сергей Жужгин... Какие умные, развитые, ответственные были эти студенты! На филологическом факультете училась с Верой Соловьевой, заместителем главы администрации Тюмени, с Лидой Матаевой, начальником отдела кадров Тюменской областной Думы.

В моей жизни был еще замечательный университет общественных корреспондентов! Ах, какие люди нас учили! Рафаэль Соломонович Гольдберг (главный редактор «Тюменского курьера»), Иван Прокопьевич Фатеев (директор университета, отец и дед всех Фатеевых-журналистов), Александр Христофорович Трушников (журналист ГТРК «Регион-Тюмень», мой конкурент по выборам в Госдуму РФ 1995 г., победивший и уехавший в Москву), Генрих Иванович Мингалев (редактор «Городской страницы» в областной «Тюменской правде»), Альбин И. Куликов, Борис Иванович Сюбаев и др. Из всех слушателей самым талантливым среди нас оказался Сергей Шильников, работающий сейчас экономическим обозревателем «Тюменской правды»...

Да, профессор Лагунов сделал мне тогда очень лестное предложение, но я отказалась. Хотя, должна признаться, до сих пор, словно выполняя поручение К.Я. Лагунова, «мониторю» в Тюменской областной научной библиотеке областные газеты «Тюменская правда», «Тюменская область сегодня», «Тюменские известия», районные газеты «Красное знамя», «Ярковские известия», «Ялуторовские известия», «Сельский труженик», «Советская Сибирь», «Светлый путь». Очень интересны и любимы издания «Тюменский курьер», «Сибирское богатство», «Мир национальностей», «Врата Сибири», появившиеся сравнительно недавно. Сама написала и

опубликовала в СМИ Тюмени, Москвы, Казани, Тобольска, Ялуторовска, Вагая, Ярково более 300 заметок и статей. А душу мою греет чувство благодарности не только за рекомендацию, но более всего за то, что Константин Яковлевич отнёсся ко мне как к человеку, как к равной, увидел мои человеческие достоинства, поверил в мои способности... Спасибо, и прости, уважаемый мною человек, за то, что не приняла тогда твое предложение. Ведь хорошо знала и представляла, с кем имею дело, стеснялась очень...

Я была благодарным читателем романа «Так было», я боготворила писателя Лагунова, писателя Занкиева, написавшего похожий роман-дилогию «Иртеш таннары», писателя Сулейманова, писавшего, кроме стихов, отличную прозу («Абу-баба», «Мама», «Подарок»).

Лагунов теперь открылся для меня с новой стороны. Он помог Булату так, как мне самой когда-то помогли и Фролов Н.К., и Куцев Г.Ф., и Конев Ю.М...

Завершу свою статью редкой публикацией о Булате, появившейся недавно в нашей областной газете «Янарыш». Пишет историк, общественный деятель, страстный краевед, автор многих книг по истории родного края, Почетный гражданин Ялуторовского района Рафаил Магжанов: «Судьба заочно свела меня с Булатом Сулеймановым на страницах газеты «Ленин юлы», издававшейся в начале 1960-х гг. в Тобольске. Встретились и познакомились, когда он в качестве литсотрудника Бюро художественной литературы приезжал из Тюмени в Аслану. Во время долгих домашних бесед он рассказывал о работе, о жизни, о том, что не имеет жилья, о намерении писать про защиту прав человека в ООН. Не знаю, написал или нет, но я храню книгу «Таннар фонтаны» с дарственной надписью: «Другу Рафаэлю. Дарю тебе букет, составленный из моих цветов-стихов. Помни о годах молодости нашей. Булат. 19 июля 1985 г. Аслана». Во время следующей встречи Булат поведал, что ему как холостяку хотели дать однокомнатную, но он сказал, что с ним будет жить его жена, так получил двухкомнатную квартиру. Булат звал меня в гости, рассказывал о поездках в Казань, тепло отзывался о писателе Заки Нури. К сожалению, Булат умер в 53 года, мне так и не довелось побывать в его квартире»...

Литература:

1. Булат Сулейманов – основоположник литературы сибирских татар /авт.-сост. Х.Ч. Алишина, Г.Н. Ахметова – Тюмень: Печатник, 2013. – 200 с. (Жизнь замечательных людей)

2. Гаитов А.Г. Булат Сулейманов турында истэлеклэрэм // Тумашевские чтения: актуальные проблемы тюркологии: материалы III Всерос. науч.-практ. конф. (Тюмень, 15 окт. 2009). – Тюмень, 2009. – С. 221–227.

3. Магжанов Рафаил. Булатнын ядкарэ // Янарыш. – 2014. – 12 сентября. – № 37.

4. Хайруллина С.Х. Булат Сулейманов турында истэлеклэрэм // Тумашевские чтения: актуальные проблемы тюркологии: материалы III Всерос. науч.-практ. конф. (Тюмень, 15 окт. 2009). – Тюмень, 2009. – С. 290–298.

5. Чудинова Анна. Лагунов как олицетворение литературы // Тюменский курьер. 2014 – 12 сентября. – № 166.

КРАЕВЕДЕНИЕ

Станислав ЛОМАКИН

ЗАГАДОЧНЫЙ СТАРЕЦ СИБИРИ

*«Прошедшее нужно знать не потому, что оно прошло,
а потому, что, уходя, не умело убрать своих последствий».*

В.О. Ключевский.

Загадочный томский старец Федор Кузьмич до сих пор привлекает внимание ученых исследователей, писателей, о нем за 150 лет после его смерти написано огромное число статей и книг. Мое внимание к этому старцу началось еще со студенческих лет, на пятом курсе Томского государственного университета, я подрабатывал в Томском педагогическом училище (читал курс лекций по основам философии), а училище стоит на месте разрушенного Богородице-Алексеевского мужского монастыря. Недалеко от него возвышалась гробница, накрытая мраморной плитой с вырезанным восьмиконечным крестом и надписью: «Здесь погребено тело великого и благословенного старца Федора Кузьмича 20 января 1864 года». В 1997 году была восстановлена часовня над могилой старца.

К тому времени мои познания о сибирском старце были скудны, я прочел незаконченный рассказ Л.Н. Толстого 1905 г. «Посмертные записки старца Федора Кузьмича», которые читатель принимал за подлинную исповедь старца. Впервые рассказ был опубликован в журнале «Русское богатство» за 1912 г, №2. Позднее мне попались воспоминания очевидцев, рассказавших о том, что в 1850-е годы Толстой посетил келью старца на пасеке Латышева, село Краснореченское, и в течение целого дня беседовал с Федором Кузьмичом. Прочитанные мною книги Д.С. Мережковского об Александре Первом и В.К. Шильдера о царствовании Александра Павловича (библиотека при Томском университете, одна из крупнейших научных библиотек мира, позволяла иметь такую возможность) оставили меня с неразрешенной загадкой, как, впрочем, и тысячи читателей.

«Александр Павлович, – писал компетентный историк двух царствований В.К. Шильдер, – сфинкс, не разгаданный до гроба». Я прочитал не один десяток работ, посвященных Александру Павловичу – Федору Кузьмичу, но ни на шаг не приблизился к разгадке и мог бы вслед за историком повторить, что и будущие историки будут ломать головы над загадкой, имя которой – Александр Павлович Романов. Легенды, мифы существовали всегда, в различные эпохи, периоды истории развития человеческого общества. Легенды – это инстанция такого рода, что человеку не подобает ни слепо верить в них, ни безропотно отвергать их. Одной из легенд, ставших, по мнению ученых, значимой для России, занимающихся эпохой царствования династии Романовых, возникшей в период правления Александра I и Николая I, стала легенда превращения императора Александра Первого в старца Федора Кузьмича.

Многие известные люди России, и даже императорское семейство, верили в истинность легенды. Писатель В.Г. Короленко писал: «Правда ли это? Возможно ли, что в лице Федора Кузьмича жил и умер Александр I?»

Вопрос, казалось бы, странный, но ведь его допускал известный историк В.К. Шильдер». Одним из первых, кто описал легенду о сибирском отшельнике, был хорошо знавший все тайны царской семьи князь Н.С. Голицын, его легенда опубликована в журнале «Русская старина» за ноябрь 1880 г. Многочисленные исследования последних дней царствования Александра Павловича, скончавшегося 19 ноября 1825 года в городе Таганроге, а также близкие, находящиеся рядом, указывают, что он не болел, и скоропостижная смерть императора вызвала подозрение в ее подлинности. Многие историки и писатели считают, что имела место инсценировка, хорошо продуманная и до сих пор вызывающая неподдельный интерес у всех, кто прямо или косвенно касается этой темы.

Известно, что Александр I тяготился своим положением венценосца и несколько раз предлагал брату Константину заменить его. В одной лишь религии он находил утешение и облегчение своих душевных тревог, он часто посещал монастыри, вступал в продолжительные беседы с духовенством и затворниками, встречался со знаменитым подвижником – пророком Серафимом Саровским. Измученный угрызениями совести, как соучастник убийства императора Павла I, своего отца, Александр Павлович даже помышлял о самоубийстве, но, будучи православным человеком, не взял на себя этот страшный грех и инсценировал свою смерть вдалеке от столицы. Историки, поддерживающие эту версию, считают, что вместо императора в Петропавловском соборе был погребен другой человек, и даже называют его имя – фельдфебель Масков. По воспоминаниям современников, приближенных царской семьи, на смертном одре Александр I был совершенно не похож на себя. Отсутствие императрицы Елизаветы Алексеевны, которая скончалась через полгода, и П.М. Волконского, близкого сподвижника на панихиде и траурных церемониях в Москве и Санкт-Петербурге, говорит о многом.

Забегая вперед, замечу, что имеются недостоверные свидетельства, относящиеся к 1921 году, когда по решению советского правительства в Петропавловском соборе был вскрыт гроб Александра Павловича, но он оказался пустым. А теперь о легенде, как император России стал старцем Федором Кузьмичом. Легенды, как и медицина, частенько пичкают нас плохими лекарствами, настоящие снадобья бывают крайне редко. В 1826 году в Сарове в храме преподобного Серафима появился средних лет человек, который выказал желание стать послушником, его исповедовал сам настоятель, и он был принят в братство под началом Серафима под именем Федора. Через некоторое время храм преподобного Серафима посетил с многочисленной свитой император Николай I, имеются свидетельства, что после торжественной службы и трапезы государь удалился в келью настоятеля, где, кроме него, находился послушник Федор. О чем беседовали трое в течение трех часов, одному Богу известно...

Преподобный Серафим Саровский преставился в 1833 году, а осенью 1836 г. к одной из кузниц на окраине города Красноуфимска верхом на лошади подъехал бедно одетый пожилой человек и попросил подковать его лошадь. Незнакомец объявил себя бродягой, у него не было никаких документов, сказал, что зовут его Федором Кузьмичом, на вопрос, как фамилия и кто его родители, сказал, не помню. Он привлекал внимание к себе не натруженными руками, и, хотя одет был в крестьянскую одежду, в нем чувствовалась аристократическая порода, особый язык, вызывавший сомнение у крестьян. За бродяжничество Федора Кузьмича судили 20 ударами плетью, он был очень доволен такому наказанию и особенно

местом поселения в Сибирь, а точнее, в Мариинский уезд, деревню Зерцалы Томской губернии, куда он прибыл 26 марта 1837 года и поселился в бедной крестьянской семье. Из старого хлева ему сделали келью, в которой он прожил десять лет. Со слов крестьян, знавших старца, он не чурался никакой работы, обладал большой физической силой, поднимал на вилы копну сена и метал ее на стог. Федор Кузьмич отличался простотой быта, носил рубашку из холста, подпоясанную веревочкой, и шаровары, спал на доске, обтянутой холстом, в еде был постник, много времени проводил в молитве, когда старец умер, обнаружилось, что его колени покрыты мозолями от длительного стояния на них.

Старец имел духовника в лице батюшки Петра Петрова. В 1849 году Федор Кузьмич поселился в селе Краснореченское, где ему построил келью крестьянин Иван Латышев, там его навещали Иркутский епископ Афанасий, епископ Иннокентий, ставший впоследствии митрополитом Московским, разговоры они вели на французском языке. Где бы ни находился старец, он старался по возможности работать, занимался с ребятишками, учил их Священному Писанию, грамматике, географии, истории, любил рассказывать о жизни Петербурга, Отечественной войне 1812 года, о полководцах Суворове, Ушакове, Кутузове, Аракчееве. Деньги за свои труды не брал, принесенные продукты отдавал беднякам, у которых были дети. Однажды во время сенокоса крестьяне после ответов на многочисленные вопросы услышали от старца сокровенные слова: «Я сейчас свободен, независим, покоен. Прежде нужно было заботиться о том, чтобы не вызывать зависти, скорбеть о том, что друзья меня обманывают, и о многом другом. Теперь же мне нечего терять, кроме того, что всегда останется при мне – кроме слова Бога моего и любви к Спасителю и ближним. Вы не понимаете, какое счастье в этой свободе».

Федор Кузьмич за свою деятельность, праведный образ жизни и как провидец считался местным населением святым и пользовался всеобщим уважением, в его келью было паломничество людей разных сословий. Александр Второй в бытность его наследником престола встречался со старцем. Известно, что Федор Кузьмич переписывался с разными людьми (некоторые графологи не обнаружили идентичность письма старца и императора, кроме известного юриста А.Ф. Кони, признавшего адекватность почерков, заявив, «что письма императора и записки странника писаны рукой одного и того же человека»), в частности, переписка с бароном Дмитрием Остен-Сакеном, с императором Николаем I велась с помощью шифра. Получив известие о смерти родного брата – императора Николая I, старец заказал отслужить панихиду, на которой долго молился со слезами.

В 1858 году купец Семен Хромов уговорил старца переехать на жительство к нему в Томск. Последние пять лет, проведенных в Томске, мало что изменили в жизни Федора Кузьмича, он жил в полном одиночестве, никого не принимал. После того как его опознали женщина и солдат, признав в нем поразительное сходство с императором Александром, бросившись в ноги старцу, на что тот сказал: «Умоляю вас, молчите, если хотите мне добра, вы ошиблись». Семен Хромов, до конца опекавший старца, накануне смерти спросил его: «Благослови батюшка, спросить тебя об одном важном деле». «Говори, Бог тебя благословит», – ответил старец. «Есть молва, – продолжил купец, – что ты, батюшка, не кто иной, как Александр Благословенный. Правда ли это?» Старец, услышав эти слова, стал креститься и говорить: «Чудны дела твои, Господи... Нет тайны, которая бы не открылась». Федор Кузьмич скончался на 88-м году жизни, год

рождения старца совпадает с годом рождения Александра I. На исповеди старец отказался назвать имя своего покровителя («Это Бог знает»), а также имена своих родителей («Святая церковь за них молится»).

Внимание к старцу после его смерти не ослабело, на что указывают такие факты. В 1873 году могилу Федора Кузьмича посетил великий князь Алексей Александрович, а в 1891-м поклонился святому старцу цесаревич, будущий император Николай Второй, пожелавший построить на месте кельи каменную церковь, строительство осуществлено не было. Появилось исследование биографа Александра Павловича, великого князя Николая Михайловича Романова.

В «Истории русской церкви», изданной в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре в 1991 году, в хронологических списках русских святых, предстоятелей Русской церкви, великих князей, царей, императоров и императриц российских я обнаружил среди святых за 19-й век Святого праведного Феодора Томского, Сибирского (1864). В 1984 году Федор Кузьмич был канонизирован Русской Православной Церковью как праведный Феодор Томский в составе Собора Сибирских Святых. Меня заинтересовало молчание выдающихся деятелей Томска, которые никак не откликнулись на пребывание Федора Кузьмича в городе Томске. В это время в Томске жили: М. Бакунин, Д. Кузнецов, Г. Потанин и др. Особенно меня заинтересовало молчание великого ученого-энциклопедиста Григория Николаевича Потанина (1835–1920), который откликался на все события, происходящие в Сибири, Томске. Я просмотрел письма Потанина, изданные в пяти томах иркутскими исследователями в 1987–1992 гг. (а также присланные мне переписку Г. Потанина с М. Васильевой, огромный том, «Мне хочется служить Вам, одеть Вас своей любовью», изданный издательством Томского университета 2004 года. Какое великое эпистолярное наследие ученого, писателя!). В письмах ничего о Федоре Кузьмиче не сказано, наверное, великие умы заключают в себе и те истины, о которых следует говорить, и те, о которых лучше умолчать...

ПРОСВЕТИТЕЛЬ

Памяти Николая Дмитриевича Зотова посвящается.

Равнодушие, с которым люди относятся к своему питанию, кажется странным, эта странность выражается в легкомыслии людей к еде, приводящих их к соматическим изменениям в организме. Они расплачиваются своим здоровьем, а когда начинают осознавать свое легкомыслие, находят утешение в том, что сосредотачиваются на поисках экологически чистых продуктов, помогающих исцелению души и тела. Конечно, приходится признать, что, с ростом населения во многих регионах земного шара, растет производство модифицированных продуктов, вызывающих изменения в иммунной системе человека. Сегодня известно, что в сельском хозяйстве при выращивании овощей и фруктов, злаковых культур применяются до 200 ядохимикатов, многие из которых – отравляющие вещества прямого действия. Возник «нитратный бум», вызывающий повсеместно потенциальную канцерогенность продуктов. Необходимо учитывать и негативное влияние загрязнения окружающей среды на питание. На этом фоне разыгрывается вся токсикологическая, микробиологическая, инфекционная трагедия общества.

Мой коллега Николай Матвеев придавал большое значение поиску естественных, хороших продуктов питания. И об этом хочется рассказать. Свободное от лекций и занятий в университете время он звонил мне и предлагал поассистировать, прошвырнуться по магазинам, в которых, по его мнению, продукты не имеют большого количества нитритов и нитратов. Посещение торговых точек он предвлял субъективно-средовым воображением, тщательным, до мелочей выверенным продумыванием.

Это был своеобразный ритуал, заранее набрасывался сценарий: сколько взять с собой денег и пакетов, на каких автобусах ехать, сколько пересадок, адреса магазинов, записанных на листках и положенные в мелкие кармашки любимого рюкзака, с которым Николай Дмитриевич не расставался, выходя из дома. В продуктовых магазинах профессор отоваривался частично, немного. Необходимо пояснение: он брал продукты на пробу – мясо, колбасу, рыбу, консервы, которые предназначались для кота Васьки. Васька был дегустатором, непререкаемым авторитетом в распознавании некачественных продуктов, и убедить Матвеева, что кот может ошибаться в своих вкусовых предпочтениях, было невозможно. Друзья посмеивались над чудачествами философа.

Тот, кто смеется над приметам, не всегда умнее того, кто верит им, люди устроены так, что питать иллюзии свойственно не только наивным чудачкам, но и мудрецам. Если Васька начинал есть ишимскую колбасу, она приобретала статус деликатеса и становилась продуктом, употребляемым семьей во время трапез. Но бывало и так, что Васька, понюхав рыбу или содержимое консервной банки, равнодушно отходил от своей посуды в сторону да еще в знак презрения подергивал заднюю правую ногу – рыба, колбаса, консервы летели в мусорное ведро.

Васька был красавцем, короткошерстным, крупным, черного окраса, и только подбрюшье и лапы, как носочки, были белыми. Была у кота еще одна, немаловажная для домочадцев, функция. Если у кого-либо начинала болеть голова, этим часто страдала хозяйка Людмила Ивановна, Васька проявлял инициативу, устраивался на плечах больного ближе к голове, в виде меховой накидки или воротника, и через полчаса головные боли

проходили, но целитель на какое-то время становился вялым, сонливым, видимо, терял часть своей энергетики.

За экологически чистыми продуктами мы ездили в деревню Друганово, где у Николая Дмитриевича был дом, оставшийся от родителей. Философ знал всех жителей, здороваясь, называл каждого по имени-отчеству, он вникал в дела и проблемы людей, знал, какая живность имеется в том или ином подворье, у кого недавно отелилась корова, сколько поросят и даже знал количество куриц, и все ли они несутся. В деревне у добрых хозяев мы покупали молоко, сметану, творог, яйца, сыр, никогда не торговались. Только однажды на предложение одного хозяина купить у него тушку гуся, узнав цену, Николай Дмитриевич, смутившись и отведя глаза в сторону, тихо произнес: «Профессору не по карману».

Любил разговаривать со старухами, которым было за девяносто, они жили в своих пятистенных домах, восхищался их мудростью, памятью, деликатностью, оконными резными наличниками, чистотой и самоткаными половичками в каждой комнате. Человек не может ограничиваться только телесной оболочкой, ему необходимо продолжение, состоящее из дома, ограды, огорода, веры. В одной из статей Николай Дмитриевич писал о старухах: «Храма у них нет, они не могут ходить на службу. Иконы они, конечно, сохранили с той поры, когда церкви разрушали, иконостасы разбирали. И вот что я важное о них понял: они греха боятся, греха праздности. Они все время работают».

Профессор не ограничивался только поисками экологически чистых продуктов, его посещения магазинов, в которых торговали промышленными товарами, вызывали у посетителей неподдельный интерес и восхищение. Философ скрупулезно, с какой-то маниакальной последовательностью, вызывая иногда легкое раздражение у продавцов, перебирал шарфы, свитера, носки, трусы, майки, рубашки, исследуя этикетки, где указывались проценты. Он покупал вещи для себя и семьи только те, которые составляли 100% шерсти и хлопка. Его не интересовала красота вещей, он подходил к ним с утилитарной точки зрения, видя их смысловую значимость в их полезности. Если рассматриваемые вещи указывали, что в них 5-10% синтетики, Матвеев начинал монолог в присутствии покупателей, заканчивая его цитатой из Библии о вредности одежды, состоящей из разных волокон, веществ. «Не надевай одежды, сделанные из разных веществ, из шерсти, льна и других вместе» (Второзакон, 22,11).

Незабываемые поездки в деревню Друганово... Они всегда были связаны со сбором ягод, грибов, купанием в Черной речке. В зимнее время топили баню, приводили в порядок двор, очищая его от снега, готовили ужин. Немногочисленные приглашенные гости, среди которых были художники, музыканты, ученые, писатели, с нетерпением ждали вечернее чаепитие, так как знали, что радушный хозяин дома будет читать стихи разных поэтов. Иногда друзья привозили «заморского гостя», т.е. не местного начитанного поэта, стараясь провести интеллектуальный поэтический турнир-соревнование.

Однако не находилось ни одного человека, который во время поединка мог бы продержаться несколько часов, все сходили с дистанции, Николай Дмитриевич, не повторяясь, продолжал читать стихи всю ночь, а слушатели так и не могли узнать пределы его интеллектуальных возможностей. До чего же это поучительно было – наблюдать, как победитель ведет себя скромно, стараясь найти достоинства побежденного. Он стихами, поэмами разных авторов, своими комментариями, анализом их

по методу любимого им писателя Вл. Солоухина, восхищал и побуждал нас прислушиваться к голосам доброты, кротости, справедливости, внутренних размышлений. Иногда во время пребывания в зотовском доме между гостями возникали нешуточные мировоззренческие русские словесные баталии, приводящие к охлаждению между друзьями, к паузам во взаимоотношениях на какое-то время. Однажды на мой вопрос, что больше всего тревожит Зотова как гражданина в наше время, ответил: коммерциализация общества, происходит убывание у людей совести, нарастания агрессии, возрождаются ранее дремавшие инстинкты, поведенческие структуры, которые нужны только в период страшного дикого капитализма.

Сегодня число чиновников в России увеличилось в несколько раз по сравнению с СССР, но тогда населения было больше на 100 миллионов, если так дело пойдет и дальше, то скоро некому будет работать в производственной сфере. Коррупция захлестнула страну. Меня тревожит состояние, сложившееся в науке, сегодня за деньги покупаются кандидатские и докторские диссертации, слушать некоторых горе-ученых на конференциях – тошно. Создается впечатление, что у нас нет никакой другой шкалы успеха, кроме денежной, нет ничего святого. СМИ нас пичкают убийствами, насилием, суицидом, драмами, трагедиями. Неужели мы дойдем до такого состояния, как написано в священных книгах, когда живые будут завидовать мертвым. В такие смутные времена общества смерть сберегает людей, а не разрушает их, не придает их забвению. Кажется, А.Л. Чижевский написал:

*«В сметенье мы, а истина – ясна.
Проста, прекрасна, как лазури неба;
Что нужно человеку? Тишина,
Любовь, сочувствие и корка хлеба».*

В одной из последних своих статей «Проецирование моралистических интуиций на предмет как способ приближения к эйдосу. (В процессе размышления о наказании)» Николай Дмитриевич писал, что человек сам «в себе возвращает разрушительное для себя греховное чувство.

Человека всего более разрушает его собственный грех. Преодолей в себе неприязнь, злое чувство к другому, и это избавит тебя от порочного стремления мстить и карать». Статья опубликована в научном сборнике «Этика, мораль, нравственность: Россия и современный мир. Материалы Всероссийского симпозиума. Тюмень, 2006 год». Нравственная разрушительная трансформация людей как в миниатюре отражается на всем обществе. Об этих проблемах философ писал еще в советское время в книгах: «Нравственное самоопределение личности», из-во «Знание», Москва, 1983 г. и монографии «Личность как субъект нравственной активности: природа и становление». Из-во Томского университета, 1984 г.

Все его научные работы проникнуты поисками путей приобщения к вековым ценностям христианской традиции. В статье «Где искать ответ?» (2006 г.) философ анализирует Ветхий и Новый Заветы и, обращаясь к соотечественникам, призывает их не только молиться за спасение России, но и творить во благо Родины, ибо вера без дел мертва. Свою статью он заканчивает следующими словами: «Что касается цивилизационных свершений, характерных для начавшегося века, то они, пожалуй, как никогда ранее, усиленно споспешествуют внешнепредметному обеспечению жизни в ущерб ценностям духа. Ошалевшего от суперкомфорта и гедонистической вакханалии человека мчат по автобанам и хайвэям

прямо в направлении к входу с начертанным над ним безжалостным предупреждением: «Оставь надежду всяк сюда входящий».

Он своими статьями, блистательными устными выступлениями (эрудит и оратор был уникальный) старался иногда примирить непримиримое, понимая, что общество не скреплено общей идеей, идеологией, разумом, не оживлено чувством собственного достоинства. Николай Дмитриевич Зотов-Матвеев преподавал философию в университете около сорока лет, его студентами и аспирантами были несколько тысяч молодых, а теперь уже и не очень молодых людей, живущие во многих странах, на всех континентах земного шара. Все они преисполнены великой благодарности к человеку высочайшей культуры, образованности, скромности, искреннейшей отзывчивости. Иногда задумаешься о смыслах человеческого существования, как удручающе быстро летит время, «А дни, как гуси пролетели»...

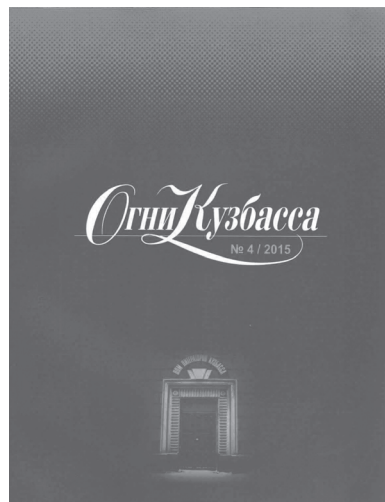
Вспоминается один случай. Возвращались с Николаем Дмитриевичем с корзинами грибов, зашли на Другановское сельское кладбище, где похоронены его родители. Стоим у могилы матери, и он говорит: «Не хотел бы я лежать в мертвом городе, здесь мое место, рядом с отцом и матерью, здесь, на бугре, небо приспускается, и дует ветерок, гуляет по-особому, хорошее, сухое место...». В деревне Друганово Зотов и был похоронен. Уже семь лет его нет среди друзей, коллег, с годами все острее ощущаю для себя невосполнимую потерю, он был для меня духовной опорой, нравственной укрепой. В тяжелые, тягостные минуты жизни хочется взять телефонную трубку, набрать номер и услышать бодрый, дорогой голос: «Здесь Зотов», услышать стихи неведомого для меня автора, новый анекдот...

У НАС В ГОСТЯХ

«ОГНИ КУЗБАССА»

История областного литературного журнала «Огни Кузбасса» началась в 1949 году. Тогда альманах назывался «Сталинский Кузбасс». Сейчас это «толстый» литературный журнал, выходящий шесть раз в год. На его страницах в разделе «Литературная студия» находится место не только признанным писателям, но и начинающим авторам. Рубрика «Светлица» для тех авторов, которые ещё не покинули школьные классы.

Журнал уделяет пристальное внимание родному краю (рубрика «Заповедная Сибирь»), его истории и людям («Лики земляков»). Разделы «Проза» и «Поэзия» отражают текущее состояние литературы Кузбасса. «Библиотворчество» и «Критика и литературоведение» посвящены анализу литературы классической и современной. Журнал «Огни Кузбасса» проводит курс на расширение творческих связей с писателями, а также с журналами других регионов России: «Наш современник» (Москва), «Всерусский Соборъ» (Санкт-Петербург), «Сибирские огни» (Новосибирск), «Врата Сибири» (Тюмень), «Алтай», «Барнаул» (Барнаул), «Дальний Восток» (Хабаровск) и др.



Леонид ГЕРЖИДОВИЧ

Помышляют человеки,
Где б что стырить иль урвать.
Я ж остался в прошлом веке –
Не умею воровать.
И ворьё, и олигархи
Обколачивают высь.
Ну а я свои огарки
Только стряхиваю вниз.

Возвратясь в родные веси,
Оттянувши в зоне срок,
Мой сосед пообезлесил
Наш таёжный уголок.
На подпольной пилораме
Пилит плаху, гонит тёс,
Злыми алчными глазами
На меня глядит, как пёс.

Свой ворованный избыток
На махах пустил в разбег.
Для него я пережиток
И никчёмный человек.

Смрадом дышащее время
Оскудило жизнь окрест.
Дома я, как чужеземец,
Не узнать родимых мест.
Там дорога перекрыта,
Здесь шлагбаум, тут забор,
А за ним лицо бандита,
Или зубы скалит вор.
Вширь от края и до края
Расползлась нагая гнусь.
Ой ты, матушка родная,
Разворованная Русь...

* * *

Мой сосед от горя плакал:
Вор обчистил всё жильё.
Я купил себе собаку,
Посадил на цепь её.
Разгребали грядки куры,
Воробей клевал пшено,
Я из толстой арматуры
Зарешечивал окно.
Дверь навесил из железа.
В окосячку скобы вбил.
Рельс обрезал бензорезом
И щеколду смастерил.
Высоченнейший вокруг дома
Я сколачивал забор...
В это время всем знакомый
Шёл авторитетный вор.
И вниманьем удостоил!
И сказал мне:
– По уму.
Преотличную устроил
Ты, мужик, себе тюрьму!

* * *

Вся предусмотрена Богом	Толика всё ж мне досталась
Быстро текущая жизнь.	Счастья в усталой горсти.
Долго искал по дорогам	Дьяволу чести не отдал,
Я свою дольную высь.	Где искушал меня бес.
Вот подступила и старость.	Что я душой заработал,
И в многомерном пути	То и досталось с небес.

На улице

Непослушные и ватные, Кондыляя по судьбе, Ноги стали суковатыми. Спотыкаются в ходьбе. А на улице пристойненько, Утверждая примитив, Где-то пликает гармоника Сверхлирический мотив. А со мной, как света зарево, Рядом девица идёт. На меня – такого старого – Всё глядит, разинув рот. Как с картиночки лебёдушка, На таких глядеть бы век... Говорит: «Какой ты, дедушка, Необычный человек! Как твоя мне поступь нравится! Восторгаясь и любя Даже солнце улыбается,	Сверху глядя на тебя. А меня вот несусветная Жизнь согнула пополам. Я тебе, такому светлomu, Всё, что вздумаешь, отдам. Наша встреча не напрасная. Повстречались мы не зря. Я идти с тобой согласная Хоть за синие моря...» А загривок мой сутулится. И безрадостен мой вид. И плетусь я длинной улицей, Как отпетый инвалид. Пусть девчонка рядом прыгает, Пусть красива, как в раю, Только ей, увы, не выгорит Слямзить пенсию мою.
--	---

В охотничьей избе

Я сбежал от немощной судьбы
Под накат охотничьей избы,
Из ручья водицы принесу
И живу, как дерево в лесу.

Ой, изба, приветная изба,
Как моя завяжется судьба?
Помоги в запутанной борьбе
Разобраться мне в самом себе.

За спиной остались у меня
Злая ночь и безутешность дня,
Безрассудство пришлых небывиц,
Безразличие чуждых душ и лиц.

Вот опять накатывает ночь.
Здесь её мне легче превозмочь.
С думой у печурки посижу.
Возвращаться в город погожу.

* * *

Загазованность и пыль –
Яд для человека.
Не люблю автомобиль –
Идолище века.
Нами выкормленный зверь,
Истязая уши,
Не дорогою ль потерь
Прёт сквозь наши души?
Что там прямо? Шик да гладь
Иль дорога злости?
Не придётся ль собирать
С той дороги кости?
Эй, товарищ, оглянись –
В гараже-стоянке
Не твоя ль свернулась жизнь,
Как в консервной банке?

Я давно ушёл в леса,
Где покой и нега,
Чтоб четыре колеса
Да не та телега.
Посмотрю – цветок горит
В праздничном убранстве.
Верю: он не повредит
Внешнему пространству.
И спокойно, в свой черёд,
К лучшему готовясь,
С ним легко во мне живёт
Истина и совесть.

Виктор АРНАУТОВ

ДВЕ ВСТРЕЧИ

Мы сидим в тёплом купе вагона и разговариваем со случайной попутчицей Полиной Матвеевной, будто давным-давно знакомые люди. И впрямь ведь, поезд – особое явление, располагающее людей к доверительной обстановке, когда случайному попутчику на день-два поведают и такое, чего не рассказали бы и самым близким. Атмосфера ли тому способствует, потребность ли исповеди: пусть и не помогут ничем, так хоть выслушают, душу облегчат. А что делать ещё остаётся, если собеседник не бука, не зануда, не хам и не пьяница?

Полина Матвеевна достала из своих сумок котлеты, соленые помидоры, огурчики, традиционные походные яйца, свою стряпню. Из моих домашних запасов оставалась лишь рыба. Я скромно выложил на столик своё – жареного леща да вяленого язя, предложил ей. Оживилась Полина Матвеевна, увидев это:

– Больше всего на свете рыбу люблю. Всякую – и свежую, и соленую, и сушеную. А пуще – соленую с вяленой, видать, ещё с тех пор к соленому тянусь, когда в детстве корытечко то съела... По три раза бы каждый день рыбу ела, – признается моя попутчица в своих гастрономических пристрастиях, – мне и мяса тада никакого не надо. А вот сыновья мои – не рыбаки. И мужики, кроме последнего, никто не рыбачил. У нас ведь знаете, какие рыбные места были: озерья, Чузик, Обь недалеко... А караси какие водились в озерьях – здоровенные да жирнющие! Ребятишками ещё ходили мои, удочками ловили, а теперь и не заставишь. А мне так охота который раз рыбки поесть...

Мы пообедали, и Полина Матвеевна принялась за очередную историю.

– Была у нас одна женщина, тихая такая, незаметная вроде. Дальней родственницей по отцу приходилась нам. Тоже из сосланных. Помню, до пенсии самой всё в школе работала техничкой, звонки на уроки подавала. Дочь у неё была, помоложе меня ненамного. Что-то в них было намешано в обличье – и от татар, и от мордвы, и от остяков... Скуластые такие обои, маленькие, кругленькие, как колобки. И волосы, что смоль у обоих, чёрные-чёрные, густые-густые, и косы длинные. Тётка Луша-то больше в платочке ходила, а дочь, Нюрка, та с косой. Косища – в руку толщиной и длиннющая... А у Нюрки уже двое ребятишек было, от первого мужика да от другого девка, крестница моя... инвалидка, с этим, как его... детским параличом.

– ДЦП, – подсказываю я.

– Вот-вот, с им. И родила она её – у меня уж внучка первая появилась. Я всё ей говорила: «Нюрка, и зачем она тебе нужна была?» Дак чё вы думаете, Нюрка ведь потом ещё одну родила – такая деваха получилась – красивая да здоровая!.. Ну, ладно, про другое ведь я рассказать-то хотела.

...Ага, так вот, в детстве ещё... да нет, в девках уже, заболела тётка Луша. Говорят, что испортили её, порчу напустили или сглаз какой... В девках – а жили они тада за болотом, пятьдесят километров до нас было – парень у неё был. Из остяков вроде местных, охотников. А у парня того – то ли дед, то ли родня какая шаманом был. Вот тётка Луша-то и засобиралась замуж за парня этого. А тем, вишь, не надо её было. Вот, говорят, они порчу-то, через того шамана, и напустили на Лушу, болезнь, значит.

Обезножила она совсем, ходить не могла. А там у них ни больницы, ничё не было. И дорога – только зимником, когда болото замерзнет. Дак её тада на руках так и несли через всё болото. Болото порастаяло уже. Отец её да парень тот, не отказался от неё, вишь. Ещё двоих мужиков наняли. Палатку-носилки сделали, так по очереди и несли её всю дорогу. Полежала она в больнице неделю, другую – нету никакого улучшения. Не может она на ноги встать – и всё тут. Потом нашли они каку-то бабку... Она ведь называла мне... вот память какая стала, не помню теперь уж... Бабка эта и лечила её. И что Вы думаете? Поставила Лушу на ноги, вылечила!

А знаете как? Взяла та бабка сеть рыболовную, срезала с сети повдоль три ячеи, поболее метра длиной, свила в верёвочку, заговорила её и завязала Луше узелком на голое тело, навроде поясочка. И наказала ей: «Ты смотри, носи эту верёвочку и никогда не снимай!» Ну, Луша зашила потом эту сеть-верёвочку в шелковый чехольчик. И вправду поясок получился, красивый даже. И всю жизнь проносила поясок этот на себе, на голом теле. Даже в бане его не снимала, не развязывала. Там этот поясок... измахрился уже весь, чёрным сделался... Вылечила её! Сеть та заговоренная была, от сглазу-порчи, – повторилась Полина Матвеевна. – Так больше полусотни лет и проносила тётка Луша на себе тот поясок, не снимая...

Старость подошла. Захворала она. Забываться стала, всякую буробу нести. То вроде ничё, а то всё перезабудет, поперепутает. Нюркиного мужика, второго, своим мужем считала. Внука у неё, после армии уже, убили. Домой его привезли, положили, так она его всё за живого принимала. Потом уже, на поминках, и говорит: «А чё это вы пить пьёте, а не поёт никто песни?!» Порой и дочь свою, Анну, не признавала. Видеть совсем плохо стала. Я как-то пришла к ним, поговорила с ей, вроде в своём уме она была. А Нюрка мне и говорит: «А ты спроси-ка её, с кем она живёт?» Ну, я и спрашиваю. А тётка Луша мне и отвечает: »Да вот и не знаю, ходит за мной кака-то нянька. Дай Бог ей здоровья! Кормит, поит и косточку даёт». Косточкой она таблетки называла. В память приходила когда – всё беспокоилась, чтобы поясок тот с её не снимали: «Мне так наказывали. Чтобы никогда его даже снимать не надо...»

Умерла она на Пасху. На третий день, наверно. Помню, уже и на улице, и на могилках – везде грязь была. Таяло. А у нас ведь, знаете, могилку копают в день похорон. Никогда пустой, в ночь не оставляют готовую. Говорят, плохая примета, мол, ещё покойник может быть, занять пустую могилку. А тут почему-то решили за день до похорон копать. Пошли с раннего утра. Четыре мужика. Снег там ещё лежал, где копать собирались. Обычно на штык-два и промерзало всего. А тут стали копать – сплошная мерзлота. Ничем взять землю не могут! Ломами – со спичечную коробку скальваются комочки – и всё. Топор не берёт. За весь день выкопали всего сантиметров шестьдесят, может. Упластались все. Костер на ночь разложили. На другой день всё по-новому. На штык за ночь оттаяла, а там опять мерзлота...

– Вы извините меня, – перебиваю Полину Матвеевну, поддерживая разговор. – Приезжал я к себе, лет десять назад, племянницу хоронить. В середине марта. Так земля у нас всего на штык промерзшей была. За четыре часа вшестером управились, метра на два с лишним глубиной вымахали... Дольше снег расчищали, подходы к могилке, чем копали...

– Вот и я говорю: никогда у нас раньше моды не было заранее копать, всегда за день копали. А тут, будто кто специально вредил... Топоры поизломали, лом не берёт. Кто-то из мужиков уже и за «Дружкой» сбежал. Цепи все позатупили, поизорвали, и тоже толку мало.

А мы всё уже на поминки понаготовили. Думаем, уж за два-то дня всякому могилку выкопать можно, чего тянуть-то? Приезжает уже перед обедом зять, Нюркин мужик второй. Ну, думаем, слава Богу! Готово. «Кого готово?! – говорит. – На метр с небольшим выкопали и всё. Надо ещё хотя бы на пару штыков пройти...» – «Да вы, поди, понапились там?» – говорим ему. – «Да какой напились!? Ну, пообедали мужики, бутылку самогонки им увозил. Так на четверых ведь. У мужиков все руки в мозолях!» Потом он ещё двоих каких-то парней нашёл. Опять поехал с ними на могилки. Вот тебе уже два часа, три, четвёртый пошел... Хоронить пора. День, хоть и длинный уже, а всё одно... У нас ведь обычно ещё до обеда, ну, в обед хоронят. Приезжает опять зять, уже пятый час... Говорит: «Ну, не знаю, никак докопать не можем. Придётся похороны на завтра переносить...» Мы ему: «Да ты в своём уме? Понаготовили сколько на поминки! Пропадёт ведь всё!» – «А что делать? Ну, привезем туда – куда закапывать?» «Ну, в какую есть уже, – соглашаемся мы. – Больше метра уже есть? Закапывайте в такую... Пока везёте – может, ещё маленько подкопают. До заката солнца надо похоронить. Время-то уже – шестой пошел...»

Ладно, уговорили мы его. Машина подошла. Большая, трёхосная, в экспедиции договорились. Вынесли гроб, поставили на машину. Завели её. И что Вы думаете? Машина ни с места! Колёса у неё не крутятся, ну никак. А то вдруг мотор глохнуть начинает. Шофёр вылезет из машины, походит-походит вокруг, под колёса посмотрит – всё чисто! «Да что же это за такое?... Твою мать! Как приковало!»

Уж он ходил-ходил... Сколько раз пробовал с места стронуться – не едет машина и всё тут! Хоть бы какая канава там была или грязюка, застряли бы где – нет! Ни в какую машина не едет. Уж бегали-бегали вокруг неё, чего только под колёса ей не подкладывали: и дрова, и доски, и кирпичи – стоит машина на одном месте! И мы все, вышли провожать, стоим, дивуемся. Ещё такого чуда никогда не было ни у кого...

«Вот как Луша не хочет из дома уходить! – зашептались бабы. – Кто-то её дёржит...» Тогда я и говорю: «Анна, а вы поясок-то сняли с неё?» – «Нет, не сняли, – отвечает мне Нюрка, – она не велела...» – «Да снимите вы с нее эту удавку, ради Бога!» Раньше-то как хоронили? – поясняет Полина Матвеевна, – покойнику шили специальную одежду.

– Саван, – подсказываю я.

– Саван, – соглашается со мной попутчица, – и чтобы на нём не было нигде узлов. Поверье такое было... На живульку шили – не держать чтобы покойника уже ничем на этом свете. А на тётке Луше ведь поясок был этот, узлом затянутый...

Потом смотрим – кран большой проезжает мимо. Шофёр-то машины нашей – к нему. Просит помочь его с места нам сдвинуться. Водителю крана рассказывает, а тот не верит, смеётся. Помочь, правда, согласился. За водку вроде сговорились. Тросом зацепили нашу машину – еле стащили её с места. А колёса у машины нашей будто кто заклинил, не крутятся – и всё! Так юзом и тащил кран её до самого кладбища. Кое-как добрались до могилки.

На могилках я опять за своё: «Сними ты с неё этот поясок, не хорони её в нём... Не знаем – что ещё может быть из-за него...» – «Как я его буду снимать при народе?» – «Да очень просто. Руки-ноги когда развязывать будешь, развяжи ты и узел этот заодно потихонечку».

Так и сделали, послушалась меня Нюрка. Похоронили тётку Лушу без пояска, правда, в гробу его оставили. Уже на самом закате солнца её закапывали...

А оттуда, с кладбища-то, машина наша будто сама покати́лась. И колёса закрутились, только так все пришуровали обратно!

Ну, вот в чём дело-то было, в пояске?...

МАГИЯ СЛОВА

Сибирский январский вечер наступил быстро. В тёмном проёме окошка отражался скромный интерьер нашего купе да наши фигуры. За окном время от времени мелькали слабо освещенные дома и здания вокзальчиков и станций. Фонарные столбы выстреливали вертикально вверх, в черноту бездны, пучки желтого света – быть ещё морозу. Полина Матвеевна отдохнула. Мы попили чаю, помолчали.

– Вот я всё смотрю за Вами, наблюдаю, – разоткровенничалась попутчица. – Вы вроде как и слушаете меня, а сами сомневаетесь вроде...

– Да нет, почему же? – возражаю ей. – Просто я всему этому пытаюсь дать свою трактовку, своё осмысление...

– А с Вами когда-нибудь похожее случалось, нет?

– Как Вам сказать, – замаялся я. – Бывали случаи. Например, до сих пор не могу понять причину какого-то животного страха, который нападает вдруг ни с того ни с сего во время ночных рыбалок. Сажу я в лодке на реке, а рыбаку я в основном на Томи или на Оби по ночам, на реке тихо-тихо, темно-темно – ничего не видать вокруг, особенно когда нет луны, или туман падёт. Вдруг, ниоткуда, – такой страх накатит на меня, будто в детстве, когда боишься темноты... или на кладбище вдруг занесёт поздненько. Ладно бы – пацаном был каким, или впервой на ночной рыбалке остался один... НЛО приходилось наблюдать, – вдруг вспоминаю я. – Тоже один момент был интересный. Это когда НЛО зашло за облако, а стало выходить – выглянуло огромной круглой физиономией... Тоже страхом прошло, как током электрическим...

В приметы верю, суеверный я, особенно если это касается рыбалки... На рыбалку собираюсь – не дай Бог, кто пожелает улова большого или в шуточку произнесет: «Ну, держись, рыба!» или «Пропала рыба!» – хоть назад возвращайся! Проверено не раз.

– А что, разве нельзя? – смеясь, недоверчиво спрашивает Полина Матвеевна. – Я своим всегда желала: ни пуха ни пера...

– Да Вы что! Ни в коем разе! А то – кто с ведром пустым, тазиком каким-нибудь, кастрюлей повстречается – тоже, хоть не ходи на рыбалку. Возвращаться, когда что-то забыл – тоже дрянь дело.

– А в гороскопы какие верите? – вдруг переключилась Полина Матвеевна.

– По-разному к ним отношусь. В предсказания верю, а гороскопы... те, что стали печатать в разных газетах на неделю, на месяц, по телевизору передают ежедневно – шарлатанство это! Вот в индивидуальное предсказание – верю. Так же, как и в лечение словом, но, опять же, только индивидуально, в крайнем случае – для небольшой группы людей...

– А в заговоры, в слова заговоренные верите?

– В магию слова? Несомненно! Но опять же – в избирательную, а не такую, как у Кашпировского... Тут нужен избирательный подход. Ведь человеческая психика настолько сложна и уникальна, что невозможно обобщать всех разом... А Вам самой приходилось сталкиваться с магией слова, в жизни?

– Ещё как! Вроде того пояска... Я ведь Вам уже рассказывала... Да я Вам поди надоела своими историями? Нет ещё? Ну, тада послушайте...

...Я ведь уже говорила, что выходила замуж пять раз, – Полина Матвеевна вздохнула. Было видно, что вспоминать про это ей нелегко и не очень хочется. – Вот с последним мужиком – тоже... В моих годах он уже. Жена у него померла перед этим. А детей не было. А с ним мать её оставалась ещё. И сестра её, тоже без мужика осталась... Вот они, видать и решили, чтобы он с сестрой её, свояченицей значит, сошелся. А ему – не надо её. Ну, меня и сосватали вскорости за него. Ладно, думаю, раз я никому не надаю, попробую ещё и с этим. Получится – не получится – видно будет.

И он ко мне по первости хорошо относился. Пить бросил. Деньги какие – всё мне отдавал... А домища там... Построек всяких... Наворочилась я у него с этим хозяйством! Сколько барахла повыбрасывала! Перебелили, перемыли, перекрасили всё. Дочь младшая помогала, не вылазила оттуда. Привели в божеский вид! По-своему всё в доме переставила. А ему, вижу, не шибко всё глянется, как я хозяйничаю в его доме. Ходит молчит, морщится. Ладно, думаю, как хочешь, а в грязи я жить не привыкла! Полгода отметили его жене. Приходила и свояченица, я понаготовила всего, хорошо помянули... Всё на меня косо поглядывала. И мать тоже, жила ещё здесь, правда, в отдельной избёнке, во дворе, под крышей... Я ей ещё говорю: «А чё вы там? Переходите да и живите в избе, места всем хватит!» Нет, она так и не согласилась. Ладно, её дело, пущай делает по-своему. Ну, мать-то свояченица к себе забрать решила. Приходит, говорит: «Ты, Полина, разреши, я маму ещё раз в байне помою?» Я ей: «А чё ты спрашиваешь? Можно подумать, что вы и не мылись тут никогда?! Затопляй да мойтесь. Чё мне, бани жалко?»

Только с тех пор, как она бабку в последний раз в ту баню сводила, и началось у меня... Теперь я уже нисколько не сомневаюсь – они это мне сделали! Они мне наштаманили! И знаете что?! Вот тебе, пошли по мне чирьи! И на чирьи-то вроде не похожи, закрытые какие-то...

– Карбункулы, должно быть, – проявляю я свою осведомленность, – есть такая разновидность нарывов.

– Холера его знает! Там страшно было глядеть! То на глазу мне садится, то на нос мне сядет, то на одну ногу, то на другую, то в паху... Один сходит, на его смену новые появляются... Я уже и ходить не могла. Всю зимушку почти так вот и промаялась! Ни сидеть, ни лежать – сплошная болячка! Если бы так вот разделася я – будто стрелял кто в меня, вся в дырках да шрамах. Один возле одного! И главное – как только схожу в эту баню – так на следующее утро два-три новых вылазит. Сперва вроде зачесется как, будто прыщик какой...

...Потом уж находила я и иголки насыпанные, и гвозди какие-то. Подняла я как-то кружок вязаный, под порогом был: ба-а-а! Иголки какие-то понасыпаны. Откуда они тут, кто понасыпал? Ничё понять не могу. Не одна, не две – пачками... Ещё находила после. Один раз к умывальнику подошла, занавеска там ситцевая была. Я по занавеске рукой провела – колетса что-то – опять иголки оказались. Откуда тут иголки, кто их мог воткнуть? Мне, дуре-то, невдомёк, что это меня выживают таким образом. Я эти иголки взяла да в шкатулку и положила ещё. Приходит как-то ко мне в гости подружка, по Осипову ещё. Тапки у меня под порогом стояли. Глянула я и говорю ей: «Смотри, Степановна, в тапках у меня насыпал кто-то: то ли мела, то ли муки, порошок ли какого... Глянь-ка, крест-накрест!» Про иголки ещё эти ей рассказываю. Она мне: «А куда ты иголки те девала?» – «В шкатулку положила». Она мне опять: «У тебя ум есть? Забери эти иголки и выброси сейчас же! И тапки эти не надевай, забрось их в печку».

Сколько раз я потом ещё находила ерунду всякую... Как-то мыла я пол. Шваброй под крыльцом задела что-то. Достала оттуда – чулок какой-то, завязанный тремя узлами, понапёхано в ём что-то мягкое... Сожгла его потом, и шлёпки те в печку выбросила, как и советовала мне Степановна.

– А с чирьями-то что потом было? – возвращаю я Полину Матвеевну к прерванной теме.

– А что? Всю зиму почти я с ними промаялась. В больницу сколько раз ходила. В амбулаторию. Потом лежала даже, недели две, однако. Делали мне переливание крови сколько раз – ничё не помогает. Дочь из Красноярска как раз в отпуск приезжала, лекарств привозила... Сколько она мне уколов переделала! Вроде маленько полегче станет, проходить начинают – опять появляются... И что интересно – опять после бани. Даже я замечать это стала, ходить в неё стала бояться, из-за чирьев этих. Сперва-то я и не понимала ничё, думала, может, пока назад иду – просквозить успеет. А кого там идти? От дверей до дверей – десятка два шагов всего, и то – под крышами.

Степановна-то видит беду мою, говорит: «Это, Полина, сделали тебе! Ищи-ка ты бабку!» А где её искать?! Не заначка в своем доме...

А тут как-то одна мне и подсказала: «Есть у нас одна женщина. Она лечит от сглазу и порчи...» Говорит мне – и где живёт, и как звать. – «Дак я же её знаю! Это же наша, осиповская, Валентина Петренко!»

...Помню, приехали они откуда-то, – продолжает Полина Матвеевна, отклоняясь опять от своих болячек. – Дом купили у наших, деревенских, у Булановых. А поговаривали, что бабка Буланиха... колдунья была. Помню, старая уже вся, сидела летом на лавочке, перед палисадником. И всегда у неё на коленях кошка была, чёрная, здоровущая! Я уже в девках была, а мимо неё боялась проходить. Бывало, идём, девками, под ручки взявшись, на вечерку – Буланиха кошку обязательно перед нами пустит, с коленок своих прогонит. И кошка всегда дорогу перебегала. Всё! Жди каких-нибудь пакостей! Вот бабка та, я так думаю, Валентине-то и передала какие-то секреты... А так бы – откудава ей чё знать, Валентине-то? Я даже никогда про то и не догадывалась. И не слыхала даже раньше, что Валентина-то лечит...

Ладно. Пошла я к ней. Ещё светло было, но уже под вечер. У нас зимой рано темнеть начинается, знаете ведь... А там идти-то до неё – от школы, в проулок, поди-ка и километра не будет. Да какой километр? Половина, разве что. Прихожу, значит, к ней. А она с сыном неженатым жила. Мужик-то помер уже давно, ребятишки поразъехались кто-куда, один только и задержался при ей.

Обсказала я ей всё. Она раздела меня, осмотрела: «Ну, давай, будем лечить...» Сказала сыну, чтобы тот сходил в дровяник и принёс сучковатое полено. Принёс он полено, сам вышел в другую комнату. Вот она на эти сучки мизинцем всё водит, водит. Потом на чирьи мои, а сама наговаривает, водит – и нашептывает... Долго так... Потом достала из подпола банку со святой водой. Отлила мне из неё в литровую. И опять стала нашептывать, уже на эту воду. Как стала она мне эту воду наговаривать – Боже! Рот у неё весь повело, перекосило! Она мне: «Господи, молитву даже не могу читать – вот как тебя шибко испортили!» Я смотрю, и вправду – рот у неё так и дерёт прямо, так и кособочит!...

Наговорила она всё же мне эту воду, баночку передала, наказала, что и как делать дальше. Ты, дескать, сегодня в баню-то не ходи – вечер уже. А утром пойдешь в баню нетопленную. Откроешь дверь, вставай на порог,

прочитай молитву «Отче наш», а дальше – побрызгай крест-накрест этой водичкой – по углам, в притворе, на полок, за печку... Там увидишь, что будет...

Вышла я от неё. Стемняло уже. И что Вы думаете? Пошла я совсем в другую сторону, будто и деревню эту в первый раз вижу! Не к дому пошла своему, а к могилкам меня понесло. Аж на последнюю улицу ушла, из центра, считай! Вышла в конец деревни – уже ни домов, ничё не вижу. Куда идти дальше? Ни дороги, ничё нету, а меня будто черти куда-то всё тащут по снегу... Увалялась вся в снегу. Потом и говорю себе: «Господи, да где ж я есть?» Сказала так, смотрю – столб впереди виднеется, а на нём лампочка горит. Пошла я на свет, без дороги, безо всего. Вышла к столбу, смотрю, кто-то двигается в темноте, я к нему – женщина вроде оказалась. Догнала её, спрашиваю: «Скажите, а в какой стороне клуб или школа?» – «Дак вон где, совсем в другой... – и показывает мне. – А Вы нездешняя, что ли?» Мне стыдно признаться-то, что я тутошняя, отвечаю ей: «Нездешняя», а сама лицо прячу от неё в темноту, вроде как отворачиваюсь. Ладно, пошла я, как она мне указала.

Притащилась я домой, вся в снегу. Деду ничё не рассказываю – где была, за чем ходила, где меня черти таскали... Умылась водой наговоренной, спрятала эту баночку от деда подальше... В баню сегодня не пошла, как мне и наказывала Валентина...

На другой день я так и сделала, как мне Валентина велела. Пришла, притвор отворила, прочитала молитву, стала я брызгать святой водою: у дверей брызнула, к окошку, по углам – ничё... А когда на полок-то стала брызгать – не то зашипело, не то – затрещало! А уж за трубу как брызнула... Батюшки светы! Такой треск начался... Как будто кто эту баню по брёвнышку раскатывают! Вылетела я из неё, испугалась – ну, чисто землетрясение какое, как по телевизору показывают! Думаю, мол, развалится ещё совсем, и меня пришибёт! Что там такое?! В чём дело?! А баня – нетопленная была, чему там шипеть да трещать?!

Постояла я, постояла, духу набралась. Ничё, не развалилась баня. Дай, думаю, ещё разок зайду, гляну – что там в ней? Подхожу к порогу, открываю двери, заглядываю – нет ничё в бане не изменилось, ничё не пропало. Тихо в ней. Опять я побрызгала: на порог, по углам – тихо. На полок брызнула, слышу – будто лучинка потрескивает, когда её от полена отщипывают. За печку, за трубу побрызгала – там опять затрещало, но уже не так – будто дрова в печке стреляют, когда топишь осиною или пихтой. Я стою и говорю вслух: «Ну ничё, сатана, я тебя всё равно выживу из этой бани!» И ушла. Это до обеда ещё было. Вечер подошел. Дай, думаю, ещё разочек схожу в баню. В третий раз всё так же повторила. Брызгаю – совсем уже тихо стало потрескивать, шипеть так – будто плеснули воды на остывшую каменку – чуть слышно. И за печкой – тоже затихло... И всё!

Приходила я ещё на другой день, брызгала – никакого ни треску, ни шипения уже совсем не было...

Встречаю я потом уже сына той женщины, что лечила меня. Спрашиваю его: «Ну, как там мать?» Он мне и отвечает: «Ой, тётя Поля, как ты ушла – мать целую неделю пролежала! У неё даже все губы пообметало, разнесло всё! Она даже рта не могла разинуть, чтобы поесть как следует. А первых два дня лежала – даже воду пить не могла... Она ещё и говорит мне: «Вот это ей наделали...» Язык-то у матери одеревенел весь, как колом встал... Сама уже и водой этой умывалась, и молитвы читала... Сама себя лечила... Выходит, на себя она забрала твою порчу, тётя Поля...»

...Потом я ещё к ней раз приходила. Рассказала я ей про ту баню... Что там творилось... Она мне опять чирьи те позаговаривала на поленья сучковатые, да и про себя рассказывала – как ей тяжело было тогда... Дай Бог ей здоровья!

Вылечила она меня! Прошли все мои чирьи, только следы остались по всему телу. И в баню стала ходить – никто там больше не трещал, и чирьев больше после бани не появлялось никаких... – закончила Полина Матвеевна свою историю.

...Но выжить меня они всё ж-таки выжили... Не зря, видать, те гвозди, иголки да чулки мне подкидывали. Мне всё кажется, что мамашино всё это было, её работа... Они же думали, что Лидка с ним будет жить, – повторилась Полина Матвеевна. – Ничё у них не получилось... Зато меня выжили. Не сами, конечно, – через деда. Прожили мы с ним, почитай, два года. Совсем сдурел дед: как напьется – гонит меня из дому, за ружьё, топор хватается... Я уж и прятать всё стала. Раз стерпела, другой, третий. Думаю: «А на каку холеру это мне нада? Горшки из-под него таскать да ещё и матерки его выслушивать?» Они ведь и ему сделали! Ни с того ни с сего – и он обезножил, на инвалидность попал...

...И за что мне такое в жизни? У других, глядишь – всё, как у людей, а у меня – с самого детства всё наперекосяк поехало... Про маму-то я рассказывала да про тятю – неродные ведь они мне были, – призналась Полина Матвеевна... – Приемная я у них была... Родная мама умерла, когда мне три годика всего было... Вот и отдали меня на воспитание к дальним родственникам, а их уже и сослали со мною вместе... Так-то...

...Ушла я от того деда. Сама ушла. Пообещали мне в администрации нашей один домишко, рядом с дочерью младшей... И им с зятем мешать не буду... Свой угол будет – и ладно! Пенсия – какая-никакая, ребята помогут – обещались... Ладно, что уж теперь, надо как-то доживать... Никуда не денешься... О-ох, грехи наши тяжкие...

Поезд подходил к станции, на которой меня должен был встретить брат. Я оделся, достал из рундука чемоданчик и приготовился уже выходить. Прощаясь, я поблагодарил мою попутчицу за приятное время и пожелал ей счастливо добраться до сына.

Вдруг мне сделалось отчего-то грустно и неуютно, как тогда, в далёком детстве, когда я прочитал книжку про Буратино и которая так быстро закончилась...

– Спасибо и Вам за всё. Пусть в Вашей жизни всё будет ладом... – сказала Полина Матвеевна, провожая меня. А потом добавила: – Ну вот, обещала Вам про свою жизнь рассказать, а наговорила всякой всячины: про каки-то сны, видения, домовых, про свои болячки... Вы уж простите меня, коли что не так...

Я покинул вагон, и уже на морозном перроне станции мне подумалось, что жизнь-то, может быть, тем и интересна, что в неё вплетаются какие-то небывальщины, сны, видения, неожиданные повороты, и в конечном итоге – абсолютно для всех...

А может, всё это и есть – кусочки самой что ни на есть настоящей, полнокровной жизни?!

Или нет?

Александр КАТКОВ

* * *

Бывает миг, когда печально
Припомнишь женщину одну,
Как будто лето с иван-чаем
Тебе поставили в вину.

Она, конечно, понимала,
Что ты уедешь навсегда

И потому так обнимала
Тебя, беспутного, когда

Июнь в оранжевой рубашке
Ее обманывал в лугах,
И поцелуи, как ромашки,
Цвели беспечно на губах.

* * *

Где это время? Никто не ответит,
Все проросло чабрецом и былъем.
Но просыпаюсь опять семилетним:
В комнате глаженным пахнет бельем.

И задыхаюсь от слез: неужели
Снова июнь, мое детство и дом,
Запах белья и хрустальные трели
Птаха развесила за окном?

Нет ничего, кроме этого пенья
И подоконника в каплях росы.
Как далеко еще до ослепленья
От незаслуженной взрослой слезы!

Не доведи до чернейшего сраму,
Жизнь моя, если в начале твоём
Так еще чисто, песенно, рано,
В комнате глаженным пахнет бельем.

Было и будет бессонниц немало –
Пусть в изголовье незримо стоят
Юный отец в гимнастерке линялой
И кареглазая мама моя.

* * *

Проживаем в годы позора,
Выживаем и мерзнем во мгле
Средь разрухи, раздора, разора,
Средь бутылок на нищем столе.

Все-то кажется – где же надега
На Россию, на нас, на меня?
И откуда прискачет подмога,
Стременами надежды звеня?

Ах, как матушка приболела!
Вкривь и вкось дороги ушли
От ее болезного тела,
От бессмертной ее души...

Что ж, поплачем. А дальше? А дальше?
Как надеяться я хочу –
Наши дети: Иванушки, Даши
На ветру не погасят свечу.

Памяти мамы

Единственный на всей планете Я ехал маму хоронить И в призрачном прощальном свете Дрожала тоненькая нить.	Туда, где мама умирала, Напрасно ждущая меня. Она застыла, успокоясь... Ты, Боже, все поведай ей – Про опоздавший этот поезд, О горькой памяти моей.
Под толщей черной снеговой, В продутом тамбуре насквозь Хотел застать ее живую, Испить родник прощальных слез.	Здесь, не смирившийся с утратой, Харон готовит свой извоз Туда, где я лицо упрятал В подушку, мокрую от слез.
Сибирью, а потом Уралом Мчал поезд, рельсами звеня	

* * *

Прямо в сад выбегали ступени,
Было их ровно пять у крыльца.
И под запах дождя и сирени
Я разбужен был пенъем скворца.

В ожиданье восторга и счастья,
Доверяя скворцу,
Наугад
Окна – настезь и сердце – настезь,
Пять
 шагов,
 пять
 ступенек
 и – в сад!

А в саду в деревьях ликование!
Горлопан, менестрель, этот спец,
В полубморочном состоянье
Заходился от счастья скворец!

И прохладу июньского сада,
Ощущая кожей всей,
Я бежал до дальней ограды,
С головы и до пяток в росе.

И представить мне было так трудно,
Что бессмертья и вечности нет.
Просто было июньское утро
И мне было одиннадцать лет.

Татьяна ИЛЬДИМИРОВА

СТРАШНО НЕ БУДЕТ

Мы с другом ехали автостопом на фестиваль авторской песни – в этом году он проходил близ деревни, название которой мы никак не могли запомнить. Кажется, Зелеево. Да, Зелеево. Пока ехали до развилки на ярко-оранжевом автобусе-вонючке, Саша молчал, откинув голову назад и прикрыв глаза. Я знала, что он не выспался, но не могла отделаться от мысли, что он предпочел бы поехать один. Поэтому, наверное, и спросил утром: «А ты точно хочешь поехать?». Да, я ни разу в жизни не была в походе, потому что не представляю, как можно обойтись без душа дважды в день и клубничного йогурта на завтрак, но с Сашей я поеду на край света. Даже автостопом.

На трассу мы вышли около девяти. Еще не было жарко, вместо солнца в небе висел бледноватый круг. В густой запутанной траве на длинных стеблях покачивались ватные шарики цвета корицы. Время от времени медленно проплывали сладкие с виду облака. Поля разбегались по обе стороны от дороги и волновались, словно море, по которому идет маленький катер.

Странно, но мне не хотелось никуда ехать, так хорошо было идти под ароматным, теплым небом, с каждым шагом уплывающим все выше. Казалось, что если слегка взмахнуть руками, можно идти не по земле, а по воздуху, в нескольких сантиметрах над землей. Эта дорога принадлежала только нам двоим. Словно в целом мире больше не осталось никого – только мы, сбежавшие от повседневности и бытовой суеты.

Уехали мы почти сразу. В нескольких метрах от нас притормозил важный пыльный «КамАЗ», дверца открылась сама собой. Саша привычным движением посадил меня в кабину и запрыгнул сам. В кабине было тесно, и тук, фаршированный палаткой, пришлось держать на коленях.

Ехали быстро. Ласково расступались поля с бегущей по ним тенью облаков. В кабине приятно покачивало, я начала засыпать и проснулась в тот момент, когда упала на Сашино плечо. Водитель, показалось мне, чуть заметно ухмыльнулся и включил радио. Как это бывает обычно, в кабине зазвучала глупая попсовая песня про любовь. Я посмотрела на Сашу, мы встретились взглядами и тут же, чтобы не смущать водителя неожиданным смехом, резко отвели в сторону глаза. Не знаю, о чем думал Саша, но я считала до ста, старалась не засмеяться.

Когда мы снова оказались на дороге, я сказала:

– Видишь, я приношу тебе удачу.

Сашка только отмахнулся – наверное, боялся взглянуть:

– Да при чем тут ты! На дороге всякое бывает!

И принялся весело рассказывать, как ровно год назад он и Ленка (моя предшественница) ехали автостопом по этой же трассе и попали под дождь. Да какой там дождь – настоящий ливень! Кое-как они добежали по лужам до навеса на автозаправке, где одиноко куковала милицейская машина. «Странно, – сказал Саша, – но нас не арестовали. Наоборот, менты поймали «КамАЗ» и велели водиле довезти нас до Кемерово. Довез».

Я старалась представить себе ливень стеной и Сашу с Леной в кабине «КамАЗа», и хмурого водителя, как две капли воды похожего на того, кото-

рый только что вез нас. Так не вязалась эта картина с сегодняшним чистым утром, настолько неумоготу было представлять Сашу с другой (и пусть это было давно и неправда!), что я наклонилась к репейнику, росшему рядом, сорвала с его верхушки три тугих колючих шарика и кинула их в Сашку, один за другим! Саша издал вопль раненого ягуара и кинулся ко мне. Я взвизгнула и, схватив еще несколько репьев, понеслась, отстреливаясь на бегу. Саша, отдирая репьи от футболки, смеялся, догонял, наконец поймал, обхватил за талию и прилепил мне на талию все три колючих снаряда. Я хотела так, что у меня заболел живот.

Когда немного успокоились, я спросила у Саши, зачем водители подбирают автостопщиков. Оказывается, чтобы не скучно было в пути. «Иногда таких историй наслушаешься!» – сказал Саша. Наверное, сегодня нам просто не везло на интересные истории. Остановившись очередной «КамАЗ», мы влезали в кабину, в душный запах бензина, на коленях подпрыгивали наши пожитки, играло радио «Шансон», с приборной доски улыбались наклеенные обнаженные девочки. Дорога вилась через поле, через лес, снова через поле. Трава на обочине, казалось, все время бежала рядом, не отставая.

Водитель молчал, иногда напевал что-то под нос, иногда закуривал, открыв окно, и сквозняк бил прямо в уши. Я боялась простудиться. Везли нас обычно до ближайшей развилки, дальше было не по пути. Саша говорил: «Спасибо, шеф!» и прыгал вниз. Вначале он ловил свой багаж, потом – меня. Мне нравились эти краткие ощущения полета. В эти мгновения Саша казался мне самым родным человеком на свете. Впрочем, для меня он всегда такой.

* * *

Время давно перевалило за полдень. Солнце разошлось не на шутку и слизало с дороги все тени. Идти стало трудно, ноги заплетались, каждый шаг давался с огромным трудом. Мне казалось, что во мне, словно в резиновой игрушке, сделали дырочку, и через нее постепенно выходит воздух. Я шла молча, не оставалось сил на разговоры. За машинами, словно за стартующими ракетами, клубились и долго не оседали облака пыли. На столбе висел погрызенный дождями знак: Зелеевское, шестнадцать километров.

– Устала? – спросил Саша.

– Не очень, – ответила я, потому что еще оставались силы не казаться слабой.

– Давай отдохнем. Я, наверное, совсем тебя замучил.

Я легла на наш тюк, чувствуя, что иначе я потеряю сознание. Наверное, я перегрелась, потому что солнце вдруг сделало кульбит и полетело прямо на меня, словно огромный баскетбольный мяч. Я отвернулась от него, чтобы не жгло глаза. Воздух – густой и душный, таким невозможно дышать. Горло – словно полно пыли.

Час назад мы искали колодец или колонку в маленькой деревушке.

– Странная деревня. Очень странная, – говорил Саша. – Как они без воды живут? Неужели у них сушняков не бывает? Сейчас вон у девчонки спросим, – и закричал загорелой аборигенке, сидящей на бревне: – Девочка! У вас колонка есть? Нет? А колодец? Тоже нет? Где же вы воду берете?

Аборигенка лет тринадцати глядела на Сашу, словно на существо с другой планеты, и ответила оскорбленным голосом: «Дома. Из крана».

Мы постучали в одну калитку, в другую, наконец из-за поленницы раздался лай, лохматый бабай выскочил нам навстречу и возмущенно заскреб лапами о забор. «Чудище, позови хозяина», – попросил Саша.

Вода была очень вкусная. Мы захлебывались от удовольствия и вырывали друг у друга бутылку.

– Надо было взять с собой воду, – говорил Саша, шагая туда-сюда и успокаивая: – Ну, ничего. Сейчас уедем. Сейчас обязательно уедем.

И тут же стал говорить, что на дороге случается всякое, что можно простоять на трассе целый день – и не уехать, это как повезет. Правда, сразу одумался и добавил, что с нами такого не случится. Конечно, не случится. С кем угодно, только не с нами.

– Саша, – попросила я, – расскажи анекдот.

– Какой тебе анекдот! – устало отмахнулся Саша.

С жужжанием проносились толстенькие деловитые шмели, звенела кузнечиками трава. Пролетавшие мимо машины издавали противный однообразный звук: «Шших!.. Шших!..».

Я не то очнулась, не то проснулась, когда прямо над ухом услышала нетерпеливое урчание и почувствовала, что меня трясет за плечо взбужденный Сашка. Он кричал:

– Представляешь, он едет на фестиваль!!!

Как все-таки просто быть счастливой!

* * *

Водитель вез на фестиваль аппаратуру и явно опаздывал. Как он гнал! Стрелка спидометра рванулась по дуге; трясясь, забралась на отметку 90, потом 100, потом – 110. Смотреть вперед, на дорогу, было очень страшно. Конца ей не просматривалось. И слева, и справа тянулись луга без всякого намека на жилье. Я зажмурилась, ухватила за Сашкин локоть, прошептала: «Я не могу! Он так гонит – никакого удовольствия!».

– Расслабься, – посоветовал Саша. Но смотрел при этом устало.

Дорога устремилась в лес, мимо нее потянулись одинаковые серьезные ели. Асфальт закончился, начался песок. «Та-ак», – раздраженно произнес водитель, немного сбавляя скорость. Мы проехали мимо двух мотоциклистов: парень с покрасневшим на жару лицом, нагнувшись, что-то изучал в моторе мотоцикла, рядом стояла девушка в шлеме. Ее лицо показалось мне немного растерянным, но утверждать было трудно: водитель ехал быстро, мотоциклисты мелькнули и скрылись. Я живо представила, как они будут брести по солнцепеку до Зеледеево, и мне стало их жаль, и даже как-то неудобно за то, что мы наслаждаемся жизнью, передвигаясь на машине. Ну это же надо, как им «повезло».

Грузовик подпрыгивал на ухабах. Я вцепилась за дверцу, как держатся за ручки кресла, сидя под работающей бормашиной. Сердце бешено колотилось; казалось, что даже бьющаяся под ста десятью стрелка спидометра от ужаса клацает зубами. Мысли одна за другой вылетали из головы. А когда осталась одна, последняя: «Гос-по-ди!» – машину занесло.

Мы болтнулись сначала влево, потом вправо. И, точно вышибленный этим, пропал страх. Стало легко на душе, точно мы катались на американских горках. Теперь бояться было уже поздно. Единственное, что оставалось, – молча наблюдать, не успевая удивляться.

Водитель истерично крутил руль, но нас бросало все сильнее. Я с интересом смотрела, как бежит под колеса дорога, от скорости слившаяся в однородный серо-желтый поток. Швырнуло вправо еще раз.

...Уши заложило, как при взлете и наборе высоты, в голове тонко звенело: я больно треснулась лбом о подголовник кресла водителя. Подняла голову. В мыслях было мутно, сердце замирало. Сквозь шум и комариный писк в ушах прорвался голос Саши:

– Все живы?

Я не ответила: Саша жив, и это главное. Я искренне не понимала, как это я могла бы оказаться неживой. Какой абсурд...

Я посмотрела в лобовое стекло: видна неподвижная, нелогичная и слишком близкая картинка – заросший травой земляной склон и ствол ели, ветки которой шуршали по крыше кабины. На само же стекло кто-то будто накинуд вниз частую толстую паутину.

– Ч-черт! – выругался водитель, толкнул дверцу плечом, мы выбрались наружу. В голове все еще шумело. Я легла в тень на пыльную траву. Довольно быстро полегчало. Шум в голове понемногу утих, втекла первая трезвая мысль: «Как хорошо быть живым...».

Теперь, когда был выключен двигатель и не шумели колеса, стало слышно, как поют в лесу птицы, и мне хотелось слушать и слышать эти наполненные, живые звуки. Хорошо было лежать на траве у проселочной дороги и видеть, как колеблются на земле тени листьев, потревоженных ветерком. И чувствовать, что сердце стучит и ты дышишь. Все было так спокойно, так неизменно, что возникало обманчивое ощущение, будто ничего и не произошло, и водитель просто остановил машину, чтобы пассажиры смогли вдоволь насладиться чудесным днем. Начали уже шутить, выясняли, кто чем стукнулся, кто что думал и чувствовал в этот момент...

* * *

Наконец удалось полежать в приятном полумраке палатки. Не было сил ни двигаться, ни разговаривать. Все слова и мысли кончились, потеряли смысл. Сердце билось скоро-скоро, ему было тесно в грудной клетке. Я подползла к Саше, положила голову ему на грудь – его сердце стучало еще быстрее и громче.

– Купаться пойдём? – спросил Саша.

– В августе?

– А что, тепло...

По веселой солнечной дорожке в сосняке, похожей на желтую зебру, спустились к реке. По пути встретили грустную лошадь пшеничного цвета с хвостом, полным репьев, и такого же блондинистого жеребенка. Над головой росли облачные башни.

Купаться в августе, даже в такие теплые дни, как сегодняшней, обычно осмеливаются немногие, но в воде было полным-полно народа. Саша решил-ся первым. Он шел медленно и выл от холода, а когда наконец окунулся целиком, то заорал в голос.

Вода оказалась просто ледяная и чуточку пахла болотом. Камни острые, с непривычки ходить по ним больно. Я сняла босоножки у самой кромки воды и зашла по щиколотку, медленно ощупывая ступней каждый камень и от холода поджимая пальцы. Водоросли мягко касались ног. Я зашла по пояс, оттолкнулась, зависла в жгуче холодной воде и почувствовала, как меня властно, как щепку, уносит течением. Купаться расхотелось, я повернула к берегу. Саша обернулся и закричал: «Я еще-о!».

Я выбралась на берег, отжала волосы, махнула Саше рукой (с пальцев сорвались блестящие прозрачные капли) и полезла крутой тропинкой вверх по откосу. Песок забивался в босоножки и покалывал ступни. Я огляну-

лась, искала глазами Сашу, не нашла его в воде и увидела вдруг, что он бежит за мной.

Когда он подбежал, я сказала:

– Я люблю тебя. Я правда тебя люблю.

– Аналогично, шеф, – Саша всегда так отвечает и весь будто топорщится. Когда-то я на него обижалась. Потом поняла, что он просто-напросто не любит красивые слова. Такой смешной!

Вечером в голове проносились обрывки дня, несвязные кадры: восторг, страх, грусть, радость. День безразмерный, вместивший в себя не меньше недели обыденной размеренной жизни. Хочется надолго его запомнить, сфотографировать сердцем и вспоминать зимой, когда будет казаться, что до лета так же далеко, как до другой планеты.

Мы сидели то у одного, то у другого костра, оранжевые языки пламени лизали серые сучья. Саша одолжил у знакомых гитару и пел. Пел он неважно, да и гитара дребезжала, но мне нравилось смотреть на него и слушать, как он напевает. От костра разливалось жаркое тепло, казалось, что все приобретает вкус меда.

Чтобы не уснуть, мы пили очень вкусный кофе, в котором плавали сосновые иглы, но после двух ночи я больше не могла бороться со сном и забралась в палатку, выпив немного шары (волшебный напиток – чай, сгущенка и спирт, пропорции по вкусу). Но заснула я с трудом и просыпалась, кажется, каждые десять минут – голоса соседей звучали прямо над ухом. Палатка угрожающе покачивалась, стоило кому-нибудь пройти рядом, и тогда мне чудилось, что этот кто-то запнется о растяжку и обрушит палатку.

Поутру я проснулась от холода, который пробрался под два свитера и джинсы. Стрелки часов едва-едва приблизились к шести. Саша до сих пор не было. Светало, молочный туман тихо клубился по земле, полз и поднимался почти до середины темных стволов. Наверху, над деревьями, нежнейше розовело небо. Как будто на миг передо мной приподняли занавес, скрывающий от меня что-то важное. Спасибо, Саша, спасибо. За этот рассвет, за вчерашний день, за сегодняшний, за то, что ты рядом... Теперь я знаю наверняка, что все в моей жизни верно и осмысленно, не бездарно..

И тут я увидела Сашу. Он ехал верхом на старой знакомой лошади. Лошадь плелась еле-еле, но Саша красовался так, будто только что проскакал галопом.

– Я похож на ковбоя? – спросил он.

– Не слишком, – ответила я. – Шляпы не хватает.

– Ты почему не спишь? Замерзла?

– Угадал.

Мы легли на одно одеяло, укрылись другим. Я прижалась к Саше, чтобы стало хоть немного теплее. Сашка мгновенно провалился в сон, а я больше не смогла заснуть. Просто лежала, постепенно согреваясь, и думала: пускай случится цунами. Или землетрясение. Или даже конец света. Пусть. Страшно не будет.

Дмитрий МУРЗИН

* * *

Не давай мне, Боже, власти,
Чтоб тираном я не стал,
Да избави от напасти
Капиталить капитал.

Ниспошли смягченье нрава,
Всё, что будет – будет пусть,
Но не дай отведать славы,
Потому что возгоржусь.

Ничего не надо даром,
Для других попридержжи

И большие гонорары,
И большие тиражи.

Дай мне, Господи, остаться
Аутсайдером продаж
И блаженно улыбаться
Раздаривши весь тираж.

Но дрожат от счастья пальцы,
В голове – мечтаний дым:
Сколько же сорву оваций
Я смирением своим.

* * *

С поэзией пора завязывать, мой друг,
Поскольку ничему она тебя не учит.
Перебирать слова по буквам каждый вечер,
Надкусывая ритм, разжевывая звук.

С поэзией пора завязывать, мой враг,
Пора, давно пора покинуть это царство,
Послушайся меня, прими моё лекарство:
Две рифмы перед сном и рифму натощак.

* * *

Двое спят, заснув на полуслове,
Недоговорив, недошептав,
Переутомлённые любовью,
Пере-пере-пере-перестав.

За стеною замолчала вьюга,
Снег идёт в крошечной тишине,

Спящие в объятиях друг друга
Мирно улыбаются во сне.

Ночь прошла, и посветлело небо,
На пол тень упала со стола.

Он проснулся и ушел за хлебом,
А она проснулась и ушла.

* * *

Врач пишет о живом на мёртвом языке.
Как выживет больной, когда язык накрылся.
Дышу и не дышу. Повис на волоске.
Врач – знай себе строчит. Он этому учился.

Но почерк – не поймёшь. Диагноз – невпротык.
В нём нет знакомых букв, знакомых слов – в помине.
Стараясь всё учесть, врач высунул язык.
Врач высунул язык, а он мертвей латыни.

* * *

Что тебе мир, валяющийся у ног,
Будто не ты, а мир беспробудно пьян.
«Есть ещё Океан!» – говорящий Блок.
«Есть ещё Блок!» – отвечающий Океан.

Есть ещё порох на складе пороховом.
А на продуктовом складе нет ни шиша.
То, что писал топор, – зачеркнёт пером
Сытое тело. Резиновая душа.

Бутылки стоят, забвениями дразня,
Но чем дешевле питьё – тем мертвее сны.
Будут конфликты. Мелочная возня.
Только возня. И никакой войны.

Каждый забился в свой отдельный мирок,
Напоминающий пластиковый стакан.
В мире, почти забывшем, что есть ещё Блок.
В мире, почти забывшем, что есть Океан.

* * *

Вот склонился над доскою
И в руке зажал брегет.
Ходят кони над рекою,
Ходят кони буквой «г».

Время – шустрое такое –
Утекает, как вода.
Ходят кони над рекою,
А ладья – туда-сюда.

Он на всё глядит с тоскою,
Роет каблукком песок.
Ходят кони над рекою,
А слоны – наискосок.

Будто нет иных мелодий,
Будто конь здесь виноват.
Никуда король не ходит,
Королю здесь шах и мат.

* * *

Выйдешь, в чём есть, из трамвая,
В воздухе пахнет грозой,
Светит звезда роковая
Ласковой бирюзой.

Выдохнет ночь, как живая,
В спину, листвою шурша...
Ходят по кругу трамвай,
Мается в круге душа.

Светит звезда, остывая...
Будто бы над головой
Смерть, падла, как таковая,
Жизни, как таковой.

* * *

Наш повар варит борщ, наш повар чегеварит,
Наш повар бородат, банданист и лукав,
И лук в его руках слезу в глазу нашарит,
И защекочет нос набор его приправ...

Всё под его рукой кипит, бурлит, клокочет,
Костёр его – горит, дрова его – трещат,
Он, знай себе, поёт, он, знай себе, хохочет
Поёт о том о сём, смеётся наугад.

Он весь – из озорства, побасенок, улыбок,
Случится коль чего – так он и горю рад.
А что судьба его – комедия ошибок,
Зато – костёр горит. Зато – дрова трещат.

* * *

Обмани меня по-простому, На каком-нибудь ровном месте. Будто Волга впадает в кому, Отражая бардак созвездий.	Обведи меня вокруг пальца, Заведи и оставь в трёх соснах. Дай мне вышептать твоё имя, Подпусти меня близко-близко, Проведи меня на мякине – Я устал от твоих изысков.
А когда буду рвать-метаться, Улыбнись, и скажи, что поздно,	

* * *

Друг ситный, мы стареем не по дням...

А. Гамзов

Список вписок. Перечень причин
Выпасть из реестра, из регистра
Еле-еле или быстро-быстро...
Состоять из шрамов и морщин.

Список кораблей и середин,
Азм – зола, а начинался с искры,
Мог бы стать товарищем министра.
Никаких бы: «Ай да сукин сын!»

В этот век ненастный и кровавый
Лучше задушить в себе поэта,
Лучше промахнуться на октаву,
Нежели продаться за монету,
Повестись на почести и славу...
Вот и всё. И кончимся на этом.

Виталий КРЁКОВ

НА ДУРНОЕЗЖЕМ

В хозяйстве племзавода на последней неделе июня, пока не огрубла трава, не пошла в дудку, начинали закладывать естественный травостой на сенаж. Брели траву с болотных неудобиц всё больше литовками, а где не было кочкарника и поровнее – конными косилками. В первой десятидневке июля начинали валить сеяные травы: костёр, тимофеевку, люцерну. В августе – молочной спелости вико-овсяную смесь.

На сенаж требовалось не более четырёх возчиков. Туда зачисляли ребят покрепче, чтобы каждый мог хорошо подцепить и скинуть вилами сырую траву, заехав в силосную яму. В это время распорядитель работ, полевод Лукин Семён Иванович, знал, кого отметить вниманием, кому нужней была копейка. Чаще всего это были подростки из многодетных семей, уже много чего умевшие. Но и до сенажа, до стогования сена можно было о-го-го как неплохо заработать на прополке турнепса, кукурузы, шкурении стволов берёз и осин на черни, оглобли и другие хозяйственные нужды. Но совхозные отроки считали настоящей работой ту, где непременно участвовала лошадь, а всё остальное было нарушением неписаного протокола. И даже когда ещё свежесрубленные берёзки лежали в слезе, мало кто шёл на шкурение – несмотря на достаточно высокие расценки. Даже мужики охотнее взялись бы за эту работу, чем за низкий тариф на подёнке.

Отроки в это несенокосное время больше находились на берегах водопойных прудов, в поездках на рыбалку, а в семьях, что покрепче, носились на отцовских мотоциклах. Бывало, Лукин не сразу и сыщёт охотника топтать глину для обмазки щелей коровников и саманных построек. Но когда начинался сенаж, те, кому и рубль был вторым делом, толпой ходили за бригадиром полеводов и буквально ныли: «Семён Иванович, возьмите меня, возьмите меня». Пристально глядели, как он запрягает в дрожки лошадь, даёт последние указания, заглядывая в записную книжку, выкрикивает:

– Пашкевич! Гулеви́ч! Дорошкевич! – и дальше: – Чучалов! Где Чучалов? Живо на погрузку зерна!

Когда начинали стоговать сено, Дерик Чучалов знал, что не надо проситься в первый набор. Бойкие мальчуганы всё равно бы оттеснили на задний план, да и их родители хаживали в маленьких начальниках: бригадиры, механики тракторного парка, агрономы, зоотехники. И пристроить сына, тем более что он сам просится на дело, чтобы меньше праздно болтался и безобразничал, исполнить желание малого, – это святая обязанность отца.

Уже собрали третье звено на стогование сена. Кончалась вторая неделя заготовок. Работа перемещалась дальше, а на первом и втором полях восстановилась полная тишина с зародами сена, обозначавшими ещё более глубокое и осмысленное молчание.

Работать на конных граблях, быть копновозом для Дери́ка считалось большой романтикой, успехом личной карьеры. Ведь и начальствующие отцы счастливчиков для престижа сажали своих чад на доверенных им выездных лошадей, сами запрягая в свои ходки, двуколки и одноосевые таратайки простых кляч, а то и просто использовали личные средства передвижения – мотоциклы.

Дерик смотрел с завистью, как одна группа, другая выезжали сначала спокойным шагом. А потом, с глаз долой управляющего, полевода и конюха спускались в лог и, поднявшись на гриву, заросшую молодым березняком, выезжали на полевою дорогу, сначала рысью, а затем в мах проминали доверенных им красавцев. Удовлетворив личное самолюбие, переходили на скорый шаг.

В эти полмесяца сенокосной страды Дерика посадили на самую большую, гнедой масти, клячу – жеребую Медогонку, таскавшую волоком брёвна на пилораму, теперь топтать смешанную с конским навозом глину для обмазки щелей коровника на целых четыре дня. Счастливики, проезжая мимо, жонглировали фамилией Дерика, называя его и чудо болотное, и чудак рыбак, и чудилище, поймал дерьмо на удилице. Даже внешне Дерик выглядел чудаковато – будто звёзды считал.

Когда формировали третье звено, где главным был Яков Михайлов, Дерика, как работающему и безотказному, полевод предложил вакансию копновоза: «Что ж, иди, коли так рвёшься на сеноуборку». Но Дерик хитренько отказался. Мол-де, привык к ошкурению стволов, мол, потерплю. И хотя вся слеза, от которой легко отслаивалась кора, особенно у осины, высохла, предложение Лукина было не очень заманчивым. Лошадей самых резвых уже разобрали молодцы бригад Антона Пашкевича и Егора Ванькова. Когда Дерик сверялся в конторе по нарядам на каждый день, то по бухгалтерским расценкам шкурение стволов ценилось очень хорошо и было сравнимо только с прополкой моркови. В день выходило по три с половиной рубля, когда грузчики, возившие из города комбикорма, зарабатывали всего по рубль сорок – рубль пятьдесят. У местных каменщиков получалось в день по три рубля, так же, как у пастухов. По рубль двадцать в день платили за топтание глины, но там работы было всего на четыре дня.

Дерик работал прошлое лето у Михайлова Яши и хорошо знал, что такое работать у суетливого Яшки-Карбида. На работе Яшка всех подгоняет, орёт утром громко, к вечеру охрипнет, голос потеряет, а не утихает. Сам Яша – коротышка, не то что гигант Антон Пашкевич, а если сам коротышка, то и всё мелкое, короткое. Бабы-накладчицы ленивые, копны кладут мелкие. Антон Пашкевич как начнёт формировать зарод, то копны заставляет возить более центнера. У него и без перекидки треть зарода уже есть, а Яков-то и на четвертинку не дотягивает. Бывало, заставит копёшками рабочее место, черенок вил на рычаг поставить негде. Так по верхам и суетится, цупом работает. Лошади у Яши-Карбида самые ленивые, спокойные, чтоб ребятишки, основная часть его рабочих, не поразбивались. Это была пара высоких большеголовых кобыл по кличке Груша и Галка. На этих клячах Яшкина мелкота выглядела бедуинами на белых верблюдах.

Больше недели после того, как Яшка-Карбид сформировал своё звено, шли дожди. Вроде сухо, вроде вышел момент, навёрстывай упущенное, а начнут основу зарода, тут и дождь посыплет, сено перемочит. До обеда все ждут погоды, авось за полдень сухо будет, глядишь, часа четыре можно поработать. Ожидавшая ребятня в орлянку играет на расстеленной фуфайчонке, мужики в очко да в ази картишками перекидываются, а шкурить стволы можно и при дождичке.

К этому времени разнотравье уже пущено на сенаж, повалены костёр и тимофеевка. Ждали только безоблачного неба и большого тепла. Тепло наступило. За два дня всё обилие скошенных трав не только просохло, стало при укладке шуметь, терять полезные витамины, превращаясь в

малопитательное былье. По совхозу объявили ударный воскресник до тех пор, пока не будет убрано основное сено. К восьми часам утра, кроме уже действовавших заготовителей, народ шёл, как на сабантуй. Шли строители – из них сформировали два звена. Шли из ремонтно-тракторной мастерской шоферы, слесари, токари во главе с медником Гришей Жеребцовым со своим подручным инструментом. Все рабочие лошади уже были разобраны.

К Дерикю полевод подошёл буднично.

– Иди к Ермолаеву, бери Василька, сбрую и к Ивану Рябко на подскрёбки. Грабли стоят в поле. Смотри, тебе Василька доверяю, будь осторожен. Рогов давно на нём не ездил.

Василёк числился прикрепленным к Роману Рогову – заместителю директора совхоза. Василька хотели сделать племенным жеребцом, на весёлую жизнь растили, да главный зоотехник Головки остановил задумку. Нечистокровный! Нечего табун в ублюдков превращать! И жеребчика, уже вкусившего сладость размножения, кольнув иглой, сделали пробником; но всё равно привилегий у Василька было много. Целый день на ногах на вольном ветре. За два-три года при Рогове еды было вдоволь. Поедет Рогов на выпаса, а там, смотришь, к коровьей еде пристроит, овсяную дроблёнку и жевать не надо. Заглянет на сушилку – там пшеница, ячмень. До города хозяина прокатит – там весь день комбикорма на заезжем жуй, пока с путей на машине до тракторных саней муку в мешках возят. Да мало ли укромных уголков с едой вкусной, только шевели мозгами, припоминай. Сбруя латунным набором вся сверкает. Хозяин в денник заходил с кусочком комкового сахара на вытянутой руке. Потом всё постепенно прекратилось. Василёк видел, как хозяин подъезжал на вонючем самокате, входил и выходил обратно, уезжал в жаркое время, оставляя по дороге густую пыль. В общем, сам не ездил и другому хозяину не передавал. Зимой целый день в деннике с необъезженными лошадьми, на морозе пожуй-ка солому. Солома жесткая, непитательная, мякоть, как травка, редко бывает. А так как Василёк помнил, где наслаждался вкусным поеданьем, то он перемахивал ограждение денника в слабом месте и до вечера шлялся у коровников, зернового склада, где мельник и скотники-разгильдяи оставляли полыми ворота, а там всегда есть ларь, куча зерна, и можно было попить.

В марте, когда стояли солнечные дни, начиналась жизнь. Молодняк то и дело играл, прыгая друг на друга и награждая обидчиков ударами задних ног, кусал друг другу гривы. У Василька, пока он возил Рогова, была не грива, а причёска, похожая на шлём римского legionera. Грива так и не отросла за время отсутствия хозяина. Когда Василёк прыгал на молодёжь, то всё равно получал сдачи ровно великовозрастный болван, но он умел хорошо обкусывать хвосты соперникам, вовремя избегая ударов задних ног.

Старший конюх Иван Ермолаев (в посёлке его звали Рыжий) сбрую, в которой ходил Василёк, не выдал, а стал подбирать близкое по размеру. Хомут с обнажёнными клещами, тогда как на директорском была изящная крышка чёрной кожи. Шлея сделана из сыромятных ремней и такой низкой выделки, что, когда-то раскиснув под дождём, а потом, высохнув, стала костяной, и казалось, что вот-вот изломается от энергичного обращения.

Вместо дорогой спортивной узды с латунным набором, которой можно легко управлять молодым жеребчиком, Рыжий нашёл подобие узды, изготовленной из прорезиненного полотна трансмиссий. Такую узду без барашка приходилось снимать при разнуздывании и надевать при ввездывании, что было крайне неудобно. Вдобавок, на парадной узде Рогова были

тяжёлые ременные поводья, которые приятно пахли дёгтем. При таком снаряжении появлялась уверенность обладания ситуацией при быстрой езде. Здесь же поводьями служил тонкий пеньковый неразмятый канат. Дуга досталась настоящая, директорская. Вожжи Ермолаев выдал новые тесмённые из пачки, за что заставил расписаться в журнале, предупредив: «Проворонишь – вычту!» Ермолаев знал, что отдай директорскую сбрую в работу – неприятностей с Роговым не оберёшься. Кожух хомута пошёл бы на обсоюзивание валенок, поводья, гужи – на плетение бичей.

Иван Ермолаев выше среднего роста, костлявый рыжий мужик. На европейском юге работал на конном заводе. Когда чеченцы поехали семьями из Казахстана на родину, житья не стало, и он с женой-мусульманкой и двумя девочками приехал в совхоз. Девочки подрастали, стали красивыми. Иван мыслил их выдать за самостоятельных мужиков. Таких, как Дерик, Иван презирал, боялся, просмотри, задружат, а потом испортят – вот и вредничал.

Василёк стоял в загоне с молодняком. Он знал, что, когда разберут упряжных лошадей, когда опустеет от телег и повозок площадь, их выпустят на волю пастись. Хозяин не приходил. Васильку хотелось позабавиться, покусать, попрыгать, но никаких знаков на забаву не поступало. Молодняк стоял, сбившись в одну сонную шеренгу, головами к жердям загона, и, ущипнув одну из таких четырёхногих личностей, можно было получить не один удар парой задних ног. Василёк всегда подходил сбоку и запрыгивал на крайнего с фланга, кусая гриву необъезженного меринка. Молодняк доживал до пятилетнего возраста. Его не объезживали, а берегли на забой, когда не дотягивали плановую сдачу мясопоставок, когда нужно было подкормить рабочих совхоза. Вот, наконец-то, случилось для Василька приятное. Молодая жеребушка, подняв хвост, мокро сходила, подрачивая створками заветного входа. Василёк приблизил морду к происходившему и, втянув запах тёплого нутра, приподнял край верхней губы к ноздрям, обнажив бледно розовую изнанку дёсен. Задрав от полученного блаженства голову, он стал бодать воздух.

В это время с жалким подобием узды к нему и подошёл Дерик. Василёк рассердился, приложил уши и, прищутив глаза, стал поворачиваться задом, чтобы лягнуть задними ногами, но Дерик держался ближе к голове. Кусать Василёк не собирался. Еще в молодости, когда хотел укусить хозяйина, то получил от него цыганский урок горячей с разварки картошкой. Теперь же он хотел убежать подобра-поздорову. Дерик вспомнил, как Василёк шёл к Рогову, когда тот, вытянув руку, звал к себе, соблазняя кусочком комкового сахара. Дерик сбегал за своим сидорком, в котором лежали лук и сдвоенные пластики хлеба, засыпанные на мокро сахаром. Васильку понравилось угощение. Он поверил. Узда была надета. Василёк охотно пошёл за Дериком на простор. Дугу, хомут, седёлку Дерик забросил в тракторную тележку Ивана Рябко. Там же расположились члены бригады. «Ну, что, артель инвалидов, поехали, значит», – бодро сказал Иван Рябко и сел на сиденье своего ДТ-20. Дерик, запрыгнув с подставки на Василька, поехал до места налегке, стараясь трусить одиночкой. Узда была не строгая, и Василёк, по привычке, стал вольничать, косить то влево, то вправо приплясывающей трусцой. Он и при Рогове всегда шёл приплясом, округляя ноги. Со стороны казалось, что бежит резвый жеребчик, тогда как на самом деле его могла обогнать средняя рабочая лошадедка. Дерику потряхивало, хотя спина Василька была без костного выступа с незаметным переходом в холку.

Ещё до шкурения стволов, когда подросткам никто не предлагал никакой работы, кроме прополки пшеничного поля на семена, на конном дворе появился бригадир дойного гурта Давыдов. Он попросил Дерика на пару дней подменить заболевшего пастуха, а с пастухами всегда была напряжёнка. Да к тому же и мать Дерика работала дояркой в бригаде Давыдова. Дерик согласился. Давыдов пересадил Дерика на бригадную кобылу и велел ехать на Озерки, а сам пошёл в контору. Бригадная кобыла оказалась резвой, но злой и не сразу позволяла садиться верхом себе на спину. И хотя в бригаде было вдоволь овсянки, шрота и кукурузного жмыха, она была сухой конституции. Без седла на жаре Дерик три дня пас непослушное стадо. Нежная кожа на заднице была сбита за два первых часа. Место, где была сбита кожа, пылало раскалёнными угольками. Нужно было терпеть, терпеть, сидя на костлявой спине злой лошади. Коровы пастись не хотели и к обеду становились неуправляемыми, разбегались в разные стороны. Дерик носился галопом по кругу, сбивая разбежавшихся животных в стадо, но потом, отчаявшись, всё пускал на самотёк, предупреждая только попытки бурёнок от соблазна выйти на сеяные клевера. В самый жар коровы стояли на мелководье водопойного пруда.

За три дня испытаний, отпущенных Богом Дерик, стадо потеряло тридцать процентов удоя, но зато осталось без потерь и при полном здоровье. Что ж, и это бывает. А сбитую в самом неудобном месте кожу Давыдов посоветовал смазывать техническим вазелином, употребляемым для смазки сосцов при доении коров вручную и предупреждения болезненных трещин. Технический вазелин не парфюмерный, смазки хватало до половины дня.

Случилось то, чего Дерик и опасался. Просёлок, по которому он трусил на Васильке, минуя мелкие колки, входил в большой берёзовый массив и выходил из него на широкую дорогу и совхозные поля. На дороге Дерика как будто поджидали самые ехидные, самые хулиганистые удальцы совхозного конного подворья. Это были мётчики из бригады Ванькова – мужики, у которых не кончилось детство ни в заднице, ни в голове: Толька Расстегаев, сын конюха полуцыган Вовка Абаринов, сын объездчика Абрамкин и Тютиков, вечный участник конно-лыжных соревнований. Ну, конечно, все они на простых лошадях не сидели, и всем, видно, хотелось похулиганить, повольничать. Они радостно окружили ехавшего на Васильке Дерика, хотевшего скромно отстать, удержаться от греха подальше. Стали смеяться, деланно сочувствовать разжалованному выданной конюхом Ермолаевым уздой генеральского любимчика до ефрейторского звания. Да! Такой уздой управлять было трудно. Она годилась разве что на самую худую клячу, стоит ли говорить. Лошади, на которых ехали абреки, имели самое главное – хороший ход. Это всё равно, что остро отточенный инструмент, которым работать легко и безопасно. Простые рабочие кони непредсказуемы, если их разогнать. Тупым инструментом наверняка можно травмироваться. Что-то может соскользнуть, пройти не по назначенному месту. Так и на простой коняге можно умелому ездоку хорошо на землю шархнуть от неожиданности.

Тютиков ехал на быстроногой кобыле Маруське. Маруська была немало крупнее монгольской лошади. Дерик знал её ход. На Маруське, если она шла и быстрой рысью, можно, как говорят, чай распивать. Тютиков сидел на лошади, свесив ноги на одну сторону, подражая аристократкам девятнадцатого века. На лошади парторга гарцевал Толька Расстегаев, успевший сотворить по дочке двум женщинам. Первую дочку Толька ла-

дил любовнице в прикладбищенских сосёнках, вторую – на брачном ложе с законной женой. Девки вышли близняшками.

– Ну, что, редиски, срежемся! – предложил Толька Расстегаев. Предложение было принято. Абаринов врезал своим трёхколенным бичом по крупу Василька. Василёк занервничал, сильно зарысил, сдерживаемый во всю силу Дериком. Абаринову понравилось, глаза его радостно заиграли бесенятами.

Года четыре назад, при ожидании дневного сеанса, Дерика стравили на драку с младшим по возрасту сыном завскладом Петькой. Дерик, никогда не дравшийся и добрый по своей натуре, старался, как бы без боли подавить своего соперника. Соперник же, освободившись от объятий Дерика, врезал неожиданно в ухо, а потом в лицо, после чего ретировался в круг Дериковых ровесников. Они его приветствовали как победителя, в числе радостно хохотавших был и Абаринов. Дерик стало очень обидно, и он потребовал смертного боя, вызвав ещё больший смех. Некоторые, в том числе и Абаринов, демонстративно упали на широкие клубные лавки, стараясь показать, как обессилел их смех. Поэтому Абаринов часто напоминал этот неприятный для Дерика случай. Выбыть теперь из дурацкой затеи, отказаться от смертельно опасной для него скачки означало для Дерика сдачу немаловажных позиций.

Тютиков, всё так же сидевший, свесив ноги на одну сторону, присвистнул, пустив Маруську в мах. Она пошла так легко, будто рысать для неё не составляло никакого труда. Выездная парторговская Белоножка под Расстегаевым приняла скачку, как необходимое испытание, а меринок Абрамкина – как работу. Сын Абрамкина любил выезжать на ближние поля собирать телят нерадивых хозяев, пасущихся на зеленях. Загнав их в денник, а потом и в глухие клетки, отец собирал с владельцев недосмотренного поголовья штраф. А про Абаринова нечего было и говорить. Где отец конюх, там и сын в конюхи собирался, да ещё и цыганских кровей наполовину.

Василька, ходившего при Рогове выплясывающей рысью, что было видно издали, затея со скачками смутила. Его оскорбил удар бича, произведённый Абариновым. Он хотел отлягнуться, но обидчик ушёл вперёд. Получив вторичный обжигающий удар по крупу от Абрамкина, Василёк почувствовал себя среди врагов. Тут уже было не до выплясываний, над которыми смеялись зубоскалы, и Василёк решил показать себя. Когда рабочих лошадей, объединив с молодняком в один табун, стали выгонять пастись в ночь, началась для Василька вольница, а пастухам – дополнительные хлопоты. Как-то, отбившись с молодой кобылкой от табуна, Василёк наткнулся на раздавленный мешок вико-овсяной смеси. Хорошо подкормившись, он решил гулять, гулять, познавая мир. Нашли Василька днём на Новодеревенских полях, полях совсем другого хозяйства. Пастух, выгнавший на обратную дорогу, хотел излупцевать бичом Василька, но Василёк не допускал сидевшего на вороной кобыле всадника, уносясь от преследователя.

Пошёл вскачь он и сейчас, стараясь этим приёмом освободиться от обидчиков. Дерик увидел, насколько опасно это удалство. Василёк был крупнее всех и, перейдя на сильный галоп, бил задними ногами, даже не вытянув при этом шею, а только сильно опустив голову вниз, будто собрав всю волю в единое, старался скорее выйти из неприятного положения. Едва выступающая холка исчезла, и Дерик сидел на Васильке, ровно на вытянутой руке, а может, и того хуже – на топоре. Абреки неслись по свеженакатанной конной дороге, а Василька, с сидевшим на нём Дериком,

оттеснили на автомобильно-тракторный путь. Пока шли дожди, техникой путь размесили, а при жаркой погоде он отличался от конного первопутка крупными крепкими комьями сохшегося чернозёма. Приземлиться на такой грунт да при бешеной езде было смерти подобно. «Жаль, что хомут не надел. Так бы встал ногами на шлею и не сползал вперёд», – подумал молниеносно Дерик. Это спасло на мгновение от панического ужаса в создавшемся положении. «Упадёшь – костей не соберёшь», – подумал Дерик и вспомнил, как три раза тонул, тонул по-настоящему в водопойных прудах. Да, только сам господь Бог видел эту группу людей, несущихся на лошадях, обрамлённую трагическими картинами, спроецированными сознанием Дерики.

Раньше, когда Дерик тонул, тогда совсем не было надежды, и не спасало подныривание к берегу. Дерик видел безутешную мать, как его везут на подводе в дом, где он проживал, и эта картина была прервана его спасением. Третий раз Дерик тонул от перевернувшейся лодки, дыры которой залепили грязью. Грязь смыло, и лодка, скинув сидящих в ней, сначала пошла ко дну, а потом перевернулась. Дерик в это время не потерял присутствия духа, а, работая руками и ногами, доплыл до лодки и, слегка придерживаясь руками и работая ногами, в одежде, направил лодку к берегу.

Василёк вошёл в раж. Он уже на четверть своего корпуса вышел из враждебного окружения, и сын объездчика Абрамов вдогонку хлестанул плетью. Этого ещё не хватало. Василёк так отбрыкнулся, что Дерик чуть не потерял равновесие и сдвинулся вперёд, наезжая на едва проступавшую холку. Ноги Дерики впились в бока Василька костяной хваткой, и он мысленно стал восстанавливать прежнее положение. Василёк, почувствовав, что выходит вперёд, стал спасительно поднимать голову. Это ослабило на какое-то мгновение напряжение воли Дерики, а в ослабевшее опять стал прокрадываться страх. Да, страшно было бы лежать на сельском кладбище такому молодому, не познавшему радости. Он вспомнил школу, в которой ему нелегко училось, где ставили двойки, где стоял в жаркой накуренной канцелярии перед директором навтытяжку. Как таскал носилки с мёрзлым турнепсом, как на нём испытывали силу и ловкость крепкие от хорошей еды, упитанные одноклассники и переростки. Перед глазами Дерики проплывало кладбище, которое недружелюбно щерилось своими памятниками и крестами в зимнее время года. На нём по весне похоронили умершего от приключившейся неизлечимой болезни соседского мальчишку, года на три моложе Дерики. И Деррик, представляя себя на его месте, всеми силами своего сознания старался воскреснуть.

Василёк вышел вперёд и гордо скинул свою голову. Он нёсся легко, как будто вспомнил своё первоначальное назначение, и ему казалось, что молодая кобылка скачет за ним. Положение изменилось настолько, что Дерик чувствовал себя победившим, а побеждённые, сбавив ход, уходили к местам своей дислокации.

Впереди ждала трудная, грозная, но прекрасная жизнь.

2007 г., февраль.

Александр РАЕВСКИЙ

* * *

Пройдя сомненья, прегрешенья,
Обрести уверенность в себе.
Высокий миг преображенья
Начертан каждому в судьбе.

Отныне юным и свободным
Могу парить над суетой –
Сквозь иней вспыхнул мне сегодня
Лучистый крестик золотой.

Пред вечной тайной замирая,
Его ношу я на груди,
Лука забвенья, жизнь вторая –
Так что же, что там впереди?..

Душа

Над бездной космоса – могила, Крестом надежно заземленная... Душа на землю приходила, Ушла больная, изумленная.	На голубую эту точку Глядит, глядит, замороженная: Лениво вертится планета, Такая теплая, атласная; А никому там счастья нету, А все мгновенное, напрасное...
В коре оставив оболочку, В астрале зябнет обнаженная...	

Видение

Равнина молчала. А сердце стучало...
Безмолвно и плавно – жалей не жалей,
Небесное войско к закату промчалось...
Один я остался на горькой земле.

Стою, очарован тоской несказанной,
Созвучной душе, недоступной уму,
Последний огонь провожу со слезами...
И холод межзвездный, как данность, приму.

Но свято поверю, что войско вернется.
И снова собравшись на битву со злом,
Возьмут и меня. И тогда мне найдется
Копье и кольчуга, и конь под седлом.

Стремительно-плавно, клубя облаками,
Умчимся к закату, растаем во мгле, –
Затопит безмолвьем, укроет веками...
А кто-то останется ждать на земле.

Встреча

Молодость гуляла, бедрами качала,
Старость наблюдала, сидя у дороги.
Молодость гуляла и не замечала,
Как туман цеплялся ей за босы ноги...

Выйду на дорогу, молодость решила,
Нарвала цветов я, что мне в поле делать?
Старость у дороги тень свою сушила,
Из-под темной шали ласково глядела.

Молодость на старость глянула брезгливо,
Ветхую черницу обходя надменно,
Старость улыбнулась: «Как же ты красива!
Но тебя сгублю я, девка, непременно...».

Встала и вдогонку рукавом махнула –
Зашумели в поле белые бураны,
В сердце ретивое холодом дохнуло...
Все бы ничего бы, но зачем так рано?

Ну зачем так рано, ну зачем так быстро
Пухом лебединым разлетелись годы,
Горькою морщинкой, прядью серебристой
Крепко зацепила злая непогода?..

...Молодость другая в голубую кружку
Ягоды собирала, по цветку гадала...
Молодость былая седенькой старушкой,
Сидя у дороги, девку поджидала.

* * *

Где была деревня,
Тихо всё и ровно,
Лишь стоит ветла –
Как торчком воткнутая
Серая и гнутая,
Голая метла.

Весь металл с погоста
Растащили просто.
Дик и одинок,
По краям просевший,
Под крестом созревшим
Млеет бугорок.

Кто здесь лёг последним
Под крестом осенним,
Кто над ним скорбел?

Что по жизни делал,
Робким был иль смелым,
Плакал или пел?..

Комара притисну,
Крикну или свистну –
Глухотень в ответ.
Лебеда да сажа,
В поднебесье даже
Жаворонка нет.

...Опущусь устало
На кирпичик старый,
Белый, как я сам;
Под ветлой уснувшей
Дальнего, минувшего
Слышу голоса...

* * *

Мы на лавочку присядем, где забор,
Мать при фартучке. Мария ее имя.
Ее руки трудовые до сих пор
Пахнут детскими рубашками моими.

Созерцаем сельский мир перед собой,
И в стаканчиках мороженое тает.
Ты вот с палочкой хромаешь, я седой –
Пролетает наше время, пролетает...

Только память... в то, далекое, гляжу:
Вон на лавочке, сандалями болтая,
До земли не доставая, я сажу,
Рядом мамка – молодая, золотая!..

* * *

... Укачала ночь-ладья.
Дремлешь, негой утомленная,
Чуть припухли и сладят
Губы, страстью опаленные.

Дышат росами любви
Куполки твои греховные,
Я в слезах целую их
И молюсь, как на церковные.

Льет луна через стекло
Струи мраморные, дивные;

Тихо глажу теплый лоб,
Локон, шею лебединую.

Я и раб, и властелин
Чувств твоих и сердца чистого,
Нежных всхолмий и долин,
Лона, свято беззащитного.

Никогда я на миру
Не сгорал, не клялся с пафосом,
Но сейчас скажи – умру
На крыле твоём распахнутом...

Белокурый мальчик

Сидел он на траве в коротенькой рубашке,
Кого-то в той траве ручонками ловил...
Сердито добрый шмель гудел над белой кашкой...
И пахло молочком от детской головы.

Дыханье ветерка к полудню прекратилось.
Сидел совсем один. А ласковая высь
Над маковкой его пыльцою золотилась,
И ангелы легко, как бабочки, вились...

Вера ЛАВРИНА

УМИРАТЬ НЕ БОЛЬНО

– Да, любимый. Жду, конечно. Ну, и что там, на деревне Сарафановке, теперича? Солнце-то поди уж рассупонилося, поскотина-то готова, – Ира, дурашливо окая, наигрывала деревенский говор. – Я не знаю, что такое поскотина, – рассмеялась она. – У местных спроси, что-то из деревенского быта. Тебе там видней. Композиция плодородия удалась? А селянок с натуры рисуешь? Присмотрел, наверное, деревенских красоток. Все хорошо. Соня звонит. Часто. Я к Светке Бурковой иду. Она квартиру получила в наследство от тетки. Да нет, маленькая. Говорит: вся разбитая и раздолбанная. Не знаю. Расскажет. Да. Целую тебя. Уж ты, сокол ясный, быстрее прилетай из Сарафановки-то, – Ира произнесла эти слова нарочито певучим голосом, рассмеялась и нажала кнопку отключения.

Положила телефон в сумку. «Ну, вот, осталось два дня ждать Сергея, – она продолжала счастливо улыбаться. – Надо Светке побольше еды купить. Сидит, наверное, опять на сигаретах и чае».

Зашла в ближайший от остановки супермаркет. В этом отдаленном окраинном районе города Ира была впервые. Попала в час пик, народу было много. Пристроилась с корзиной в конец очереди в кассу.

«Надо же! Вылитый Сергей со спины, даже ветровка, как у него», – Ирина бросила взгляд на мужчину в очереди.

Мужчина повернулся к кассе... Ирина окаменела. Это на самом деле был ее муж Сергей, с которым она вот только что, двадцать минут назад, разговаривала по телефону.

«Не понимаю...»

Он вышел из магазина. Машинально двинулась за ним. Его машина стояла на стоянке неподалеку от супермаркета. В ней сидела...

«Деревня Сарафановка в соседней области... Восемь часов езды. Роспись клуба... Шабашка на месяц за сто тысяч... Работа день и ночь... Приезжать не смогу...», – земля под ногами закачалась. Ира оперлась о стену.

Слышала только один звук – бешено колотилось сердце, так громко, как будто оно заняло все внутри, и тело стало его оболочкой.

Не помнила, как добралась домой. Без сил рухнула на диван. В голове что-то безостановочно вращалось – обрывки фраз, вспыхивающие картинки. Жизнь, в которой она пребывала счастливой и любимой, улетучилась. То, что осталось с ней, было бесцветным, незнакомым и нестерпимым. И оно продолжало распадаться, увлекая ее в бездну.

«Лучше бы я умерла – умирать не так больно».

Они встретились на втором курсе академии. Шестого сентября. Ирина опоздала к началу учебного года и появилась в городе только пятого. Накануне подруга Светка Буркова сообщила, что у них в группе новенький, симпатичный паренек – демобилизовался из армии. И тут вдруг сердце ни с того ни с сего забилося быстро и громко. Она вспомнила это потом, а тогда не придавала особого значения этому «знаку». С утра ей захотелось надеть что-нибудь очень нарядное, ну, просто так. Из нарядного у Ирины было только одно серо-голубое отчаянно короткое трикотажное платье с рюшами. Его и надела. О новеньком она забыла. Зашла в аудиторию, увидела незнакомое лицо: «А, солдатик! Ну да, симпатичный. Только невысокий».

Но Сергей сразу все понял об Ирине и о себе. В рисовальном классе встал за мольберт рядом с ней.

Шар попал в лузу, туз побил короля, в кубике Рубика все стороны приобрели нужный цвет. Любовь обрушилась, как летняя гроза – внезапно и насквозь.

Ирина с изумлением открыла для себя, что присутствие Сергея влияло на плотность воздуха, насыщенность цвета, протяженность времени. Через полгода они поженились.

Ира любила рисовать портреты Сергея, его вещи: рубашки, записную книжку, бокал. Рубашка, висящая на стуле, источала свет, бокал с дымящимся чаем торжественно ожидал хозяина. Она будто ласкала вещи Сергея кистью: они выглядели на полотне ожившими, одухотворенными.

Преподаватель живописи, профессор Белугин, очень хвалил Ирину за эти работы. Однажды на просмотре картин сказал ей:

– Ирина Владимировна, вы – моя самая большая надежда. У вас талант безусловный.

Сергея Белугин хвалил редко, в основном за хорошие замыслы, которые «не вполне реализованы». Ирина видела огрехи работ Сергея: в постановке фигур, в передаче жестов, распределении цветовых пятен. Подсказывала ему, мягко, как бы не всерьез. Он слушал ее, но по выражению глаз, чуть поджатым губам чувствовала его напряжение. Старалась не затмевать Сергея. Но работать вполсилы или намеренно плохо не могла.

Ее дипломную работу напечатал журнал «Художник». Она нарисовала вечерний город, одно окно многоэтажки увеличено, видно, что в колыбели, окруженный золотистым светом, лежит улыбающийся младенец. Устремившись к нему, по холодному синему небу над городом летит хрупкая юная мать. Она после работы: в одной руке у нее сумка с продуктами, другой она тянется к младенцу. Эту картину взяли на международную выставку в Голландию. Сергей не поздравил.

Как-то он работал над большой картиной «Шахтеры». Ира видела, что лица у шахтеров скучные, вся композиция вялая.

– Сереж, ну почему твои шахтеры такие скучные, будто их на лекцию об успехах животноводства загнали? – вырвалось.

Сергей молча плеснул белила на почти законченное полотно.

На следующий день Ирина позвонила своей тетке. Та работала большим начальником в системе ЖЭКа и не раз предлагала племяннице хорошее место:

– Ириша, гостинку сразу дадут, через два года квартиру получишь, зарплата будет нормальная. На это место – свистни, любой прибежит. А мы не свистим – своим даем. И картины твои никуда не денутся, вечерами будешь рисовать, – убеждала тетка. – Дочку пожалей. Тебе садик дадут, привезешь ее к себе.

Дочка Сонечка действительно уже год жила в другом городе у родителей. Ирина очень тосковала по дочери.

– Сначала я мать и жена, а потом художница, – объясняла Ирина свой уход в жилищную контору.

Это не выглядело убедительно.

С профессором Белугиным они встретились через пять лет на региональной молодежной выставке. Тогда впервые работы Сергея отобрали на столь представительную, так сказать, биеннале. Опираясь на толстую трость, Белугин рассматривал небольшой зимний пейзаж.

– Здравствуйте, Павел Семенович, рада вас видеть.

– А, Ирина, здравствуй. Где твои работы, не вижу...

– Моих нет. Здесь три работы Сергея.

– Видел эту мазню. Хотя бы цвет ему подправила, – Белугин был жёсток и прямолинеен. – Ты почему не выставилась?

– Я с Вами не согласна Павел Семенович.

– А, перестань! Тебе ли это не видеть! – Белугин снял очки и стал протирать их. – Почему ты не пишешь? Ирина, с твоим даром непозволительно пренебрегать живописью.

– Павел Семенович, я счастлива. Мой дар – любить. Сергея, дочку Со-нечку.

– Не переносу этот пафос. Значит, решила мужу служить? Это он должен был служить тебе, твоему таланту. Ты изменила своему дару! Это не прощается. Я тридцать лет преподаю в академии. С трех мазков, фигурально выражаясь, вижу, что из студента выйдет. Из Сергея выйдет оформитель районных Домов культуры. А ты, ты могла бы стать гордостью академии. Твой полет по вечернему небу до сих пор там помнят.

Ирина закусила губу.

– Павел Семенович, я вас тоже очень люблю, – она чмокнула его в щёку и быстро вышла из зала, вытирая слезы.

Из тяжелого забытья вывел телефонный звонок. По времени должен звонить Сергей. «Якобы из Сарафановки». Сделать вид, что ничего не знает? Зачем?

– Иришка, как дела? – бодрый голос Сергея. – Чай с боярышником за-варила уже?

– Я все знаю. Я видела тебя с ней в городе, возле магазина.

Ира не узнала свой голос – сдавленный, как из могилы.

Недолгое молчание.

– С ней? О! Дьявол! Ирина, я сейчас приеду. Дома будь. Будь дома!

Сергей появился через полчаса. Взглянул на жену – испугался: мерт-венное лицо, потухший взгляд, сбившиеся комками волосы.

– Ириша, одевайся, поедem. В мою Сарафановку поедem. Сейчас не буду тебе ничего объяснять. Сама все увидишь.

У Ирины не было сил встать. Сергей стал бережно одевать жену.

– Вот, глупышка, испортила мне такой сценарий, я его уже три года разрабатываю. Теперь придется экспромтом. Не спрашивай у меня ничего, скоро все узнаешь.

Он вывел жену из дому, посадил в машину. Когда они въехали в какой-то отдаленный поселок в сосновом бору, было уже темно. Фары высветили небольшой дом с открытой террасой и верандой. Сергей вывел жену из машины.

– Ириша, через неделю у нас серебряная свадьба, ты помнишь это. Вот тебе мой подарок, – Сергей протянул Ирине бумагу в мультифоре. – По сценарию, я ее должен был перевязать золотой ленточкой, но...

– Что это?

– Читай. Это документ, который свидетельствует о том, что ты явля-ешься владелицей этого дома. Ты ведь хотела жить в доме под соснами. Кстати, поселок называется Лесистый.

Ирина уставилась в бумагу невидящим взглядом:

– Ты со мной разводишься?

– Господи, Ирина! Я сочинил тебе про Сарафановку потому, что у меня денег не хватило на отделочников, пришлось все самому доводить. Здесь целый месяц с утра до вечера обшивал, шкурил, красил. Хотел успеть к

серебряной свадьбе, сюрприз тебе сделать. Я это строительство еще три года назад начал. Мы с тобой, я и ты, будем жить здесь летом и зимой, если захотим.

– А та, в машине?

– Это же Танька Краснова, ты знаешь ее, дизайнер из Союза, я ее привозил, чтобы она мне интерьер набросала. По пути в супермаркет заехал, у меня продукты закончились.

Ирина будто прорвалась через мутную толщу воды к глотку воздуха.

– Знаешь, я чуть не сдвинулась...

– Ты мне такой сценарий испортила... – Сергей обнял жену. – Ну, теперь уж пойдем смотреть новую собственность.

Муж завел Ирину в просторную комнату. Пол был усыпан стружкой, посередине стоял грубо сколоченный верстак, в углу возвышался камин. Возле него Ира увидела мольберт. На нем стоял ее портрет.

– Тоже не успел закончить, – сказал Сергей.

Муж нарисовал ее в том самом серо-голубом платье с рюшами, в котором впервые увидел на занятиях в академии художеств.

– Помнишь это платье? – удивилась Ирина.

– Еще бы!

Ирина заметила, что линии рук вышли жестковато, а фон слишком засинен.

– Затопим камин?

– Затопим. Правда, он пока еще дымит. Давай хоть расскажу тебе мой сценарий, раз уж он никогда не состоится.

– Расскажи.

– Должно было быть так: двенадцатого октября вечером я привожу тебя сюда. Горит камин. Твой портрет стоит на мольберте под белым полотном. Накрыт стол: свечи, вино, фужеры. Ты спрашиваешь: «А что это под полотном?» – «Там хозяйка этого домика. Посмотри». Ты снимаешь ткань и видишь свой портрет. Делаешь мне замечания по композиции. И мы садимся за стол. Я дарю тебе...

Сергей осекся.

– Почему ты плачешь?

– Потому что я очень сильно люблю тебя. Знаешь, что я поняла сегодня?

– Что?

– Что умирать не больно – больно жить без тебя.

Людмила ЧИДИЛЯН

* * *

На бетонно-литом постаменте
Перед входом в клуб цинкзаводской
Два вождя всех народов на свете
Охраняли районный покой.
Они в даль неустанно смотрели,
Будто в небо руками рвались,
От дождей и метелей колели
И на солнышке летом пеклись.
Мы с подругами, Тоней и Галей,
У вождей в великаньих ногах
В заколдованный замок играли,
Троны делали на сапогах.
Клад из бус у подножья хранили,
На ботинках кот Васька дремал,

И вождей мы по-детски любили,
А за что – никто толком не знал.
Но однажды ночью порою
Вождь усатый куда-то исчез,
Увлечлись мы другою игрою,
Стали бегать на речку и в лес.
Вождь в ботинках на месте остался,
Но, казалось, чуть взгляд опустил,
Он и раньше-то не улыбался,
А теперь и совсем загрустил.
Я его понимала, жалела
И, чтоб как-нибудь развеселить,
Прислонившись к ноге, звонко пела
О стране, где мне радостно жить.

Приметы сибирской весны

Когда растают на полях снега,
Пополнят ручейками рек теченья,
И станут дождевыми облака,
И радужных мостов мелькнет свеченье,
И ветер донесет черемух цвет,
Пьянящий запах с улицы Весенней,
И дворник вдруг поймет, что он – поэт,
И луже посвятит стихотворение,
С работы трезвым явится сосед
(Бутылку все же принесет с собою),
И контролер подарит мне билет,
И улыбнется, и дыхнет колбою*,
Тогда вороне я дворовой подпою:
«Весна пришла на родину мою!».

* * *

Солнечно-рыжий день!
Осень. В тени горсада
Я на скамейку сяду,
Томно и думать лень.
Дел на сегодня нет,
Редко, но так бывает.
С тополя лист слетает,
Ветви кивают вслед.
Нежат лучи теплом,
Пахнет бархоткой прелой,

Муха на астре белой
Греется перед сном.
Дальнего смеха звук,
Рдеют плоды рябины,
Вывесил паутины
Позолотить паук.
Господи! Благодать!
Что же еще мне надо?!
Хочется в листопады
Внучек из школы ждать.

* Колба – многолетнее луковичное растение с характерным чесночным запахом.

* * *

*Краткая история нашего счастья.
Георгию.*

В твоём детстве – солнце, виноград и горы,
А в моём – сугробы, трубы да заборы.
Ты мальчишкой змея победить пытался,
За орлами бегал, с пацанами дрался.
Я концерт давала на гаражной крыше,
Пела громко-громко, чтобы ты услышал
И ко мне примчался в гости с виноградом,
Растопил сугробы и остался рядом!

* * *

Мы не спали и не ели, Мы писали акварели. На огромном пароходе, На семи морских ветрах. Акварели наши пели И насвистывали трели, И с листов своих срывались Прогуляться в облаках. Люди с палубы смотрели: «Ах, куда ж вы, акварели! Нам без вас здесь одиноко, Сыро, холодно, темно!	Ваши песни нас согрели, Возвращайтесь, акварели, А не то мы все заплачем, Как не плакали давно!» И, конечно, пожалели Пассажиров акварели. Вместе с чайками вернулись, Прогулявшись в облаках. Пассажиры загалдели, На глазах помолодели И привет послали чайкам В бело-солнечных стихах!
--	--

* * *

Под вечер, в воскресенье, Явился первый снег. Среди листвы осенней И на виду у всех Он таял. Пахло мартом, Капель летела с крыш.	Как сахарную вату, Снег пробовал малыш. И пел звонок трамвая, И улыбались мы, Как дети, забывая О близости зимы.
--	---

* * *

Я хочу лежать под тополями,
У обрыва, в ветреной траве.
Пусть зари врачующее пламя
Выжжет дурьи мысли в голове,
Душу непутевую согреет,
И тогда смогу заплакать я.
Пусть меня кузнечик пожалеет
И ромашек трепетных семья.

ЮБИЛЯРЫ

Члены Союза писателей России, у которых в 1-й половине 2016 года отмечается юбилей

27.02.46 Омельчук Анатолий Константинович – известный тюменский журналист, писатель, краевед. Родился в п. Могочино Молчановского района Томской области, в семье рабочего. В 1970 г. окончил историко-филологический факультет Томского государственного университета. Работал в газете и на окружном радио на Таймыре и Ямале. С 1987 г. – в Тюмени. Публиковаться начал с 1965 г. Очерки, исторические и краеведческие эссе публиковались во многих известных журналах. Анатолий Омельчук – автор многих творческих проектов. По его сценариям создано более 300 документальных видеофильмов. Лауреат литературных и журналистских премий имени Петра Ершова, Виктора Муравленко, Ивана Ермакова, Дмитрия Мамина-Сибиряка. Парламентом Мальты отмечен персональной наградой «Эртсмейкер» – «Человек, определяющий лицо планеты». Награжден медалью Русской Православной церкви Святого Даниила Московского. Заслуженный работник культуры Российской Федерации (1995). Действительный член нескольких академий.

04.03.56 Худякова Вера Викторовна. Родилась в п. Первомайский Вагайского района. По окончании Тюменского пединститута направлена в с. Коммунар Исетского района, где и живёт до сих пор. Первая публикация была в 90-е года, первый сборник «Рябины» вышел в 1996 г. Потом были новые книги, но до пенсии так и работала в школе. Заслуженный учитель РФ, член Союза писателей России с 2000 г.

13.03.56 Рахвалов Александр Степанович. Родился в с. Мечатное Вагайского района в крестьянской семье. После окончания вечерней школы работал грузчиком, оператором ЭВМ, корреспондентом радио, заочно учился в Литературном институте им. А.М. Горького. С 1987 г. живёт в Тобольске. Автор большого числа документальных и художественных книг. Член Союза писателей с 1991 г.

21.04.41 Ломакин Станислав Константинович. Родился в селе Кыштовка Новосибирской области. После седьмого класса окончил училище механизации сельского хозяйства, работал механизатором. Учился в летном училище. В 1966 году окончил Томский государственный университет, аспирантуру. Более 40 лет преподавал в вузах Тюмени. Литературным творчеством занимается с 1965 года. Член Союза писателей России с 1997 г. Живет в Тюмени.

07.05.56 Горбунов Сергей Герасимович. Родился в Тюмени. Впервые опубликовался в дальневосточных газетах и коллективных сборниках. Работал оператором перевозки почты, формовщиком и ремонтником на аккумуляторном заводе, корреспондентом многотиражной газеты «Тюменский строитель», литсотрудником газеты «Тюмень литературная». В 1995 году издал сборник стихов «До ближней звезды». В 2010 году вышла книга стихов «И ангел осенит». Член Союза писателей России с 2007 года.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ХРОНИКА

Ноябрь, 2015 г.

В Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева состоялось награждение победителей очередного областного конкурса молодых библиотекарей. Помимо причитающихся за победу наград, десять библиотек муниципальных образований награждены Благодарственным письмом Тюменского регионального отделения Союза писателей России за большую работу по продвижению литературного творчества тюменских писателей. Среди отмеченных библиотеки Ишима, Голышмановского, Аромашевского, Нижнетавдинского, Казанского, Исетского и других районов области.

Декабрь, 2015 г.

В Ишиме свой первый маленький юбилей – 5 лет – отметило творческое объединение «Парус» с бессменным руководителем Ниной Башук. В Ишиме пока нет ни одного профессионального писателя, но зато есть надежда, что под крылом «Паруса» у любителей есть все возможности стать таковыми. Члены этого творческого объединения регулярно проводят встречи, выступают в школах и библиотеках, издают книги.

В областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева прошла встреча ветеранов ХМАО-Югра с тюменскими писателями. Со своими книгами и творческими планами собравшихся познакомили переехавшие из Югры в областной центр члены Союза писателей России Николай Коняев, Новомир Патрикеев, Павел Плюхин, Дмитрий Сергеев, Григорий Кайгородов, а также тюменцы Ольга Ожгибесова, Леонид Иванов, Сергей Камышников, Владислав Корнилов и другие. Почитали свои стихи и ветераны.

Подобные встречи решено проводить регулярно, а на базе Совета ветеранов ХМАО-Югра создать литературное объединение, которое станет постоянной площадкой для выступлений начинающих литераторов и профессиональных писателей.

В зале Тюменского государственного института искусств и культуры и в Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева прошли встречи с редакцией журнала «Наш современник». Известные российские писатели, заместитель главного редактора журнала Александр Казинцев и заведующий отделом поэзии Сергей Куняев рассказали о политике альманаха, о его планах на ближайшее время, ответили на вопросы читателей. В рамках этой встречи Сергей Куняев провёл презентацию своих книг из серии ЖЗЛ «Сергей Есенин» и «Николай Клюев».

Тюменские писатели Николай Коняев и Леонид Иванов в Год литературы отмечены медалью Союза писателей России «Василий Шукшин». Эту одну из главных писательских наград на встрече с читателями вручил член правления Союза писателей России Александр Казинцев.

Четыре тюменских писателя – Василий Михайлов, Ольга Данилова-Пушкарь, Олег Дребезгов и Валерий Страхов – награждены Почётной

грамотой Союза писателей России за активное участие в общественной жизни и достойное литературное творчество.

В Тюменском государственном институте искусств и культуры открыта именная аудитория писателя Фёдора Селиванова. Заслуженный деятель науки РФ, доктор философских наук, профессор Фёдор Андреевич Селиванов заведовал кафедрой философии со дня открытия института в 1991 году. Но помимо того, что Фёдор Селиванов был одним из ведущих российских философов современности, он был ещё и членом Союза писателей России. И пусть его литературное наследие не очень богато, он внёс огромный вклад в развитие и продвижение региональной литературы, много лет возглавляя созданное им же литературное объединение при областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева. По разным причинам оно затем прекратило свою деятельность, но несколько лет назад возобновило свою работу и проводит ежемесячные заседания любителей изящной словесности, на которые собираются жители многих городов и районов области.

Впервые за пятьдесят с лишним лет существования в области писательской организации лучшим тюменским писателям вручена Губернаторская премия.

Её лауреатами стали Мирослав Бакулин, Николай Шамсутдинов, Михаил Федосеев, Леонид Иванов, Станислав Ломакин, Аркадий Захаров, Станислав Мальцев. В общей сложности премии и спецпризы получили более двадцати авторов.

В Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева прошла презентация двухтомного издания «Хрестоматия тюменских писателей». Это издание под редакцией Николая Коняева стало значительным вкладом в дело сохранения литературного наследия писателей Тюменского края за триста лет существования в Сибири литературы и сыграло заметную роль в деле увековечения имён выдающихся писателей далёкого прошлого и современности.

В Тюменском государственном университете состоялось награждение победителей 9-го традиционного конкурса «Книга года». Главный приз – Серебряную литературу и диплом лауреата – получил культурный центр «Русская неделя» за книгу Святителя Филофея (Лещинского) «Сибирский Лествичник». Лучшим издательством признан «Тюменский издательский дом» – за несколько проектов, в число которых входит коллекционное издание книги «Конек-Горбунок». Тюменский издательский дом является и учредителем альманаха «Врата Сибири».

Январь, 2016 г.

В Казанском районе подвели итоги Года литературы, который проходил в районе под знаком Год Ивана Ермакова. Детство писателя-самородка Ивана Ермакова прошло в деревне Михайловке Казанского района Тюменской области.

В 15 лет, после окончания 7-го класса, он уехал в Омск и начал работать в театре кукол актёром-кукловодом.

В годы Великой Отечественной войны воевал на Волховском и Ленинградском фронтах. Был командиром стрелкового взвода, в 1943 году ранен. Награждён орденом Красной Звезды. С 1951 г. жил в Тюменской области. Учился в Тобольском культпросветучилище. Первая книга вышла в Тюмени в 1962 году. Работал в малых прозаических жанрах (сказ, очерк, повесть, рассказ). Член Союза писателей с 1962 года.

Автор более 20 книг: «Богиня в шинели», «О чем шептал олененок», «Аврорин табачок», «Авка слушает ветры», «Стоит среди лесов деревенька», «Солдатские сказы», «Зорька на яблочке», «Учите меня, кузнецы», «Солдатские нескучалки» и др.

Умер в Тюмени в 1974 году. Казанским райисполкомом учреждена премия им. И. Ермакова. Её лауреатами в разные годы стали Александр Мищенко, Анатолий Васильев, Анатолий Омельчук, Николай Ольков. В 2016 году лауреатом премии Ивана Ермакова за произведения, утверждающие чувство любви к малой родине, стал прозаик Леонид Иванов.

С 1985 года Тюменская писательская организация проводит литературные дни И.М. Ермакова на родине писателя.

Февраль, 2016 г.

В Омутинском районе в рамках закрытия Года литературы прошли торжества по случаю присвоения районной детской библиотеке имени члена Союза писателей России Александра Шестакова. Александру Шестакову идёт девятый десяток, но он полон энергии и творческих планов, ведёт большую общественную деятельность, работает в составе жюри различных литературных конкурсов, издаёт новые книги, часто встречается с читателями. Пишет в основном для детей, но есть у автора и книги для взрослых поклонников его творчества. Свои книги Александр Шестаков сам же и иллюстрирует. В различных изданиях опубликовано более полутора тысяч его рисунков.

В Омутинском районе писатель Александр Шестаков много лет работал на разных должностях в районной газете.

Коротко об авторах

АЛИШИНА Ханиса Чавдатовна – доктор филологических наук, профессор Тюменского государственного университета, член Союза писателей Республики Татарстан, член Союза журналистов РФ.

АРНАУТОВ Виктор Степанович. Родился в 1951 году в селе Пудино Томской области в семье спецпереселенцев. Окончил Кемеровский институт культуры и аспирантуру Ленинградского государственного института культуры на кафедре информатики. Автор пятнадцати книг прозы, изданных в Новосибирске и Кемерове, публиковался во многих литературных журналах и альманахах. Член Союза писателей России с 2001 года. Проживает в городе Кемерово.

БАБКИН Георгий Сергеевич, единственный из ветеранов Великой Отечественной, который до сих пор трудится в Тюменском государственном университете. Окончил Свердловский институт иностранных языков. В ТюмГУ работает с 1954 г. Стоял у истоков создания факультета романо-германской филологии ТюмГУ, был его первым деканом и в течение 22-х лет руководил его работой. В конце 1943 года Георгий Бабкин был отправлен на Западный фронт. Участвовал в боях: вначале – командиром пулеметной роты, воевал на должностях офицера связи, начальника разведки дивизии, адъютанта командира дивизии. Был ранен. В феврале 1946 года его командировали в Японию, где он прослужил два с половиной года. За боевые и трудовые подвиги Георгий Сергеевич Бабкин награжден орденами «Красной Звезды» и Отечественной войны II степени, а также двадцатью медалями, в том числе «За освоение целинных земель», «За освоение нефтегазового комплекса», знаком «Почетный работник высшей школы», медалью «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени. Автор двух книг о войне.

БОБКОВА Елена Александровна. Родилась в городе Тавда Свердловской области, в 2005 г. окончила дневное отделение факультета романо-германской филологии ТюмГУ. С 2006 года работала в качестве преподавателя иностранных языков в ТЮИ МВД РФ, ТюмГУ, ТюмГНГУ. С 2011 года занимает должность старшего преподавателя кафедры философии, иностранных языков и гуманитарной подготовки сотрудников ОВД Тюменского института повышения квалификации сотрудников органов внутренних дел России. Увлекается изучением истории и культуры Тюмени, в том числе творчеством тюменских писателей. Под руководством доктора филологических наук, профессора Хабибы Шагбановой проводит научное исследование произведений заслуженного работника культуры РФ, члена Союза писателей России Л.К. Иванова.

ГЕРЖИДОВИЧ Леонид Михайлович. Родился 25 января 1935 года в селе Панфилово Кемеровской области. Окончил Новосибирский техникум физической культуры и спортивный факультет Кемеровского педагогического института, служил в армии, работал грузчиком в Магаданском порту, литсотрудником в газете, учителем физкультуры, пасечником, лесником, охотником-профессионалом. Автор многих книг стихов. Лауреат премии им. В. Федорова, член Союза писателей России. Живет в деревне Юго-Александровка Кемеровского района Кемеровской области.

ГРАНИК Сарра-Мария. Родилась 20 мая 1982 г. в Тюмени. Окончила Тюменский государственный университет. Автор двух книг прозы («PRO MEMORIA» (2007) и «Девочка, Бабушка, Пикассо» (2010)). Лауреат премии Ассоциации книгоиздателей России в номинации «Лучшая книга для детей и юношества» (2008) и премии Уральского региона в номинации «Лучшая художественная книга» (2011). В 2013 году вошла в лонг-лист премии «Дебют» с повестью «Девочка, Бабушка, Пикассо». Живёт и работает в Тюмени.

ДЮКАЛОВ Сергей Викторович родился в Перми. Детские годы прошли в Башкирии. Закончил Тюменский индустриальный институт по специальности «Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений». Увлечение поэзией сохранил с молодости, серьезно писать начал с 2006 г. Считает, что все геологи – романтики, а поэзия помогает понять себя и окружающий мир, является незримой нитью, связывающей людей. Стихи публиковал в местной печати, в ряде коллективных сборников, в альманахах «Литературный факел» и «Поэт года» (Москва), в антологии сетевой поэзии (С.-Петербург). Автор двух поэтических сборников «Сердце моё – река» и «Строгая нежность». В 2008 г. стал лауреатом Всероссийского литературного конкурса «Факел», а в 2011 г. – премии «Золотое перо Газпрома».

ЗАХАРОВ Михаил Иванович. Живописец, график, прозаик. Автор тематических композиций, пейзажей, портретов, натюрмортов. Родился в 1945 г. в деревне Шандар Уватского района Тюменской области. Детство и юность провел в деревне Березовка Уватского района. Учился в Заочном народном университете искусств им. Н.К. Крупской в Москве (1961–1964). Член СХ СССР с 1980 г. Участник городских, областных, республиканских, всесоюзных, всероссийских, международных выставок. Персональные выставки: 2004, 2009 (обе – Тюмень, ТМИИ), 2014 (Санкт-Петербург, Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина), 2015 (Тюмень, ТМИИ). Произведения находятся в ТМИИ, в частных собраниях России, Бельгии, Канады, Японии, Америки. Победитель Всероссийского конкурса СМИ «Патриот России» в номинации «Павел Бажов» (Волгоград, 2009). Награжден медалью ордена II степени «За заслуги перед Отчеством» (2013). Почетный гражданин Уватского района (2013). Живет в Тюмени.

ЗОНТИКОВА Евгения. Родилась в 1986 году в Тюмени, окончила Тюменский государственный университет по специальности «журналистика». Пишет стихи, а чаще песни, с которыми участвует в различных концертах и фестивалях, имеет публикации в региональных поэтических сборниках, посещает Школу литературного мастерства им. В.П. Крапивина при ТюмГУ. Автор сборника стихов «Компот». Живёт в Тюмени.

ИЛЬДИМИРОВА Татьяна Никоноровна. Родилась в 1981 году в г. Кемерово. В 2003 году окончила юридический факультет Кемеровского государственного университета. Работает ведущим юрисконсультантом в ОАО «МДМ банк». Публиковалась в журналах «Огни Кузбасса», «День и ночь», «Сибирские огни», электронном журнале «Пролог», а также в сборнике «Новые писатели-2013» (М.: Фонд СЭИП, 2013). Автор книги повестей «Солнце». Переводилась на итальянский. Член Союза писателей России. Живёт в Кемерово.

КАТКОВ Александр Иванович. Родился 27 июня 1950 года в казачьем хуторе Зайцево Ставропольского края. Учился в Пятигорском институте иностранных языков, продолжил учебу в университете имени Карла Маркса в городе Лейпциге (Германия), защитил дипломную работу на факультете германистики. Служил в ракетных войсках в Прибалтике (г. Таураге). Работал переводчиком, преподавал немецкий язык в вузах города Кемерово. Автор поэтических книг «Синие ставни», «Чаша», «Ветер славянства», «Путь на Итаку», «Сирень». Член Союза писателей России с 1992 года. Живёт в г. Кемерово.

КОЗЛОВА Людмила Максимовна. Автор 30 книг поэзии и прозы, изданных в Бийске, Барнауле, Санкт-Петербурге и Канаде. Повесть «В Бухенвальде» опубликована в Дании (журнал «Новый берег»). Лауреат краевых литературных премий им. В.М. Шукшина (1991), им. Л.С. Мерзликина (2003), премии Славянского общества в номинации «Литература» (2005), им. Н.М. Черкасова (2010). Лауреат литературной премии им. Сергея

Михалкова (2008) – за книгу сказок для детей. Лауреат Международного литературного конкурса «Лучшая книга года – 2014» (Берлин, Германия). Руководитель и издатель литературно-художественного и публицистического журнала «Огни над Бией» – издается в Бийске более десяти лет и по настоящее время. В 1994 году принята в Союз писателей СССР – ныне Союз писателей России. Место жительства – г. Бийск.

КРАВЦОВ Константин Павлович. Родился в 1963 году в Салехарде. Окончил Нижнетагильское художественное училище, затем Литературный институт имени А. М. Горького. В 1999 году принял сан священника в РПЦ. Служил в храмах Ярославля, Москвы, Подмосковья. В настоящее время клирик московского храма Благовещения Пресвятой Богородицы. Публиковал стихи в журналах «Знамя», «Октябрь», «Воздух», «Интерпоэзия» и др., антологиях «Русская поэзия. XX век», «Нестоличная литература», «Современная литература народов России», «Наше время» и др. Автор четырёх книг стихов. Лауреат Филаретовского конкурса христианской поэзии в Интернете (2003).

КРЁКОВ Виталий Артемьевич. Родился в 1946 году в Бийске. Работал на стройках. Печатался в журналах «Москва», «Наш современник», «День и ночь», «Сибирские Афины», «Сибирский тракт», «Огни Кузбасса». Автор четырёх поэтических сборников. Член Союза писателей России. Живёт в Кемерове.

ЛАВРИНА (ПРАВДА) Вера Леонидовна. Родилась в Казахстане в с. Лавровка Кокчетавской области. Закончила исторический факультет Томского университета. Стихи и проза публиковались в журналах «Огни Кузбасса», «Дружба народов», «Субъект и реальность» (Санкт-Петербург). Автор шести книг стихов и прозы. Член Союза писателей России. Живёт в Кемерове.

ЛОМАКИН Станислав Константинович. Родился в 1941 году в селе Къштовка Новосибирской области. После седьмого класса окончил училище механизации сельского хозяйства, работал механизатором. Учился в летном училище. В 1966 году окончил Томский государственный университет, аспирантуру. Более сорока лет преподавал в вузах Тюмени. Литературным творчеством занимается с 1965 года, его рассказы печатались в журнале «Уральский следопыт», в местной периодике. Автор нескольких книг и многих научных работ по истории философии, по краеведению. Член Союза писателей России с 1997 года. Живёт в Тюмени.

МАЛИШЕВСКАЯ Татьяна Николаевна. Кандидат медицинских наук, работает заместителем главного врача областного офтальмологического диспансера, занимается исследовательской и научной работой. Автор сразу же ставшего популярным романа «Татьянин день», поэтического сборника «А женщина, которая бежала», соавтор аудиокниги для слепых «Заплутавшее счастье зови...» и аудиосказки для маленьких «Приключения капельки». Татьяна Малишевская известна и как исполнитель собственных песен, увлекается изобразительным искусством и хорошо рисует сама. Живёт в Тюмени.

МАЛЬЦЕВ Станислав Владимирович, 1929 г.р., образование высшее. Детские книжки «Зайка Петя и его друзья», «Кузя Щучкин – рыжий нос», «Приключения Умнюшкина и Хитрюшкина в стране кошек», «Мы с Митяем» и другие неоднократно издавались в Средне-Уральском книжном издательстве, издательстве «Литур» (Екатеринбург), Тюменском издательском доме. Член Союза писателей России. Живёт в Тюмени.

МООР Светлана Михайловна – автор восьми поэтических сборников, публиковалась во многих газетах и журналах. Доктор социологических наук, профессор ТюмГНГУ, директор Центра дистанционного образования ТюмГНГУ.

МУРЗИН Дмитрий Владимирович. Родился в городе Кемерово 28 апреля 1971 года. Окончил математический факультет Кемеровского государственного университета (1993 год) и Литературный институт имени М. Горького – семинар И.Л. Волгина (2003). Работает ответственным секретарём журнала «Огни Кузбасса». Член редколлегии журнала «День и ночь». Лауреат поэтической премии им. И. Киселёва (2009) и Всесибирской премии им. Л. Мерзликина (2015). Автор книг: «Белое тело стиха» (1997), «Ангелопад» (1998), «Полноценный валет» (2001), «Носитель языка» (2006), «Клиническая жизнь» (2010), «Бенгальская вода» (2014). Член Союза писателей России. Живёт в Кемерово.

ОМЕЛЬЧУК Анатолий Константинович. Известный русский писатель. Журналист, краевед, автор десятков книг, документальных и телевизионных фильмов. Действительный член (академик) нескольких академий. Много лет работал на Тюменском Севере, более четверти века возглавляет ГТРК «Регион-Тюмень». Лауреат нескольких литературных премий. Заслуженный работник культуры РФ. Член Союза писателей России, член Союза журналистов России. Живёт в Тюмени.

РАЕВСКИЙ Александр Дмитриевич. Родился в 1951 году в селе Алабуга Каргитского района Новосибирской области. Служил в армии. Окончил Новокузнецкий пединститут. Служил в пожарной охране МВД, капитан в отставке. Автор нескольких книг стихов: «Полуденный костер», «Пьяные цветы» и др. Лауреат премии журнала «Наш современник» за 2003 год. Член Союза писателей России. Живёт в Новокузнецке.

СЕЗЁВА Наталья, доктор искусствоведения, член Союза художников России, член Ассоциации искусствоведов РФ (АИС), зав. отделом художественной культуры и искусства края Тюменского музея изобразительных искусств ГАУК ТО «Музейный комплекс им. И.Я. Словцова». Живёт в Тюмени.

СИЛИНА Марина Николаевна. Писать начала еще в детские годы, которые пролетели в Казанском районе. С 17 лет живёт в городе Ишиме, окончила педагогический институт имени П.П. Ершова, вышла замуж. Не один раз пробовала уехать, сменить место жительства и... вновь возвращалась в сказочные ершовские места. Стихи начала писать в начале 2000-х. Неоднократно печаталась в местных газетах города Ишима: «Ишимская правда» и «Городские будни». А в 2008 г. – и в журнале «Радуга». Участник семинара молодых авторов, который прошёл в Ишиме в 2014 году.

СУЛЕЙМАНОВ Булат Валикович (28.05.1938 – 05.03.1991) родился в д. Супра (Сопра) Вагайского р-на Тюменской области. Известен как первый профессиональный поэт, писатель и публицист сибирских татар. Б. Сулейманов – автор двух прижизненных поэтических сборников – «Таннар фонтаны» («Фонтан зорь») и «Ак метеор» («Белый метеор»). После смерти поэта в Тюмени ежегодно проводятся научно-практические конференции, названные его именем, посвящённые проблемам языка, культуры, литературы, истории, этнологии сибирских татар. Член Союза писателей СССР с 1984 г.

ЧИДИЛЯН Людмила Ивановна. Родилась в Белово, Кемеровская обл., в 1956 г. В 1977 г. закончила режиссерско-театральное отделение Кемеровского государственного института культуры. Автор книг «Руки прикосновение», «Дорога в тополях». Работает в Кемеровском городском классическом лицее.

ШАГБАНОВА Хабиба Садыровна, родилась в Тобольске, после школы окончила факультет романо-германской филологии ТюмГУ. Много лет успешно занимается литературными переводами. Директор научно-образовательного центра «Лингва» Тюменского государственного нефтегазового университета. Доктор филологических наук, профессор, член 2-х диссертационных советов, член Ассоциации преподавателей-практиков России и Франции. Живёт в Тюмени.

ВРАТА СИБИРИ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ

На вклейках:

репродукции из архива художника Михаила Захарова

На обложке:

М. Захаров. «Фёдор Васильевич с Тайгой», 2013 г. Холст, масло, 60х90

Альманах зарегистрирован Западно-Сибирским
территориальным управлением Министерства Российской Федерации
по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций.

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 17-0413 от 23 мая 2006 г.

Адрес редакции:

625031, г. Тюмень, ул. Шишкова, 6

тел./факс: (3452) 75-73-33, тел. 695-630

E-mail: vrata_sibiri@mail.ru

Электронная версия журнала: www.tid.ru

**ПРИМЕЧАНИЕ. Почтовое отправление и заявки на подписку
посылать по адресу:**

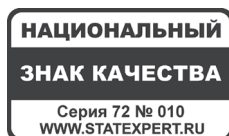
625031, г. Тюмень, ул. Шишкова, 6,

тел. 75-73-33.

Издатель: ОАО «Тюменский издательский дом».

625031, г. Тюмень, ул. Шишкова, 6,

тел. (3452) 75-78-88.



Подписано в печать и свет 09.02.2016 г.

Формат 70x108¹/₁₆. Бумага ВХИ.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 17,85.

Тираж 1000 экз. Заказ № 409. Цена свободная.

Отпечатано в ОАО «Тюменский издательский дом».

625031, г. Тюмень, ул. Шишкова, 6.

Верстка номера *С. Дерябин.*

Корректор *Т. Назырова.*

Рукописи редакцией не рецензируются и не возвращаются. По желанию автора
рукопись может быть возвращена, если ее объем не менее: проза – 10 а. л., поэзия – 5 а. л.,
публицистика – 3 а. л.

Перепечатка материалов и их распространение, в том числе и в электронной версии,
допускаются только с разрешения редакции. Ссылка на «Врата Сибири» обязательна.